

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ

XI

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1962

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор)
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), А. И. Ефимов,
Н. И. Конрад (зам. главного редактора), М. В. Панов, Г. Д. Санжеев,
Б. А. Серебрянников, Н. И. Толстой (и. о. отв. секретаря редакции), А. С. Чикобава

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

В. В. ВИНОГРАДОВ

ПОЭТИКА И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛИНГВИСТИКЕ
И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

1

Отсутствие точного и общепризнанного определения терминов, относящихся к изучению широкой и пока еще недостаточно строго отграниченной от других филологических областей знания сфере словесного искусства, отрицательно сказывается на успехах и развитии науки о поэтической речи, о формах и типах словесно-художественных структур, о стилистике словесного творчества. Обычно за такой наукой закрепляется название то поэтики, то теории литературы, а иногда даже стилистики. Однако все эти термины пока еще не наполнились вполне определенным и отчетливым содержанием. В отношении «поэтики» и «стилистики» разнообразие и столкновение противоречивых, внутренне несродных и даже далеких одна от другой точек зрения на предмет, задачи, объем и сущность этих наук обусловлены колебаниями и разногласиями в понимании проблем, методов и границ поэтики, а также самой категории «стиля», множеством разноречивых определений понятия «стиля»¹.

Дело в том, что понятие «стиля» по-разному осмысливается и определяется в общем плане искусствоведения, с одной стороны, в аспекте словесного искусства, стилистики художественной литературы, с другой, и с точки зрения общей теории языка и языкознания, с третьей. Поэтому-то совсем нецелесообразно класть в основу определения поэтики проблемы стилистики.

Широта и неопределенность взглядов на объем и задачи стилистики наглядно иллюстрируются заявлениями современных наших литературоведов в таком роде: «В современном литературоведении до сих пор существует разрыв между историко-литературным и стилистическим изучением литературы. И для того чтобы хоть отчасти заполнить этот разрыв, возникла стилистика, которая взяла целиком в свои руки изучение вопросов стиля, оставив собственно истории литературы общий идейный и реально-исторический комментарий к литературным произведениям. В результате — стиль в его реальном (словесном) осуществлении не изучается в связи с общими закономерностями историко-литературного процесса, а историко-литературное исследование, не опирающееся на данные стиля, оказывается „висящим в воздухе“, так как находимые или открываемые им закономерности существуют вне „материи“, вне словесно-стилевого осуществления».

Странно выглядел бы искусствовед, объясняющий „Лаокоона“ вне его материала, композиции, фактуры, лепки и прочее, или музыковед, занятый только переводом на язык политической истории девятой симфонии Бетховена. В историко-литературных работах такой разрыв между исследованием и его предметом никого не беспокоит, хотя именно в нем причина столь долгих и во многом беспредметных споров, например о реализме, так как объектом спора давно уже является не литература, а те или иные логизированные конструкции-формулы»².

¹ См. сб.: «Style in language», ed. by Th. A. Sebeok, New York — London, 1960.

² И. З. С е р м а н, О поэтике Ломоносова (эпитет и метафора), сб. «Литературное творчество М. В. Ломоносова», М.—Л., 1962, стр. 101.

В докладе Л. Должежа и К. Гаузенбласа на Варшавской конференции 1960 г. «Поэтика и стилистика» содержание, цели и объем стилистики описываются так: «Стилистику принято считать одной из основных отраслей поэтики; здесь она тесно связана с композицией (наукой о композиции), которая, в известном смысле, могла бы войти в стилистику. В рамки поэтики, однако, стилистику можно включить лишь с двумя оговорками: 1) ядро стилистики художественной литературы представляет лингвистическая стилистика, изучающая язык о в о й стиль художественных произведений; 2) вместе с тем лингвистическая стилистика не ограничивается рамками поэтики, так как ее предметом является не только стиль художественных произведений, но (как равноценные) все области и способы использования языка, в особенности литературного; именно распространение стилистических исследований на все многообразные области языкового общения нужно считать наиболее ценным достижением современной стилистики.

Таким образом, стилистика входит как интегральная составная часть и в литературоведение, и в языкознание. Области исследования литературной и лингвистической стилистики отчасти совпадают, отчасти, однако, они различны. В рамках литературоведения (поэтики) стилистика изучает стиль литературных произведений во всех его элементах, в том числе и языковой стиль как один из основных его элементов; в рамках языкознания стилистика занимается анализом стиля конкретных высказываний и характеристикой индивидуальных и в особенности сверхиндивидуальных стилей (т. е. объективных стилей или стилей языка)³. Лингвистическая стилистика противопоставлена общесистематическим отраслям языкознания: фонологии, лексикологии, грамматике и теории высказывания. В последних чешских работах по стилистике указывается на тесные отношения стилистики и теории высказывания и требуется разработка теории высказывания в интересах уточнения основных понятий и методов стилистики.

Нельзя, по нашему мнению, признать правильным, когда по тем или другим причинам изучение языкового стиля выводится за пределы языкознания: при описании и толковании языка, конститутивная черта которого — функционировать в качестве основного средства обмена информацией, не следует ограничиваться описанием одних только средств, но необходимо охватывать лингвистическим исследованием также способы их использования... Большую пользу принесло же создание общей теории стиля (общей стилистики), которую, однако, мы представляем себе совсем по-другому, чем она намечена Зайдлером⁴. Общую стилистику следовало бы понимать как науку о стиле во всех областях, где проявляется стилевая организация, т. е. не только в области языка и литературы, но также во всех остальных родах искусства и во всех внехудожественных областях человеческой деятельности и образа жизни. Наряду с такой общей теорией стиля не потеряли бы своего значения и смысла специальные стилистические дисциплины в рамках отдельных общественных наук (языкознания, литературоведения, искусствоведения, социологии и др.).

Предметом лингвистической стилистики в области художественной литературы является языковой художественный стиль..., а именно как стиль конкретного литературного произведения (художественного высказывания), так и общие стилистические категории: индивидуальный стиль (стиль писателя), жанровый стиль, стиль литературной школы, стиль эпохи и т. д. Теоретические и методологические трудности изучения художественного стиля вытекают из того, что здесь в своеобразное и нераздельное единство объединяются категории двух качественно различных общественных явлений — языка и литературы. Двойное отношение: отношение к языку (к составу стилей языка) и отношение к литературе (к стилю литературного произведения в целом) — является прямо конститутивным признаком художественного стиля; только в этих двух отношениях можно художественный стиль понять и истолковать (в теоретическом и историческом планах)...⁵.

Проблема поэзии и поэтической речи как речи «украшенной» в их специфических ритмических и словесно-образительных качествах широко обсуждалась и освещалась в поэтиках древнего Востока, в поэтиках античности, средневековья, ренессанса, барокко и классицизма. Однако в поэтике сначала романтизма, а особенно реализма вопрос о специфических литературно-художественных построениях, создаваемых на базе особой поэтической речи, постепенно снимается и угасает. Изучение структуры стихотворных произведений, стиха как системы или комплекса специфических речевых и ритмико-мелодических форм, очень важное

³ Следовало бы начать так: «В рамках языкознания стилистика занимается прежде всего оценкой языковых явлений (слов и выражений) со стороны „дополнительных качеств“, т. е. качеств, накладываемых на их непосредственно-смысловое содержание, их понятийное значение».

⁴ Зайдлер не выходит за рамки стиля в языке и литературе и строит свою концепцию на весьма туманных понятиях, находящихся под влиянием идеалистической психологии (см. H. Seidler, Allgemeine Stilistik, Göttingen, 1953).

⁵ См. сб. «Poetics. Poetyka. Поэтика», Warszawa, 1961, стр. 39—41.

для общей теории и истории поэтической речи, в жанровом и историко-типологическом аспекте входит в поэтику, а в плане индивидуальных своеобразий и тенденций стихотворного творчества — в стилистику художественной литературы. Поэтика становится учением о многообразии литературных структур и жанров.

Слой специальных поэтических выражений и форм (поэтизм) как реликтов предшествующей истории поэзии в современной художественной литературе невелик и продолжает сокращаться. Любое языковое явление может приобрести характер поэтического в определенных творчески-функциональных условиях. Раскрытие этих условий и специфических структурных качеств поэтических речевых явлений и процессов — основная задача теории поэтической речи. То, что считается лексическим «поэтизмом», очень различно для разных эпох развития словесного искусства и всегда исходит из недр языка вообще. Обычно же к лексическим «поэтизмам» — своим или особым для каждой эпохи — относится отстоявшийся или образовавшийся набор стандартизованных в поэтическом творчестве данного периода слов и оборотов. Вместе с тем поэтические средства не образуют специальной системы, но опираются на системные отношения языка внехудожественных областей.

В настоящее время проблему поэтики следует разрешать не на базе теории поэтической речи, хотя и в связи или относительно с ней (см. мою статью «О теории поэтической речи») ⁶, и не на основе определения границ и задач поэтики и стилистики в общем искусствоведческом плане или в плане теории языка, его функций, а самостоятельно, в связи с задачами изучения законов построения разных типов литературных произведений, словесно-художественных структур — в их историческом развитии и в разных национально-типических модификациях.

Одна из важнейших задач поэтики — изучение принципов, приемов и законов построения словесно-художественных произведений разных жанров в разные эпохи, разграничение общих закономерностей или принципов такого построения и частных, специфических, типичных для той или иной национальной литературы, исследование взаимодействий и соотношений между разными видами и жанрами литературного творчества, открытие путей исторического движения различных литературных форм. Методы такого изучения могут быть структурно-описательными, историко-генетическими, сравнительно-историческими и сравнительно-типологическими.

Термин «поэтика» истари понимался и как обозначение самого поэтического искусства (*ars poetica*, *l'art poétique*), и как название науки о поэзии, о родах, видах и жанрах поэтического искусства, о законах их развития и даже о «поэтическом стиле». В этом термине объединялись и практика и теория поэзии. Еще проф. С. П. Шевырев в своей «Теории поэзии» заметил: «Полная Поэтика существовала уже в фактах прежде, чем теория Аристотеля, которая полностью уступит живой Поэтике Греции» ⁷. По мнению С. П. Шевырева, сущность «теории поэзии» или поэтики «заключается в изучении самых явлений и исследовании законов, управляющих поэтической деятельностью человека. Вопрос о том, полезна ли какая-нибудь наука, в наше время существовать не может. Если эта наука есть, а наука Поэзии должна быть, потому что мир явлений ее составляет такую огромную часть в жизни человеческой, — то она полезна и необходима: ибо врождено человеку отдавать себе разумный отчет во всех явлениях, им совершаемых, и стараться привести их к единству закона, ими управляющего» ⁸.

⁶ ВЯ, 1962, 2.

⁷ С. Шевырев, Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов, М., 1836, стр. 5. См. также В. А. Воскресенский, Поэтика. Историч. сборник статей о поэзии, СПб., 1885, стр. 3—4.

⁸ С. Шевырев, указ. соч., стр. 2.

В той мере, в какой поэтика рассматривалась и рассматривается как теория и история словесно-художественных или поэтических структур, их типов и их жанров, на развитии этой науки не могло не отразиться понимание поэтического слова, поэтической речи («поэтического языка»). Усиленная разработка этих проблем — после господства принципа универсальной поэтической статистики в догматической теории художественного классицизма — связывается с эпохой европейского романтизма. И. Гердер, Ф. Шеллинг, Фр. Шлегель знаменуют основные вехи развития новых взглядов на общие и национально-специфические структурные формы словесно-художественного искусства. Это движение получило новую философскую направленность и новые теоретико-лингвистические обоснования в трудах В. Гумбольдта и Г. Штейнталя. Глубоко своеобразны творческие отклики этих концепций и в движении науки о поэзии у нас в России.

В основу потебнианской конструкции поэтики легло отождествление структуры поэтического слова (т. е. слова «с живым представлением» или внутренней формой) со структурой поэтического произведения. «Элементом слова с живым представлением, — писал А. А. Потебня, — соответствуют элементы поэтического произведения, ибо такое слово и само по себе есть уже поэтическое произведение»⁹. Так обнаруживаются три составных части поэтического произведения: внешняя форма (звуковая, словесная), «образ (или известное единство образов)», иначе: «внутренняя форма» — и значение, «обыкновенно называемое идеей» («этот последний термин можно бы удержать, только очистив его от приставших к нему трансцендентальностей») ¹⁰.

А. А. Потебня утверждал: «Огромная часть слов, которые мы употребляем бессознательно, для нас — произведения поэтические, и по существенным своим элементам несколько не отличаются от других больших произведений: пословиц, басен, драм, эпопей, романов. Разница будет состоять только в степени сложности и во всем том, что зависит от сложности»¹¹. «Все свойства поэтического произведения находят соответствие в свойствах слова»¹². Таким образом, в учении Потебни, которое смешивало структурные формы и признаки поэтического слова с структурой литературно-художественного произведения, сливались проблемы и границы теории поэтического слова или поэтической речи и поэтики в собственном смысле этого термина. Поэтика растворялась или тонула в сфере семантики поэтического слова.

Эстетико-психологической потебнианской концепции поэтики, основанной на принципе образности поэтического слова, противопоставлялась теория сравнительно-исторической поэтики, исходящей из методологических принципов объективно-лингвистического компаративизма.

Приемы, которыми пользовался А. Н. Веселовский в своих трудах по исторической поэтике, были сродни методике исторического и сравнительно-исторического языкознания, разработанной младограмматиками. Правда, тут прежде всего выдвигается принцип самостоятельного зарождения поэтических формул, сопоставлений символов, метафор, вызванных «теми же психическими процессами и теми же явлениями ритма» (см. ст. «Три главы из исторической поэтики») ¹³. Но далее — в соответствии с процессами растворения и объединения диалектов в общем языке (κοινή) — изображается ход мировой универсализации поэтических формул и образов. В результате общения некоторые из таких поэтических формул, образов, метафор, имевшие первоначально только «областное» значение,

⁹ А. А. П о т е б н я, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 30.

¹⁰ Там же.

¹¹ А. А. П о т е б н я, Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка, Харьков, 1894, стр. 111; ср. стр. 132.

¹² Там же, стр. 126.

¹³ А. Н. В е с е л о в с к и й, Историческая поэтика [сб. статей], Л., 1940, стр. 357.

обобщаются, и создается своеобразное «народно-поэтическое койне», т. е. особый общий поэтический язык, отличный от прозаического¹⁴.

Ставится задача не только описания и собирания поэтических формул и образов «областного», местного значения, но и создания международного, универсального словаря поэтического языка. «Статистика общих мест и символических мотивов поэтического стиля, возможно широко поставленная, дала бы нам возможность приблизительно определить, какие из них, простые и далеко распространенные, могут быть отнесены к формулам, везде одинаково выразившим одинаковый психический процесс, в каких границах держатся другие, не влияя и не обобщаясь, показатели местного или народного понимания; в какой мере, наконец, и на каких путях литературные влияния участвовали в обобщении поэтического языка»¹⁵.

Внешняя структура поэтических формул и образов традиционна, но содержание их меняется, происходит непрерывное их переосмысление. Еще в своей программной лекции «О методе и задачах истории литературы, как науки» А. Н. Веселовский ставил вопросы: «не ограничено ли поэтическое творчество известными определенными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколение приняло от предыдущего, а это от третьего, которых первообразы мы неизбежно встретим в эпической старине и далее, на степени мифа, в конкретных определениях первобытного слова? Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над истари заветными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых и только наполняя их тем новым пониманием жизни, которое собственно и составляет ее прогресс перед прошлым?»¹⁶.

А. Н. Веселовский тут же развивает мысль о наличии параллелизма и полной аналогии между общей историей языка и историей поэтического стиля или поэтических стилей: «...история языка предлагает нам аналогичное явление. Нового языка мы не создаем, мы получаем его от рождения совсем готовым, не подлежащим отмене; фактические изменения, приводимые историей, не скрадывают первоначальной формы слова или скрадывают постепенно, незаметно, для двух следующих друг за другом поколений. Новые комбинации совершаются внутри положенных границ, из обветрившегося материала... Но каждая культурная эпоха обогащает внутреннее содержание слова новыми успехами знания, новыми понятиями человечности»¹⁷.

В работе «Из введения в историческую поэтику» проблему устойчивости, выживания и отмирания поэтических образов и сюжетов А. Н. Веселовский решал довольно смело, но вместе с тем очень упрощенно и неопределенно в рамках истории эстетических вкусов: «Подсказывание — это то, что английская, если не ошибаюсь, эстетика окрестила названием суггестивности. Вымирают или забываются, до очереди, те формулы, образы, сюжеты, которые в данное время ничего нам не подсказывают, не отвечают на наше требование образной идеализации; удерживаются в памяти и обновляются те, которых суггестивность полнее и разнообразнее и держится долее; соответствие наших нарастающих требований с полнотою суггестивности создает привычку, уверенность в том, что то, а не другое, служит действительным выражением наших вкусов, наших поэтических воцелений, и мы называем эти сюжеты и образы поэтическими»¹⁸.

А. Н. Веселовский считал центральной задачей поэтики — изучение «эволюции поэтического сознания и его форм»¹⁹. В статье «Из истории

¹⁴ Там же, стр. 359—360.

¹⁵ Там же, стр. 362.

¹⁶ Там же, стр. 51.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же, стр. 71.

¹⁹ Там же, стр. 53.

эпитета», заявив, что «история эпитета есть история поэтического стиля в сокращенном издании», он добавлял: «И не только стиля, но и поэтического сознания от его физиологических и антропологических начал и их выражений в слове — до их закрепощения в ряды формул, наполняющихся содержанием очередных общественных мирозерцаний»²⁰. «Индуктивная поэтика», — говорит он в статье «Из введения в историческую поэтику», — должна выяснить «сущность поэзии — из ее истории»²¹.

А «поэтика будущего», по замыслу А. Н. Веселовского, должна быть построена «на массовом сравнении фактов, взятых на всех путях и во всех сферах поэтического развития; широкое сравнение привело бы и к новой, генетической классификации. Эта поэтика очутилась бы в таком же отношении к старой, законодательной, в каком историко-сравнительная грамматика к законодательной грамматике до-Гриммовской поры. Все это остается пока и, вероятно, надолго останется — идеалом» (см. ст. «Три главы из исторической поэтики») ²². Веселовский не различает категорий «поэтического языка», «поэтического стиля» и «стилей литературы». Кризис теории поэтического образа, выдвинутой В. Гумбольдтом, Г. Штейнталем и А. Потебней, а затем видоизмененной символистами, с одной стороны, и кризис младограмматической концепции сравнительно-исторического языкознания, с другой, привели в первые десятилетия XX в. к сознанию необходимости строить поэтику на новых структурных основах и принципах.

Тут прежде всего выдвигается идея сосуществования разных функциональных систем языка. Наряду с системой практического языка, в которой языковые представления (звуки, морфологические части и пр.) самостоятельной ценности не имеют и являются лишь средством общения, — «мыслимы (и существуют) другие языковые системы, в которых практическая цель отступает на задний план и языковые сочетания приобретают с а м о ц е н н о с т ь»²³. Поэтика строится теперь на основе изучения самостоятельных, специфических структурных признаков поэтического языка. В плане конкретного исследования с этой точки зрения основным объектом поэтики, основным «литературным фактом» является не поэтическое произведение как единое целое образование, а прием или приемы, т. е. простейшие эстетически значимые факты языка²⁴, прежде всего — звуки, затем — глоссемосочетания и т. п.

Все шире развертывается задача изучения форм и типов поэтического языка, изучение жанров и типов речи литературных произведений. Язык драматурга, язык лирика, язык новеллиста или романиста различны по своим конструктивным задачам, по своему художественному семантическому строю. Остро выдвигается проблема структурного разграничения категорий стиха и прозы. И все это включается в сферу поэтики.

Итак, с 10—20-х годов текущего столетия в школе так называемого «русского формализма» вновь установилось отношение к поэтике как к теории особого поэтического языка, как к «теории самозаконного слова»²⁵. Поэтика этого типа совпадала с теорией поэтического языка или языка в поэтической функции. Осложнение состояло лишь в том, что присоединяемые сюда проблемы сюжетосложения и композиции нередко далеко выходили за границы изучения поэтического язы-

²⁰ Там же, стр. 73.

²¹ Там же, стр. 54.

²² Там же, стр. 246.

²³ Л. П. Якубинский, О звуках стихотворного языка, сб. «Поэтика», Пг., 1919, стр. 37.

²⁴ См. Б. Энгельгардт, Формальный метод в истории литературы, Л., 1927, стр. 102.

²⁵ См. Р. Якобсон, Брюсовская стихология и наука о стихе, «Научн. известия [Акад. центра Наркомпроса]», сб. 2.— Философия, литература, искусство, М., [1922], стр. 223.

ка в собственном смысле этого слова. Наша отечественная концепция поэтики развивалась параллельно с концепциями западноевропейского типа — школ К. Фосслера, Л. Шпитцера, Оск. Вальцеля и др. — и самостоятельно от них, хотя иногда и считалась с их результатами.

На этом уровне понимания границ и задач поэтики с выдвиганием на первый план структурных качеств стихотворного языка остаются и до сих пор некоторые лингвисты, связанные с так называемым «русским формализмом» 20-х годов XX в. (например, проф. Р. О. Jakobson, оснастивший поэтику русского формализма некоторыми приемами и понятиями лингвистического структурализма). В своем выступлении на IV Международном съезде славистов в Москве по поводу стиховедческих докладов польских ученых Р. О. Jakobson говорил: «Я всецело согласен с тезисом В. В. Виноградова, что в пределах общей системы языка следует различать частные системы, находящиеся между собой, разумеется, в тесной связи и в то же время обладающие каждой своими автономными законами, своими специфическими особенностями — как в чисто описательном разрезе, так и в аспекте историческом... Но думается, что есть одна специфическая особенность, присущая только поэтической речи, в отличие от всех остальных языковых систем... Речевая деятельность складывается из двух основных факторов: выбор и сочетание. Если я хочу сказать „отец заболел“, я, с одной стороны, выбираю либо сознательно, либо подсознательно одно из схожих наименований — *отец, батюшка, родитель, папа*, а затем один из возможных глаголов — *заболел, захворал, занемог* и т. д. Наряду с выбором вступает в силу сочетание: существительное *отец* комбинируется с глаголом *заболеть*. Выбор основан на ассоциации по сходству и контрасту, в частности, на максимальной степени сходства, т. е. на отождествлении. Сочетание построено на ассоциации по смежности... Какую же роль играют эти две оси — ось сходства, или тождества, и ось смежности — в поэтическом языке? В поэтическом и только поэтическом языке мы видим проекцию оси тождества на ось смежности, т. е. в плоскость сочетания, в план звукоряда... Подобной проекции нет в экспрессивном языке. Именно в такой проекции заключается неотъемлемая особенность поэзии. Эта проблема налицо в поэтическом творчестве всех стилей, времен и народов, но ставится она по-разному...» (ср. «вопрос эквивалентности... по отношению к любым языковым единицам» в стихе, который поэтому «насквозь метафоричен») ²⁶.

Любопытно заключение одного из основоположников русского философского символизма и теоретиков науки о художественном слове Вяч. И. Иванова — о работах Л. П. Якубинского, Б. М. Эйхенбаума, В. Б. Шкловского, Р. О. Jakobsona и других русских формалистов 20-х годов: «...самая тщательная и остроумная разработка словесного материала, достаточного для освещения лишь отдельных частных явлений в жизни слова, при отсутствии как философского анализа их, так и исторической перспективы, не оправдывает притязания заложить основы новой, „научной“, точнее — эмпирической, поэтики» ²⁷.

Таким образом, поэтика в основном своем движении со второй половины XIX в. до 30-х годов XX в. строилась на лингвистическом фундаменте. «Поскольку, — писал В. М. Жирмунский в статье «Задачи поэтики», — материалом поэзии является слово, в основу систематического построения поэтики должна быть положена классификация фактов языка, которую дает нам лингвистика. Каждый из этих фактов, подчиненный художественному заданию, становится, тем самым, поэтическим приемом. Таким

²⁶ «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», I — Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики, М., 1962, стр. 619—620. Ср. также: Р. О. Я к о б с о н, Поэзия грамматики и грамматика поэзии, сб. «Poetics. Poetyka. Poetika».

²⁷ Вяч. И. Иванов, О новейших теоретических исканиях в области художественного слова, «Научн. известия [Акад. центра Наркомпроса]», сб. 2, стр. 177.

образом, каждой главе науки о языке должна соответствовать особая глава теоретической поэтики»²⁸.

В результате такого приравнения возникли значительные ограничения в понимании сущности целого ряда категорий поэтики и — вместе с тем — неоправданные изменения смысла, границ и функций многих лингвистических понятий. Особенно остро это несоответствие, это противоречие сказалось в области поэтической тематики и композиции, которые некоторыми исследователями, например В. М. Жирмунским, выводились за границы лингвистики. Однако и здесь роковую роль играло смешение понятий словесного значения и поэтической темы. Во всяком случае и тут возникали картины смешанного жанра, с недостаточно ясным и точным разграничением перспектив в освещении разных их частей. Так, сближая поэтическую тематику с семантикой, В. М. Жирмунский вынужден был включить в этот раздел поэтики не только исследование «приемов группировки словесных тем (семантических групп)» — явлений повторяемости, параллелизма, контраста, симметрии, приемов развертывания метафоры и т. д., но даже изучение мотивов и приемов сюжетосложения²⁹. В этом случае содержание и объем поэтики, конечно, выходили далеко за пределы лингвистики. Так, по словам В. М. Жирмунского, «в поэзии самый выбор темы служит художественной задаче, т. е. является поэтическим приемом: говорит ли автор о мечтательной Татьяне или выбирает своим героем Чичикова, изображает ли скучную картину провинциального быта или романтические подвиги и приключения благородных разбойников, все это для поэтики — приемы художественного воздействия, которые в каждой эпохе меняются и характерны для ее поэтического стиля»³⁰.

С вопросами тематики связывается и вопрос о поэтических жанрах. «Характерно, — писал В. М. Жирмунский в статье «К вопросу о „формальном методе“», — что столь существенное для литературы понятие о поэтических жанрах, как об особых композиционных единствах, связано в поэзии (как и в живописи) с тематическими определениями: героическая эпопея и лирическая поэма, ода и элегия, трагедия и комедия отличаются друг от друга не только по своему построению, но имеют каждая свой характерный круг тем»³¹. Таким образом, необходимость вместить в сферу поэтики вопросы сюжетосложения, композиции и характерологии далеко раздвигала границы и объем поэтики в сравнении с теорией поэтической речи³².

Разработка теории прозы уводит все далее от прямых связей и соотношений категорий и проблем поэтики с общелингвистическими понятиями. Вместо непосредственных лингвистических опор и обоснований явлений и обобщений поэтики создаются ряды отдельных аналогий и мнимых соответствий. Так, В. Б. Шкловский в статье «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» писал: «Методы и приемы сюжетосложения сходны и в принципе одинаковы с приемами, хотя бы, звуковой инструментовки. Произведения словесности представляют из себя *п л е т е н и е* звуков, артикуляционных движений и мыслей. Мысль в литературном произведении или такой же материал, как произносительная и звуковая сторона морфемы, или же инородное тело... Сказка, новелла, роман — комбинация мотивов; песня — комбинация стилистических мотивов; поэтому сюжет и сюжетность являются такой же формой, как и рифма. В понятии „содержание“ при анализе произведения искусства, с точки зрения сюжетности, надобности не встречается»³³.

²⁸ В. Ж и р м у н с к и й, Вопросы теории литературы [сб. статей], Л., 1928, стр. 39.

²⁹ Там же, стр. 42—43 и 46.

³⁰ Там же, стр. 44—45.

³¹ Там же, стр. 170.

³² См. главу I «Изучение языка художественной литературы в советскую эпоху» в моей книге «О языке художественной литературы» (М., 1959).

³³ В. Ш к л о в с к и й, О теории прозы [сб. статей], М.— Л., 1925, стр. 50.

Конечно, с современной лингвистической точки зрения тут очень многое наивно. Например, что такое заумное «плетение звуков, артикуляционных движений и мыслей?». Не больше, как футуристически не осмысленное сцепление далеких понятий. Какое значение имеет сопоставление мысли (идеи) в структуре литературного произведения с морфемой? С лингвистической точки зрения, эта аналогия не выдерживает критики. Ведь функция морфемы ограничена пределами слова или же — в самом широком понимании — предложения. Попытка установления эквивалентности сюжета и рифмы является также очень рискованной и неясной.

Наметившаяся в последние десятилетия тенденция к разработке проблем поэтики на базе лингвистического структурализма ведет к все большему и большему ограничению целей поэтики, ее категорий и понятий, ее внутреннего содержания, ее методов и приемов изучения словесно-художественных объектов. Поэтика замыкается в рамки теории поэтической речи³⁴. Между тем в ином аспекте исследования все глубже и разностороннее раскрывается задача построения поэтики на самостоятельной теоретической основе, хотя и смежной и во многом однородной или родственной с лингвистическими разысканиями в области стилистики художественной литературы и теории поэтической речи, но вместе с тем опирающейся на самостоятельную сферу вопросов словесно-художественной архитектоники и общей эстетики слова.

Характерны в этом отношении признания старых теоретиков литературно-художественного формализма. «Мотив далеко не всегда является развертыванием языкового материала, — пишет В. Б. Шкловский в статье „Строение рассказа и романа“. — В качестве мотива могут быть разработаны, например, противоречия обычаев»³⁵. Зависимость общих, совпадающих форм и систем сюжетного развития от своеобразий и социальных условий воспроизводимой жизни особенно резко подчеркивал И. А. Бунин, борясь с абстрактно понимаемой теорией влияния и заимствования. Профессор Софийского университета П. М. Бицилли в своих «Заметках о Толстом. Бунин и Толстой»³⁶ указал на ряд совпадений между отдельными сценами толстовского «Дьявола» и буниной «Митиной любовью».

И. А. Бунин ответил на эту статью подробным письмом (17 марта 1936 г.), в котором писал П. М. Бицилли: «... я „Дьявола“ как раз и не читал никогда — это очень странно для такого поклонника Толстого, как я, но именно так: когда, чуть не 25 лет тому назад, вышли в свет его „Посмертные произведения“, мне некоторые из них показались столь неприятны своей детско-старческой поучительностью, добродетельностью и т. д., что мне было просто тяжело читать: посмотрю и брошу. Хорошо помню, что именно так было и с „Дьяволом“... Так что те строки из „Дьявола“, что действительно так похожи на строки о свидании Мити с Аленкой в „Митиной любви“, я впервые в жизни прочел только в В а ш е й с т а т ь е. Как же объяснить это удивительное сходство? Очень просто, конечно: вся деревенская, усадебная жизнь наших мест (а мы ведь совсем земляки с Толстым), нашего среднепомещичьего быта, наших „господ“ и их „дворов“ была необыкновенно похожа, и мы с Толстым (т. е. я и Т.) взяли в данном случае нечто вполне „классическое“ в смысле сводничества и любовного свидания»³⁷.

В связи с этой же темой о совпадении сюжетно-стилистических ситуаций следует вспомнить и такое замечание из другого письма И. Бунина к проф. Бицилли (от 7 августа 1948 г.) — по поводу его статьи «Проблема человека у Гоголя» («Годишник на Софийския ун-т», Ист.-филол. фак-т,

³⁴ См. R. Jakobson, *Linguistics and Poetics*, New York, 1959. См. также сб. «Style in language» и др.

³⁵ В. Шкловский, О теории прозы, стр. 57.

³⁶ «Современные записки», LX, Париж, 1936, стр. 280—281.

³⁷ А. Мещерский, Неизвестные письма И. Бунина, «Русская литература», 1961, 4, стр. 153.

XLIV, 4, 1947—1948): «на стр. 30-й Вы говорите про „случай прямой перефразировки у Чехова одного места у Гоголя“; это начало „В овраге“ о дыяконе и икре; но Гоголь тут не при чем: э т о я рассказал однажды Чехову, что на именинах моего отца наш приходской сельский дыякон съел целых два фунта икры, и Чехов закричал, хохоча: „Ах, как это чудесно! Я начну этим один мой рассказ — можно?“»³⁸. К. Кодуэлл в своей работе «Поэтическое воображение (Dream-work)», рассуждая о структурных своеобразиях романа соотносительно с стихотворной поэзией, доказывал, что «романы не komponуются из слов. Они komponуются из событий, действий, м а т е р и а л а, людей точно так же, как пьесы». Поэтому «роман так хорошо переводится». В романе создается или воспроизводится «мнимая реальность». И эстетическое восприятие читателя сосредоточено не на словах, а на «движущемся потоке мнимой реальности, обозначенной словами». Между тем в «поэзии» огромная структурная роль принадлежит «самим словам», индивидуальной неповторимой форме выражения, аффектам, которые ассоциируются с самим словом. «Отсюда в поэзии тенденция играть словами, каламбурить открыто или незаметно восхищаться строением слова»³⁹.

2

Уже в 30-е годы XX в. (а частично и в 20-е) все острее и глубже осознается необходимость широкого и свободного от стеснительного и подбострастного подчинения лингвистике построения новых основ поэтики (см., например, работы акад. А. И. Белецкого, акад. И. Ю. Крачковского, ираниста Е. Э. Бертельса, В. М. Жирмунского, Б. М. Энгельгардта и др.). Однако необходимость углубленной разработки принципов, задач и методов теории литературы на марксистской основе с 30—40-х годов отодвинула в советской филологии на задний план исследования в области теоретической и исторической поэтики.

Возникает замысел — растворить поэтику в общей концепции теории литературы. Формы воплощения этого замысла разнообразны (ср., например, руководства для высшей школы по теории литературы — проф. Л. И. Тимофеева, проф. Г. Н. Поспелова, В. И. Сорокина, Г. Л. Абрамовича, Л. В. Щепиловой и др., а также относящиеся сюда статьи, брошюры, сборники). Эта задача за последние годы формулируется в таких положениях: «Теория литературы изучает общие законы литературы, связь литературой и действительностью, между литературой и другими формами сознания. Она изучает гносеологию образа, его внутреннюю структуру, закономерности развития образности и методов, характеров, сюжета, художественной речи, родов и жанров литературы, ее стилей. Она рассматривает те явления, которые обуславливают возникновение и развитие художественных миров, и те силы, элементы и черты, на основе которых эти миры складываются (разрядка моя. — В. В.). Художественный образ является тем видом познания и освоения мира, который органически соответствует предмету и содержанию художественной литературы, т. е. познанию и воспроизведению жизни и человека в их целостности. Но правильно понять образность возможно лишь рассматривая творческий метод как организующее начало литературно-художественного сознания»⁴⁰.

Таким образом, задача теории литературы в этом случае, очевидно, состоит прежде всего в раскрытии основных проблем марксистского понимания закономерностей развития «литературы как специфической формы

³⁸ Там же, стр. 157.

³⁹ См. «Современная книга по эстетике. Антология», М., 1957, стр. 211—212 и 222—224.

⁴⁰ Я. Эльсберг и Ю. Борева, Теория литературы в историческом освещении и современность, ИАН ОЛЯ, 1961, 5, стр. 383

общественного сознания» (правильно ли считать литературу только одной из форм общественного сознания?), с другой стороны, в освещении вопросов эстетики слова или общей теории образности, а с третьей — в поглощении или распылении прежней поэтики как самостоятельной дисциплины, а также в безграничном расширении круга ее понятий и категорий в сторону новой идеологической проблематики советского литературоведения. Вот некоторые из относящихся сюда деклараций:

«Марксизм сделал методологическим требованием выведение богатства литературы и других идеологических форм из объективной действительности. Научный подход состоит не в том, чтобы с е с т и данные художественные формы к тем объективным общественным причинам, которые их вызывают, а в том, чтобы в ы в е с т и из данных общественных отношений необходимость возникновения данных форм литературного процесса, данных форм художественного мышления»⁴¹. «Теория должна дать истории литературы общую перспективу художественного процесса. В истории литературы теория обретает то конкретное богатство, ту реальную плоть художественного процесса, без которых немислимо никакое стремящееся к перспективности, целостности, историчности мышление»⁴². «Логическое определение категорий поэтики необходимо становится одновременно и их историческим определением или, вернее, раскрытием исторической изменчивости данной категории. Логическое определение художественного образа, метода, содержания и т. д. должно быть и раскрытием закона их развития»⁴³.

Следовательно, теория литературы, с этой точки зрения, должна включать в себя не только своеобразно понимаемую философическую поэтику — теоретическую и историческую, но и всю методологию исторического развития литературы. Тут выступает как центральное понятие истории литературы — понятие метода. «Этот метод требует отыскания среди категорий поэтики в ряду наиболее общих понятий теории литературы того основного звена, которым все определяется и из которого только и может вырасти вся диалектически гибкая и подвижная система теоретико-литературных категорий. Таким звеном является художественный образ, ибо в нем преломляются, сходятся и от него расходятся все связи, все солнечные нити той волшебной пряжи, из которой соткано художественное произведение» (разрядка моя. — В. В.)⁴⁴.

Все это не очень определено, хотя и очень «имажинистично». По мнению авторов, «началом начал современной теории литературы и становится современное ее „ядро“ — художественный образ, как сфера осуществления единства идейности и художественности»⁴⁵. Отсюда делается такой вывод: «литературная теория должна стать не наукой о застывших литературных формах (тем более не о литературных терминах и понятиях), а наукой об основных исторических закономерностях развития литературного сознания, литературно-художественного мышления и отдельных его сторон (какими являются, например, характеры и обстоятельства в литературе, сюжет, художественная речь, стили и т. д.)» (разрядка моя. — В. В.)⁴⁶.

В таком понимании теория литературы не только обособляется от лингвистики, но и значительно удаляется от поэтики. Правда, она вынуждена будет воспользоваться некоторыми достижениями исторической поэтики, но осмысление их должно быть направлено в иную сторону — в сторону «человековедения». «В центре ее внимания стоит человек как типическая

⁴¹ Там же, стр. 386.

⁴² Там же, стр. 389.

⁴³ Там же, стр. 386.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же, стр. 390.

⁴⁶ Там же, стр. 391—392.

индивидуальность в общественной жизни и в литературе». Такая «теория литературы особенно близка к эстетике и этике, к психологии и истории, в частности к истории духовной жизни»⁴⁷.

Итак, в современной советской теории литературы (не в учебно-методическом ее понимании) наблюдается существенный отход от задач и принципов поэтики. Те литературоведы, которые находятся в стороне от этого движения и склонны рассматривать и поэтику, и стилистику как органические и важные части теории литературы, признают, что «вопрос о предмете поэтики и стилистики в их соотношении с теорией литературы, несомненно, нуждается в обстоятельном обсуждении»⁴⁸.

Краткий и очень неполный обзор взглядов на содержание, задачи и принципы построения теоретической и исторической поэтики (с преимущественной ориентацией на нашу отечественную традицию, которая сыграла такую большую роль в мировом развитии поэтики как науки) приводит к выводу о невозможности замкнуть поэтику в рамки теории поэтического языка или языка в его поэтической функции и о нецелесообразности растворения поэтики в общей теории литературы (как бы ни понимать ее объем, предмет изучения и конечные цели). Точно так же основанная на лингвистических принципах стилистика художественной литературы изучает законы построения и развития стилей литературного искусства в их отношении к стилям литературного языка и народной речи. Это резко отделяет такую стилистику от поэтики. Самое понятие индивидуального словесно-художественного стиля в лингвистическом аспекте не включает в себя таких признаков, которые относились бы к способам анализа внутреннего художественного содержания произведения в его целостности или цельности или идеологических основ творчества писателя в целом (что очень важно для поэтики).

3

Поэтика как наука о формах, видах, средствах и способах словесно-художественного творчества, о структурных типах и жанрах литературных сочинений стремится охватить не только явления поэтической речи, но и самые разнообразные стороны строя произведений литературы и устной народной словесности. Вопросы о мотивах (ср. исследования типа «Мотив и слово» Г. Шпербера и Л. Шпитцера и т. п.) и сюжетах, об их источниках и формах сцеплений, о разных приемах и принципах развертывания или развития сюжета, о законах сюжетосложения, о художественном времени как категории построения и движения действий в литературном произведении, о композиции как системе сочетания, взаимодействия, движения и объединения речевого, функционально-стилистического и идейно-тематического планов словесно-художественного произведения, вопросы о средствах и приемах сюжетно-динамической и собственно речевой характеристики персонажей в разных жанрах литературы, о жанровых и структурных различиях в соотношениях и связях монологической и диалогической речи в разные эпохи литературного развития и в разных типах словесно-художественных структур, о влиянии идейного замысла и тематического плана произведения на его стилистически-речевой строй и многие, многие другие проблемы словесно-поэтического творчества выходят далеко за границы учения о поэтической или художественной функции языка или науки о поэтической речи.

Представляется особенно наглядным и ясным, что изучение речевого строя художественной прозы — структуры повеллы, повести, романа, хроники и т. п. — никак не может быть исчерпано категориями и понятиями науки о поэтической речи. Недаром в эстетике и теории романа XIX в., создавшихся на основе практики романа этой эпохи и применительно

⁴⁷ Там же, стр. 392.

⁴⁸ М. Б. Храпченко, О разработке проблем поэтики и стилистики, ИАН ОЛЯ, 1961, 5, стр. 402.

к ней, т. е. только к тем разновидностям романной формы, которые были созданы в литературе XIX в., выдвигался взгляд на роман как на произведение «риторическое» (по терминологии проф. Г. Шпета), стремящееся к учительному или проповедническому общественному воздействию. Впрочем сложные синтезирующие тенденции характерны и для стиха (ср., например, ученые стихотворные рассуждения Ломоносова, публицистические стихи Некрасова, политическую стихотворную поэзию революционно-демократических поэтов 60—70-х годов и др. под.). Однако непосредственно очевидно, что речь прозаических литературных произведений (в качестве примера можно взять хотя бы творчество Бальзака, Стендаля, Достоевского, Л. Толстого, Горького и многих других художников слова, не говоря уже о таких, как Герцен, Салтыков-Щедрин и т. п.) по своему, но непосредственно и остро синтезирует и поэтические, и риторические, т. е. агитационно убеждающие, публицистические, деловые, научно-теоретические и иные функции. Поэтому истолковать и понять, например, «Бесы» Достоевского, «Войну и мир» и «Воскресение» Л. Толстого, «Былое и думы» Герцена и т. д. в аспекте выразительных средств и категорий «чистой» поэтической речи невозможно.

Так как это синтезирование и в количественном, и в качественном отношении, не говоря уже о различиях самого языкового материала, приводило в разных случаях и в разные эпохи к разным результатам, то поэтика — наука не только теоретическая, но и историческая. Она не может не быть исторической уже потому, что имеет дело с продуктом (или продуктами) речевой деятельности человека, с литературными произведениями, а все продукты творческой деятельности человека историчны по самой своей природе. Теория поэтической речи также исторична, но только в том аспекте, в каком историчен сам язык и в каком исторично само художественное творчество, оперирующее этим языком. Теория поэтической речи изучает структурные качества и свойства этой функциональной разновидности речи хотя и в широком и историческом контексте поэтических структур и их жанров, но она не исследует самые типы и жанровые разновидности литературных произведений в их сложном структурном единстве и в их историческом многообразии. Исключить весь этот важный и пестрый по своему составу круг проблем из теории и истории построения литературно-художественных произведений, из поэтики литературного творчества нецелесообразно и логически ни с чем не сообразно.

Поэтика, отпавшая от теории поэтической речи и отчасти базируясь на ней, не может ограничиться приемами и принципами чисто лингвистического анализа, не может замкнуться в категориях и формах, относящихся только к языку и речи в разных их функциях. Она обогащается понятиями и обобщениями общей теории художественного творчества — искусствоведения и литературоведения.

В самом деле, стих в своих истоках, по своей природе и во многих формах своего существования органически соединен с музыкой (более всего, конечно, в виде песни); многие типы и разновидности повествовательной прозы вышли из устного сказа, связаны с ним, несут на себе его печать и тогда, когда они уже оторвались от него, а сказ — это также особая форма словесного и сценического, театрально-бытового искусства; есть виды художественной прозы, которые отпочковались от ораторской речи, а ораторская речь всегда считалась искусством; драма вся целиком принадлежит театру, а театр также — очень яркий вид специфического искусства; несомненны связи между художественной литературой и изобразительными искусствами. Поэтому поэтика не может не включать в себя и понятий и обобщений искусствоведения.

Для иллюстрации органической связи поэтики с историей литературы, а также путей вхождения в поэтику понятий и обобщений науки о литературе можно указать на один, но важнейший факт истории литературы: на различия в понимании того, что считается у разных народов и в разные

периоды истории их культуры художественной литературой, что такое жанры художественных произведений, что входит в разные эпохи и в разных культурах в орбиту «художественной литературы», что не входит. Это — очень благодарный материал для неоспоримого доказательства того положения, что поэтика не может обойтись без понятий и обобщений науки о литературе — как в историческом аспекте, так и в теоретическом: эти понятия и обобщения связаны и с историей литературы, и с теорией литературы.

В области поэтики лингвистические методы исследования скрещиваются с литературоведческими и обогащают их. Такие проблемы, как проблема связи идейного и тематического плана произведения с речевым его построением, как проблема композиционной спайки и сцепления частей художественного целого, как проблема композиционного параллелизма в развертывании отдельных звеньев сюжета, как проблема движения художественного времени в ходе действий, как проблема социально-исторической характерности и типичности персонажей и др. под., требуют комплексного подхода — и лингвистического, и литературоведческого. Специфичность и ценность лингвистического анализа состоит в том, что он исходит из тщательного и всестороннего толкования текста и его освещения в контексте современной ему культуры, общественного быта, литературного искусства, социальных задач своей эпохи. Литературоведческий анализ шире и свободнее пользуется фактами и показаниями социально-политической истории, психологии национальных и социальных характеров, истории общественно-идеологической борьбы, а также параллелями из других видов искусства, особенно из искусств изобразительных.

В. Сомерсет Моэм в своей книге «Подводя итоги» («The summing up») заметил о художнике: «Если он писатель, он употребит свое знание людей и мест, а также себя самого, свою любовь и непаваемость, свои сокровенные мысли, свои преходящие увлечения на то, чтобы из книги в книгу давать изображение жизни. Оно всегда будет неполным, но если ему повезет, он в конце концов сумеет сделать другое: даст полное изображение самого себя»⁴⁹.

Об образе писателя тот же В. Сомерсет Моэм писал: «Возможно, что и в каждом из нас перемешано несколько исключаящих друг друга индивидуумов, но писатель, художник ясно это ощущает. У других людей, в силу образа жизни, та или другая их сторона перевешивает, а все остальные исчезают или задвигаются далеко в подсознание. Но живописец, писатель, святой всегда ищет в себе новых граней; ему скучно повторяться, и он, может быть, бессознательно, старается уберечься от односторонности. Ему не грозит опасность стать существом последовательным и цельным... писатель — не один человек, а много. Потому-то он и может создать многих, и талант его измеряется количеством инстанций, которые он в себе включает... Писатель не сочувствует, он чувствует за других. Он испытывает не симпатию (которая слишком часто вырождается в сентиментальность), а то, что психологи называют эмпатией... Кажется, Гете первым среди писателей осознал свою многоликость...»⁵⁰.

От структуры «образа автора» следует отличать структурные формы образа «я» в разных жанрах литературы. Повествовательное «я» в новелле, повести и романе со всеми относящимися к нему формами выражения — совсем иной структуры, чем «я» лирического произведения. Тот же В. Сомерсет Моэм заметил: «...хотя я часто писал от первого лица, но писал как автор романов и рассказов, а стало быть, в какой-то мере мог считать себя одним из персонажей. В силу долголетней привычки мне удобнее высказываться через посредство вымышленных мною людей. Решать, что они подумали бы, мне легче, чем решить, что думаю я сам

⁴⁹ В. Сомерсет Моэм, Подводя итоги, М., 1957, стр. 141.

⁵⁰ Там же, стр. 170—171.

Первое всегда доставляло мне радость; второе было тяжелым трудом, который я с готовностью откладывал на завтра»⁵¹. Любопытно и такое замечание этого писателя: «Актер — это все персонажи, которых он может сыграть; писатель — все персонажи, которым он может дать жизнь»⁵².

Поэтический замысел и связанные с ним композиционные формы его воплощения могут существенно влиять на литературную структуру произведения, на его стиль и на его архитектонику. Стефан Цвейг во «Вступлении» к своей «Марии Стюарт», противопоставляя сомнительность исторических свидетельств и обобщений правдивости поэтического воспроизведения прошлого, так определял основу или сущность своей художественной концепции трагедии Марии Стюарт (и вместе с тем композиции своего романа на этот сюжет): «Мария Стюарт принадлежит к тому крайне редкому, волнующему типу женщин, чья способность к бурным переживаниям как бы затиснута в ограниченный срок, к женщинам, которые знают лишь мгновенный пышный расцвет и расточают себя не постепенно, а словно сгорая в тесном накаленном горниле единой страсти. До двадцати трех лет чувства ее все еще лежат гладкой заводью, да и потом, начиная с двадцати пяти, ни разу не всколыхнутся они бурно, и только в течение короткого двухлетия клокочет разбушевавшаяся стихия — так обычная, будничная судьба превращается в трагедию... наподобие „Орестей“. Лишь за это двухлетие предстает перед нами Мария Стюарт поистине трагической фигурой, только под этим давлением неудержимо поднимается она над собой, разрушая в неистовом порыве свою жизнь и в то же время сохраняя ее для вечности. Только благодаря страсти, уничтожившей ее как человека, имя ее еще и сегодня живет в стихах и спорах.

Этой необычайной уплотненностью всей внутренней жизни, сведенной к единому взрывчатому мгновению, преукразаны форма и ритм всякого жизнеописания Марии Стюарт; дело художника — воспроизвести эту круто взлетающую и так же внезапно ниспадающую кривую во всем ее неповторимом своеобразии. А потому да не сочтут произволом, что таким обширным временным протяжением, как первые двадцать три года жизни Марии Стюарт, а также последующие без малого двадцать лет ее заточения, отдано здесь столько же места, сколько двум годам ее трагической страсти. В жизни человека внешнее и внутреннее время лишь условно совпадают; единственно полнота переживаний служит мерилom душе; по-своему, не как равнодушный календарь, отсчитывает она изнутри череду уходящих часов. В ошьянении чувством, блаженно свободная от пут и оплодотворенная судьбой, она может в кратчайший срок узнать жизнь во всей полноте, чтобы потом, в своей отрешенности от страсти, снова впасть в пустоту бесконечных лет, скользящих теней, глухого Ничто. Вот почему в прожитой жизни идут в счет лишь напряженные, волнующие мгновения, вот почему единственно в них и через них поддается она верному описанию. Лишь когда в человеке разыграют все душевные силы, он истинно жив для себя и для других; только когда его душа раскалена и пылает, становится он зримым образом»⁵³.

Само собой разумеется, что раскрытие этой сложной словесно-художественной структуры, изучение всех способов и своеобразий реализации, воплощения этой поэтической концепции в романе не может быть осуществлено посредством одних только лингвистических категорий поэтики. Для того чтобы шире и многостороннее представить сложность и многообразие тех проблем и задач, которые стоят перед поэтикой, необходимы последовательные развернутые характеристики внутреннего содержания разных разделов поэтики. Пока же приходится довольствоваться отдельными иллюстрациями. Так, одним из острых вопросов современной поэтики литературного творчества является вопрос о «деталях» в композиции

⁵¹ Там же, стр. 17.

⁵² Там же, стр. 88.

⁵³ Ст. Цвейг, Мария Стюарт, М., 1959, стр. 19—20.

словесно-художественного целого. По этому вопросу есть интересные высказывания в статье И. Бехера о поэтическом, объясняющие разницу между реалистическим и абстракционистским отношением к деталям.

В своих размышлениях о писательском труде и о сущности поэзии И. Р. Бехер говорит: «Для современного искусства характерен отказ от детали. Многие художники, если не большинство их, были прямо-таки одержимы стремлением опустить деталь и открыть целое без деталей. Но это бездетальное целое оказывалось не целым, а абстракцией. Возможно, это стремление было своего рода протестом против „засилия деталей“, которое, со своей стороны, старалось оторвать деталь от целого и представить деталь как таковую. Но так же, как целое не бывает без деталей, так и деталь не может существовать без целого. Каждая деталь — всегда деталь целого, как каждое целое — целое вместе со своими деталями. Правда, целое не состоит из деталей, то есть оно не сумма деталей, и нельзя создать целое, суммируя детали и нанизывая одну деталь на другую, но все же, чтобы создать целое, нужны и детали. Однако, делая детали самостоятельными и не умея подчинить их целому, художник лишается возможности воздействовать деталями. (Кроме того, мне кажется, пренебрежение деталью — проблема не только художественная, но и мировоззренческая.) Не обращать внимания на деталь и показывать большое в общем и целом, не давая ему тем самым воплотиться в образ, — значит противоречить не только художественной закономерности, но и гуманистическому принципу. Взаимозависимость всех элементов, глубокая человеческая связь одного с другим должны оживать и в художественном произведении, но уравниловке при этом нет места. Художник должен систематизировать, выбирать и воздавать каждому свое по чину и заслугам, как то положено ему в данном произведении искусства»⁵⁴.

Того же вопроса, но с иной точки зрения касался в своих заметках «Ни дня без строки» покойный Ю. Олеша. Очень субъективно и пристрастно — в аспекте своей поэтической концепции — оценивая художественную манеру и стиль Бунина, он осуждал избыточность, излишество экспрессивно-образных красок и деталей у Бунина, а также их мнимую внутреннюю несогласованность в композиции целого. «Нужно ли такое обилие красок, как у Бунина? — возмущался Ю. Олеша. — „Господин из Сан-Франциско“ просто подавляет красками, от них становится тягостно. Каждая в отдельности, разумеется, великолепна, однако, когда читаешь этот рассказ, получается впечатление, как будто присутствуешь на некоем сеансе, где демонстрируется какое-то исключительное умение — в данном случае определять предметы. В рассказе, кроме развития темы и высказывания мыслей, еще происходит нечто, не имеющее прямого отношения к рассказу, — вот именно этот сеанс называния красок. Это снижает достоинства рассказа. В конце концов, мы, писатели, знаем, что все на все похоже и сила прозы не в красках.

Бунин замечает, что, попадая на упавший на садовую дорожку газетный лист, *дождь стрекочет*. Правда, он стрекочет, лучше не скажешь. То есть и не надо говорить лучше, это, выражаясь языком математики, необходимое и достаточное определение... Но есть ли необходимость выделять из повествования такую деталь, которая сама по себе есть произведение искусства и, конечно, задерживает внимание помимо рассказа?»

Ю. Олеша не расчленяет и не решает вопроса о сущности и функциях в композиции бунинского целого тех словесно-художественных средств, которые он называет «красками». В его заметках «краски» оказываются в одном ряду и даже в ближайшем соседстве с «эпитетами» и «детальми», хотя это несомненно разные способы и средства художественного изображения. «Мы стоим перед вопросом, как вообще писать. В конце концов рассказ не есть развертывание серии эпитетов и красок... Есть удивитель-

⁵⁴ И. Р. Бехер, О поэтическом, «Новый мир», 1959, 2, стр. 185.

ные рассказы, ничуть не наполненные красками и деталями. О д н а к о (разрядка моя. — В. В.) Гоголь широко применял сравнения. Тут и летящие на фоне зарева лебеди с их сходством с красными платками, тут и дорожки, расплзшиеся в темноте, как раки, тут и распатанные доски моста, приходящие в движение под экипажем, как клавиши, тут и поднос полового, на котором чашки сидят, как чайки... Гоголь трижды сравнивал, каждый раз по-иному, предмет, покрытый пылью: один раз это графин, который от пыли казался одетым в фуфайку, тут и запыленная люстра, похожая на кокон, тут и руки человека, вынутые из пыли и показавшиеся от этого как бы в перчатках»⁵⁵.

В другом месте тех же замсток Ю. Олеши свое нерасположение к Бунину и его стилю мотивирует явно односторонними субъективными и далекими от поэтики рассуждениями о личности этого писателя и о его литературном образе, о его идеологической позиции. «Надо ли так писать, как Бунин? Зачем такое количество красок? Он пессимист, злой, мрачный писатель. Хорошо, деревня была страшной в его времена, но когда читаешь изображаемые им ужасы, то кажется, что он подделывался под тех, кто ужасался искренне для того, чтобы, как говорится, выйти в люди.

Чего он хочет? Не знаю. Помещики ему, безусловно, милы. Кулаки — нет, а помещики милы. Что же, он думает, что уничтожение ужасов произойдет от помещиков? Даже Чехов с его пессимизмом верил в то, что через двести лет „жизнь будет прекрасной“. У Бунина нет такой веры. Тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности... Его рассуждения о душе, сливающейся с бесконечностью или в этом роде, кажутся иногда просто глупыми. Пресловутый „Господин из Сан-Франциско“ беспросветен, краски в нем нагромождены до тошноты. Критика буржуазного мира? Н е д у м а ю (разрядка моя. — В. В.). Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство. Уменьше точно описать действительно поразительное. Однако молодая девушка, дочь господина из Сан-Франциско, с ее нежными прыщами на оголенной спине, пришла из толстовского „После бала“»⁵⁶.

Многое в этих рассуждениях поражает нежеланием, а может быть и неумением, неспособностью проникнуть в словесно-художественную систему чужого и, очевидно, чуждого стиля и близорукой односторонностью обобщений. Проблема художественных красок и деталей оторвана от поэтики и стилистики и повернута в сторону субъективно-идеологических, очень пристрастных оценок и квалификаций.

Между тем А. М. Горький писал Бунину еще в 1910 г. (27 октября — 9 ноября) о его повести «Деревня»: «Если надобно говорить о недостатке повести — о недостатке, ибо я вижу лишь один, — недостаток этот — густо! Не краски густы, нет, — материала много. В каждой фразе стиснуто три, четыре предмета, каждая страница — музей! Перегружено знанием быта, порою — этнографично, местно»⁵⁷. Бунин в ответ заявлял: «Большое Вам спасибо, дорогой, за похвалы. Сильно побуждают они меня на новую, лучшую работу. А что густа „Деревня“ — святая правда. Я ведь и сам писал Вам: забил я себя в тиски! Да и многое другое совсем не так, как надо»⁵⁸.

У С. Антонова в «Письмах о рассказе (Деталь)» очень тонко и верно говорится о детали: «В конечном счете ценность детали не в богатстве ассоциаций, не в длине цепи представлений и образов. Ведь вся эта цепь, если бы она была выписана автором, служила бы только средством для того, чтобы воссоздать в душе читателя то же самое ощущение, которое испытывает автор. Свойство счастливо найденной детали „четвертого измерения“ и состоит в том, что она способна возбудить это результативное ощущение сразу, как бы минуя всю последовательно-логическую цепь представлений и образов, заставляя читателя подсознательно, с быстротой молнии прочувствовать все промежуточные ступени познания предмета»⁵⁹.

Интересно сопоставить с оценками бунинского стиля суждения Ю. Олеши об излишестве побочных деталей и красок у Хемингуэя: «Пи-

⁵⁵ «Октябрь», 1961, 8, стр. 139—140.

⁵⁶ Там же, стр. 146—147.

⁵⁷ «Горьковские чтения. 1958—1959», М., 1961, стр. 50.

⁵⁸ Там же, стр. 51.

⁵⁹ «Мастерство писателя. Сб. статей», М., 1961, стр. 195.

сательская манера Хемингуэя единственна в своем роде... Иногда представляется, что он мог бы и вычеркнуть некоторые строки... Зачем, например, описывать, как подъехала машина такси и как стоял на ее подножке официант, посланный за машиной? Для действия рассказа это не имеет никакого значения. Или есть ли надобность останавливать внимание на том, что группа индейцев, не участвующая в сюжете, покидает вокзал и уходит садиться на свой поезд? Важно ли давать подробную картину того, как бармен составляет коктейль: сперва налил то, потом налил это, потом ушел, потом вернулся, принес бутылку, опять налил и т. д.? Если бы, скажем, этим коктейлем отравили героя, тогда выделять такое место имело бы смысл... Нет, эта сцена вне сюжета. Имело бы также смысл останавливаться на ней, если бы, скажем, автор хотел рассказать нам, как готовятся коктейли. Нет, и этой цели Хемингуэй не ставит себе. Право, другой бы вычеркнул подобные места... Однако Хемингуэй их не вычеркивает — наоборот, широко применяет, и, странное дело, их читаешь с особым интересом, с каким-то очень поднимающим настроение удовольствием. В чем дело? Дело в том, что и мы, читатели, бывает, нанимаем такси, и нам случается ждать нужного поезда, и для нас иногда приготавливают коктейли. Отсюда и удовольствие. Мы начинаем чувствовать, что наша жизнь мила нам, что это хорошо — нанимать такси, ждать поезда, пить коктейль. Несомненно, такая манера, состоящая в том, что, кроме ведения сюжета, писатель еще как бы боковым зрением следит за мелочами жизни — за тем, как герой, допустим, бреется, одевается, болтает с приятелем, — такая манера, скажем мы, несомненно, жизнеутверждающая и оптимистична, поскольку, как мы уже примерно сказали, вызывает у нас вкус к жизни. Честь первого применения этой манеры принадлежит, безусловно, Хемингуэю. Теперь ее применяют многие писатели Запада, в том числе Ремарк, Сароян, Фолкнер, замечательный польский писатель Ярослав Ивашкевич»⁶⁰.

Конечно, «детали» у Хемингуэя иного качества и иной словесной структуры, чем у Бунина. И функция их в композиции словесно-художественного произведения здесь иная. И тем не менее те и другие связаны с новыми формами литературно-художественной композиции и новыми структурными своеобразиями образа автора. И. Г. Эренбург вспоминал слова Хемингуэя: «Мне кажется, никогда писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода — описывать бегом все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном — в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально»⁶¹.

Ю. Олеша про себя говорил так: «Мне кажется, я только называтель вещей. Даже не художник, а просто какой-то аптекарь, завертыватель порошков, скатыватель пилюль»⁶². Поэтому-то и к «чудесам литературы» он относит только замкнутые словесные образы (в том числе и метафоры). «Как некоторые высокие достижения техники или медицины определяются словом „чудо“ и есть поэту чудеса техники, медицины, — говорил Ю. Олеша, — так могут быть определяемы тем же словом и высшие достижения литературы, так мы можем говорить и о чудесах литературы. К чудесам литературы относится, кажется мне, то описание неба над головой идущих ночью в ущелье солдат в одном из кавказских рассказов Льва Толстого — не в „Набеге“ ли? Там сказано, что та узкая, извилистая полоска ночного неба, полная звезд, которую видели над собой шедшие между двух отвесных стен ущелья солдаты, была похожа на реку. Она текла над головами солдат, как река, эта темная мерцающая бесконечностью звезд полоска»⁶³.

⁶⁰ «Октябрь», 1961, 8, стр. 152.

⁶¹ И. Э р е н б у р г, Люди, годы, жизнь, «Новый мир», 1962, 5, стр. 128.

⁶² «Октябрь», 1961, 8, стр. 148.

⁶³ Там же, стр. 155.

Как известно, проблема отбора, словесного воплощения и обозначения, композиционного размещения и образного осмысления «деталей» — одна из важнейших проблем реалистического метода. Естественно, что при исследовании этой проблемы очень значительное место приходится уделять вопросу о типах и вариациях словесно-образного воплощения и сочетания, сцепления деталей в разных жанрах, а также вариациях и разновидностях литературного реалистического искусства. Для исторической поэтики существенны не столько индивидуально-стилистические различия в формах выражения и композиционно-динамического использования или характеристического (характерологического) осмысления деталей (в творчестве Гоголя, Гончарова, Толстого, Достоевского и других писателей), сколько типологические варианты или конструктивные формы такого функционирования деталей в разных системах литературного реалистического искусства.

Так, в своей статье об «Обломове» Гончарова Н. А. Добролюбов указывал на способность этого писателя «охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его». Пристрастие Гончарова к деталям он объяснял стремлением художника-реалиста «проследить явление до конца, найти его причины, установить его связи со всеми окружающими явлениями, возвести образ в тип, придать ему родовое, общее значение»⁶⁴. Изображение личного характера персонажа, жизни, быта начинается с разрозненных многочисленных деталей, частных, аксессуарных мелочей. Но затем — в связи с законами развития сюжета — эти детали и прозаические частности приобретают глубокий социально-типический общий смысл и, по словам самого Гончарова, «сливаются в общем строе жизни».

В. Шкловский так характеризует чеховские приемы использования деталей в рассказе «Знакомый мужчина»: «В этой новелле описание скатки до предела. Не только зубной врач — клиент для женщины, но и женщина, пришедшая на прием, для зубного врача — клиентка. Он ее не видит, не узнает. Повествование строится на двойственности восприятия человеком самого себя, на разнице между Вандой и Настей, определяемой платьем, на разнице между дантистом Финкелем и „знакомым мужчиной“... В рассказ введены только те подробности, которые нужны для сюжета. Например, сказано, что у зубного врача есть на лестнице зеркало. Зеркало отражает „оборвашку“, подтверждает то, что на Ванде нет нарядного платья — ее „формы“. Пальцы доктора пахнут табаком. Это близко ошущенный запах чужого, неприятного человека»⁶⁵.

«Чехов давал подробности, но подробности крупного смыслового значения, которые сразу вводят в эпоху, в быт, сообщают предмету, явлению единственный, неповторимый признак. В рассказе „Архиерей“ (1903) у купца Еракина пробуют электричество: „Лавки были уже заперты, и только у купца Еракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ“. Это ярко зрительно не только само по себе, но еще и потому, что дальше следует описание темных улиц, безлюдного шоссе и высокой колокольни, освещенной луной. А в то же время эта картина и очень локальна: ее можно было наблюдать лишь в том году, когда впервые загорались в России угольные лампочки, желтый цвет которых выделялся в голубой лунной ночи. Народ, смотрящий на диковинку, не описан, но фраза составлена так, что слово „народ“ выделено своим положением в конце предложения. К таким деталям крупного смыслового значения, но поставленным так, что они не пестрят, а служат „целому“, Чехов прибегал очень часто...

⁶⁴ См. Н. П р у ц к о в, О художественном своеобразии Гончарова — романиста, «Русская литература», 1961, 4, стр. 80. См. также кн.: Н. И. П р у ц к о в, Мастерство Гончарова — романиста, М.—Л., 1962.

⁶⁵ В. Ш к л о в с к и й, Заметки о прозе русских классиков, М., 1953, стр. 291—292.

...Чехов был против эпигонской прозы, основанной на выделении мас- сы мелких, второстепенных деталей, терявшей „главную мысль“»⁶⁶.

Л. В. Никулин в своем литературном портрете «Иван Бунин» писал: «Критика в дореволюционные годы часто отмечала влияние Чехова на Бунина. Сближало их „выдумывание жизненных подробностей...“. Но далее говорится о том, что характерное для стиля ранних рассказов Бунина некоторое «щегольство подробностями» было чуждо Чехову. «„Море пахло арбузом“, — так бы не написал Чехов. И он бы не написал: „Мерив задрал голову, и, разбив копытом лулу в луже, тронул бодрой иноходью“ („Последнее свидание“), или: „Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно осыпанной траве“ („Суходол“), или: „Кусты шумели остро и сухо, как будто бежали вперед“. Много лет спустя, подготавливая к изданию собрание сочинений, Бунин вычеркивал то, что казалось ему щегольством... Бунин учился у Чехова краткости. Он говорил еще, что краткости его научили стихи. В последние годы он увлекся жанром рассказов-миниатюр»⁶⁷.

И Бунин, и Чехов работали над новыми формами композиции новеллы. В рассказе «Книга» Бунин писал: «А зачем выдумывать? Зачем герои и героини? Зачем непременно роман с завязкой и развязкой?.. И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законного выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!». «О завязке и развязке произведения Чехов однажды говорил: „По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем...“»⁶⁸.

Проф. П. М. Бицилли в прочитанной в Софии (14 июня 1931 г.) лекции на тему «Бунин и его место в русской литературе» говорил: «Отталкиваясь от той же самой сентиментально-„реалистической“ дешевки, от которой отталкивались и символисты, Бунин создал свой метод, который оказался прямой противоположностью методу символистов. Последние шли от слов к вещам, Бунин шел от вещей к словам... В изображении материи, „предметного“ Бунин не знает себе равных во всей европейской литературе, кроме Тургенева, в его лучшие моменты, и общего учителя Бунина и Тургенева — Гоголя»⁶⁹.

Историческая поэтика рассматривает эти новые приемы художественного применения деталей не как специфическую особенность индивидуального чеховского или иного стиля, а как новую фазу в развитии поэтики русского литературного реализма.

*

Итак, опираясь на достижения науки о поэтической речи, расширяя и углубляя проблематику теории и истории поэтического творчества в вопросах композиции словесно-художественных структур и вопросами изучения жанровых различий между литературно-художественными произведениями, поэтика охватывает все виды и разновидности литературы в их развитии, в их историческом движении. Она рассматривает литературно-художественные произведения в структурно-теоретическом, в историческом и сравнительно-историческом, а также в сравнительно-типологическом аспектах. Представляются вполне естественными и законными такие проблемы, как поэтика романа или новеллы XIX в., поэтика исторической драмы, поэтика современного очерка, поэтика песни и т. д. Само собой разумеется, что в основу таких характеристик могут быть положены и наблюдения над индивидуальным творчеством отдельных писателей. Однако сама по себе проблема индивидуального стиля, «стиля писателя» не

⁶⁶ Там же, стр. 304—305.

⁶⁷ Л е в Н и к у л и н, Люди и странствия. Воспоминания и встречи, М., 1962, стр. 159.

⁶⁸ Там же, стр. 163.

⁶⁹ А. М е щ е р с к и й, Известные письма И. Бунина, стр. 152.

входит в круг основных тем и задач поэтики. Она относится к стилистике. Индивидуальный стиль интересует поэтику лишь своими типическими качествами и типологическими свойствами.

С поэтикой лишь сближается, но не сливается стилистика, т. е. учение о стилях литературного искусства. При всей неопределенности и многозначности понятия стиля нельзя не отметить, что этот термин в применении к явлениям искусства наполняется специфическим содержанием. Чаще всего применительно к литературе им обозначается индивидуальная и, во всяком случае, более или менее индивидуально очерченная и замкнутая целенаправленная система средств словесно-эстетического выражения и воплощения художественной действительности. В той мере, в какой материалом словесно-художественного творчества является язык в разных видах и формах его речевого применения, при описании и уяснении того или иного литературно-художественного стиля нельзя обойтись без понимания и изучения его общественно-языкового фундамента, т. е. соответствующего языка с его стилями и основанной на нем речевой деятельности данной эпохи.

Стили художественной литературы — как индивидуальные, так и стили литературных школ, направлений и т. д. — так или иначе соотношены и связаны с развитием стилей общелитературного языка и стилей соответствующей национальной речи. Весь этот круг проблем, естественно, далеко выходит за пределы поэтики — теоретической и исторической. Проблемы и задачи лингвистической стилистики художественной литературы являются объектом особой дисциплины, находящейся в тесной связи и взаимодействии как с поэтикой, так и с теорией поэтической речи.

Для поэтики особый интерес представляет проблема взаимосвязей художественного метода и словесно-художественного стиля. В сфере поэтики понятие художественного стиля литературного произведения наполняется очень широким содержанием, далеко выходящим за пределы лингвистики. Об этом В. М. Жирмунский писал так: «В понятие художественного стиля литературного произведения входят не только языковые средства (составляющие предмет стилистики в точном смысле), но также темы, образы, композиция произведения, его художественное содержание, воплощенное словесными средствами, но не исчерпывающееся словами»⁷⁰.

⁷⁰ В. М. Ж и р м у н с к и й, Стихотворения Гете и Байрона: «Ты знаешь край?...» («Kennst du das Land?...». «Know yeu the land?...»). Опыт сравнительно-стилистического анализа, «Тезисы докладов Межвузовской конференции по стилистике художественной литературы», [М.], 1961, стр. 29.

И. П. МЕЩАНИНОВ

АГГЛЮТИНАЦИЯ И ИНКОРПОРИРОВАНИЕ

Агглютинация, используемая в ряде языков, присоединяет служебную морфему к его оформляемому слову, сохраняя за морфемой ее самостоятельное значение (показателя лица, числа, падежа и т. п.). Агглютинация, выделяющая флексию с такою ее передачею, отличается от фузии, при которой флексия соединяется с грамматическою формою слова и в его синтаксическом употреблении от него не отделяется¹.

Агглютинация обслуживает различные построения сочетаемых слов и сохраняет при них отдельные показатели грамматических форм. Агглютинация применяется различными языковыми системами. Она может выступать ведущим синтаксическим приемом при оформлении слов в предложении, построенном по принципу словосочетания (ср., например, тюркские языки). Разные группировки слов в предложении² могут обслуживаться в своих синтаксических построениях общею для них системою используемых словоизменятельных морфем. Это можно сказать и об агглютинации, которая сохраняет свое назначение и при инкорпорировании, например, в северных языках. Агглютинация и в этих языках остается ведущим приемом, используемым для передачи отношений между группируемыми членами синтаксических построений. В основе таких построений в ряде северных языков лежит использование одного из двух различных синтаксических приемов: сочетания членов или слияния их основ, что и выделяет эти два типа одновременно существующих и противопоставляемых друг другу синтаксических конструкций.

И та и другая конструкции представляют собой соединения знаменательных слов или их основ, сохраняющих свое лексическое содержание во всех разновидностях образуемых синтаксических группировок. В различных синтаксических построениях применяется агглютинация; ср. в чукотском языке: *га-пойгы-ма* «с копьем», где имя существительное (*пойгы-н* «копье») стоит в сопроводительном падеже с его префиксом *га-* и суффиксом *-ма*. Такое же оформление получает то же слово и в инкорпорированном атрибутивном комплексе *га-таң-пойгы-ма* «с хорошим копьем». Ведущим членом всего комплекса выступает это же существительное (*га-пойгы-ма* «с копьем»). Оно выделяется своими грамматическими показателями. Его агглютинирующие падежные морфемы (*га-... -ма*) своими рамками как бы охватывают все синтаксическое построение, тем самым включая в него определение (см. *ны-тэң-киң* «хороший», основа *тэң/таң*)³. Последнее, выступая в виде основы, не утрачивает содержания лексической единицы и входит в инкорпорированное построение, образованное путем сочетания приема слияния ряда основ знаменательных слов.

¹ См. Ю. С. Маслов, О некоторых расхождениях в понимании термина «морфема», «Проблемы языкознания. Сб. в честь акад. И. И. Мещанинова» («Уч. зап. [ЛГУ]», 301. Серия филол. наук, 60), 1961, стр. 140—152.

² См. А. А. Холодович, К вопросу о группировках слов в предложении, там же, стр. 233—243.

³ См. П. Я. Скорок, Грамматика чукотского языка, I, М.—Л., 1961, стр. 99; ср. также стр. 175.

Синтаксические группы выступают цельною синтаксической единицей, особенностью которой является оформление по ее ведущему члену. Таковым в атрибутивной группе становится определяемый член. По нему получают свои грамматические формы зависимые от него члены. Цельною синтаксической единицей выступает синтаксическая группа и при инкорпорировании, но при этом зависимые члены включаются в инкорпорированный комплекс своею неоформленною основою (ср. *қора* «олень»). При инкорпорировании так же, как и при сочетании слов, эта основа слова может выступать как в полной форме, так и в усеченной: *ты-қора-пәляркын/ты-қаа-пәляркын* «олень оставляю». Зависимый член инкорпорированного комплекса лишается здесь грамматического оформления основы и не конкретизируется в числе («оленья»/«оленьей»); он лишь отмечается в своем предметном содержании знаменательного слова.

В составе инкорпорированной синтаксической группы выделяется разнообразием грамматических форм только ее ведущий член. Он своими показателями падежей (для имен) и лиц (для глаголов) — суффиксами и префиксами — охватывает все синтаксическое построение, с включением в него также и основ зависимых членов. Они, соединяемые с ведущим, образуют одну синтаксическую единицу, получаемую слиянием нескольких основ знаменательных слов приемом их инкорпорирования. Установленный этим приемом порядок размещения слагаемых частей помещает ведущий член в конце. Агглютинирующие приставки ведущего члена обслуживают все синтаксическое построение в его целом составе, что придает инкорпорированному комплексу форму, отсутствующую в словосочетании и доступную только при агглютинации. В таком синтаксическом построении зависимый член помещается перед ведущим и, сливаясь с ним, отделяет от него его же показатели падежа и лица, когда они префиксируются; ср. приведенный выше пример: *га-таң-пойғы-ма* «с хорошим копыем». Префикс *га-* стоит не перед именем существительным, дающим эту агглютинативную приставку (*га-пойғы-ма* «с копыем»), а перед основою прилагательного (*таң* «хороший»). Равным образом и ведущий член предикативной группы (глагол) расчленяется при инкорпорировании на свои составные части, когда префиксируемый показатель лица отделяется зависимым членом от самой глагольной формы. Ср. *тыпәляркын* «оставляю», где глагол оформлен показателем 1-го лица субъекта (*ты-*) и *ты-қора-пәляркын* «оленья оставляю», где тот же показатель 1-го лица субъекта стоит не перед глаголом, к которому он относится, а перед прямым объектом (*қора* «олень»), с которым он непосредственно не связан.

Приведенные примеры инкорпорированных построений подтверждают, что выступающие в них элементы агглютинации, в отличие от фузии, сохраняют свое самостоятельное значение при оформлении синтаксических единиц. Даже отрываясь от самого оформляемого слова, агглютинативная морфема выступает с тем же ее назначением, какое она выполняет, оставаясь в составе слова.

Инкорпорированный комплекс образуется включением в него основ зависимых членов. Допускается включение в его состав и нескольких зависимых членов, обычно не более двух. Они подчиняются тем же правилам их размещения в образуемом синтаксическом комплексе и выступают с таким же в нем использованием агглютинативных морфем. Ср. *га-тор-эвлы-ңәлғы-ма* «с новым длинным ремнем», где ведущий член, помещаемый всегда в конце, сохраняет надежный суффикс *-ма*, тогда как его же префикс *га-* переносится в начало и отделяется основами двух определений (*тор* «новый», *эв* «длинный»); *ты-мәйңы-левты-пығтыркын* «у меня сильно болит голова» [буквально: «(я) сильно головою болею»], где глагол *ты-пығты-ркын* «болею» имеет два аффикса: один из них (суффикс *-ркын*) передает настоящее время, а другой (префикс *ты-*) обозначает действующее 1-е лицо и отделяется от глагола двумя зависимыми членами, представленными их основами *мәйң* «сильно» и *левты* «голова». В этом

синтаксическом построении не выделяется предмет, на который направляется действие. Имя предмета сливается с глаголом, который лишается выражения объектных отношений⁴.

Выражение субъектно-объектных отношений в чукотском языке возможно только при самостоятельном оформлении самого глагола: *ты-рэты-ркын-игыт* «я везу тебя», *мыт-рэты-ркын-игыт* «мы везем тебя», *мыт-рэты-ркын-эт* «мы везем их» и т. д. Такие же субъектно-объектные отношения не передаются при инкорпорировании. Инкорпорированный комплекс не получает схемы, обычной при переходных глаголах в словосочетаниях того же чукотского языка. Ср. словосочетание *морэ-ы-нан мыт-вириц-ы-ркын-эт тумэ-ыт* «мы защищаем товарищей», где подлежащее стоит в эргативном (творительном) падеже (*морэынан* «мы»), сказуемое имеет показатели субъекта и объекта *мыт-...-эт* «мы-...-их», а прямое дополнение поставлено в абсолютном (именительном)⁵ падеже мн. числа (*тумэ-ыт* «товарищи»), и инкорпорированный комплекс *мур-и мыт-тумэы-вириц-ы-ркын* «мы товарищей защищаем», где выделяемое подлежащее поставлено в абсолютном падеже мн. числа (*мури* «мы») и вступает в отношения с инкорпорированным комплексом предиката, а прямой объект (*тумэ* «товарищ») сливается своею основой с глаголом, который сохраняет только субъектный префикс *-мыт*; показатель объекта (*-ыт*) при инкорпорировании отпадает.

Инкорпорированный комплекс передает односторонние субъектные отношения даже тогда, когда в его состав включается имя прямого объекта. Прямой объект здесь присоединяется к совершаемому действию, которое на него не направляется. Имя прямого объекта, сливаясь с глаголом, не выступает в этом случае как прямое дополнение, так же как не выступает в этом качестве и при постановке объекта в другом косвенном падеже в словосочетании; ср. *гым ты-рэты-тку-ркын тэкичэ-э* «я везу мясо»⁶. Логический объект в этом примере выступает как косвенное дополнение, стоящее в творительном падеже (буквально: «я везу мясом»). Отсутствие прямого дополнения обращает переходный глагол в непереходный, при котором подлежащее (*гым* «я») ставится в абсолютном падеже. Такое же содержание получает объект и при его инкорпорировании. Поэтому во всяком глагольном инкорпорированном комплексе независимо от семантики неиспользуемого глагола последний становится непереходным. Поэтому же приведенные в предыдущих примерах префиксы *ты-* «я», *мыт-* «мы» выступают в той же форме и с тем же значением субъекта 1-го лица ед. и мн. чисел также и при непереходном глаголе: *мыт-илжэвы-ркын* «(мы) слепнем». Те же префиксы отрываются и от непереходного глагола при инкорпорировании зависимого члена; ср. *ты-ээтгавы-ркын* «говорю», *ты-майңы-ээтгавы-ркын* «сильно (громко) говорю»⁷.

Агглютинация используется как в инкорпорированном комплексе, так и в словосочетании при их различных синтаксических построениях. В словосочетании агглютинативная морфема приурочивается к каждому его члену. В инкорпорированном комплексе та же морфема ограничивается выделением ведущего члена или падежом (в именованном комплексе) или показателем действующего лица (в вербальном). Выступая с таким служебным назначением в образуемых синтаксических группировках, агглютинация оказывается связанной с построением всего предложения.

Инкорпорированный комплекс представляет собою сложную синтак-

⁴ Ср. П. Я. Скорик, указ. соч., стр. 99—102.

⁵ Здесь приводится это название падежа («именительный») потому, что оно широко используется в работах кавказоведов. Но такое наименование при эргативной конструкции предложения представляется мне неправильным.

⁶ Включение в основу глагола *рэт* «везти» суффикса *-тку* обозначает направленность действия на опущенный в речи объект.

⁷ См. П. Я. Скорик, О категории залога в чукотском языке, «Вопросы грамматики. Сб. статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова», М.—Л., 1960, стр. 134 и сл.

сическую единицу, получающую по своему содержанию и грамматическому построению или предикативное, или атрибутивное значение. Инкорпорированный комплекс может содержать законченное выражение высказывания только при его предикативном использовании, передающем субъект и его действие. Наличие субъекта и его действия обеспечивается соответствующей глагольной формой, которая представляет субъект его агглютинирующими личными показателями. Посредством этих показателей субъект конкретизируется только в первых двух лицах; показатель 3-го лица лишь указывает на субъект, находящийся вне инкорпорированного комплекса. Когда же субъект выражается именным членом предложения или местоимением, он находится вне инкорпорированного состава, занимая место самостоятельного члена предложения. При нем может образоваться своя атрибутивная группа, которая выделяет подлежащее в отличие от такой же атрибутивной группы, разворачиваемой при глаголе в предикативном инкорпорированном построении. При таком построении предложения подлежащее сочетается с предикативной группой, представленную инкорпорированным комплексом.

Атрибутивный инкорпорированный комплекс, в противоположность предикативному, не занимает сам по себе ведущего места в строении предложения: он или входит в состав предикативной группы, или выступает отдельно и тогда включается в предложение в виде его обособленного атрибутивного члена. Содержание такого инкорпорированного комплекса устанавливается наличием определения, которое выступает в синтаксическом построении его зависимым членом. Этот член занимает различное положение в контексте предикативной группы и в самостоятельном построении атрибутивной. Выступая в предикативной группе, атрибутивная включается в нее вся в полном составе; ср. *ты-тор-таң-пылвынты-пойгы-пэляркын* «новое хорошее металлическое копые оставляю». Среди сливаемых основ (*тор* «новый», *таң* «хороший», *пылвынт* «металл», *пойгы* «копые») выступает их ведущий член (*пойгы* «копые»), который морфологически не выделяется, так как сам оказывается в зависимом положении от глагола, который занимает место ведущего члена всего инкорпорированного построения и один получает обозначающие его агглютинативные морфемы. Выступая вне предикативной группы, атрибутивная группа сама получает в своем ведущем члене морфологическое оформление приемами агглютинации: *га-таң-пойгы-ма* «с хорошим копыем»⁸.

Определение, инкорпорируемое в атрибутивную группу, передает признак предмета и, сливаясь с именем предмета, уточняет его основное содержание. К определению может присоединяться другое, обозначающее сопутствующий первому признак. Оно сливается в предыдущем, но может также занимать самостоятельное место и находиться вне инкорпорированного комплекса. Этот его зависимый член занимает различные позиции в синтаксических построениях и в соответствии с этим получает разные грамматические формы. Определение, включаемое в инкорпорирование, выступает своею основою: коряк. *гынгыло-оттыот* «высокое-дерево». Оно же, находясь вне инкорпорированного состава, получает полную форму прилагательного с его соответствующими префиксом и суффиксом (*пы-...-кэн*): коряк. *пы-гынгыло-кэн уттыут*, где инкорпорированный комплекс заменяется словосочетанием «высокое дерево». При наличии в инкорпорированном комплексе нескольких определений одно из них может выделяться из комплекса на самостоятельное место, выступая отдельным членом предложения, представленным прилагательным в полной форме: *пы-этгы-кэн гынгыло-оттыот* «прямое высокое-дерево». При таком построении атрибутивной синтаксической группы в инкорпорированном составе остается прилагательное, означающее основной признак предмета; этот признак в свою очередь уточняется дополнительным признаком, стоящим вне

⁸ См. П. Я. Скорник, Грамматика чукотского языка, стр. 99, 103.

инкорпорированного комплекса (из числа высоких деревьев выделяется прямое) ⁹.

Когда признак предмета не рассматривается в той тесной связи с предметом, которая в грамматическом плане обуславливает инкорпорирование, для выражения атрибутивных отношений используется словосочетание; ср. коряк. *майцы-яяца* и *ны-мэйиң-қил яяца* «большой дом». При передаче признака различными зависимыми членами при разных ведущих членах применяются определенные способы сочетания членов и определенное грамматическое их оформление, что отражается также и на самом содержании получающихся синтаксических построений, передаваемых приемами инкорпорирования или словосочетания. Оба составляемых синтаксических приема различаются также и по выполняемому ими назначению. В инкорпорированном комплексе каждая предшествующая основа конкретизирует атрибутивное значение последующих сливаемых с нею слов или их основ. Цепочка зависимых членов завершается их ведущим членом, оказывающимся носителем всех признаков, обозначенных предыдущими компонентами, в число которых может включаться и объект. Атрибутивное словосочетание ограничивается соединением определения с определяемым им словом и устанавливает грамматическое оформление каждого из сочетаемых слов, выступающих здесь членами предложения. Отношения определения к определяемому заканчиваются пределами атрибутивной группы.

В атрибутивных построениях определение передает признак связываемого с ними предмета. Инкорпорирование слова, выражающего признак, и его же положение в словосочетании придают самому признаку различное содержание; ср. в чукотском языке: инкорпорированный комплекс *ы'твы-ңилгың* «лодочный ремень» (т. е. ремень по своему качеству предназначен для лодки, но может быть использован и не для лодки) и словосочетание *ы'твы-кин ңилгың* «ремень лодки» (т. е. какой-то ремень находится у лодки); *ытльа-гыепгыргың* «материнская забота» (признак выражает качество заботы) и словосочетание *ытль-эн гыепгыргың* «матери забота» (здесь тот же признак дается не в его качественном содержании, а как выражение принадлежности заботы определенному лицу); *ңэвысқэт-эвирьың* «женская одежда» (где видовой признак одежды передается инкорпорированием) и *ңэвысқэт-ин эвирьың* «одежда женщины» (где признак предмета установлен по его принадлежности определяемому лицу) ¹⁰.

Одни и те же слова и их основы могут вступать друг с другом в различные отношения при их инкорпорировании и при использовании их же в словосочетании. Ср., с одной стороны, коряк. *туй-ңэйңэйкин ылгыл* «раннеосенний снег». Основа слова *-туй-* «новый, ранний» сливается со словом *ңэйңэйкин*, которое, выступая ведущим членом выделяемой атрибутивной группы, получает полную грамматическую форму прилагательного «осенний». Оно, соблюдая установленный в инкорпорировании порядок последовательной конкретизации выступающих его сливаемых частей, определяет снег как «ранний осенний» (снег, определяемый по такому его качественному признаку, может выпадать раннею осенью в любое время). С другой стороны, в словосочетании: *нытуйқил ңэйңэйкин ылгыл* та же основа *туй-* отделена от следующего за нею слова и выступает сама отдельным членом предложения в форме прилагательного *ны-туй-қил* «новый», относимого к слову *ылгыл* «снег». При инкорпорировании основы *туй-* она занимает место, зависимое от прилагательного *ңэйңэйкин*. При словосочетании *нытуйқил* выступает зависимым членом при ведущем члене *ылгыл*, конкретизируя значение его другого зависимого члена: «новый (только что выпавший) осенний снег» ¹¹. Приведенные сопоставления ин-

⁹ Примеры на корякском языке приводятся по статье: А. Н. Жукова, Два основных способа связи определения с определяемым в корякском языке, «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 101. Фак-т народов Севера, 1954, стр. 298 и сл.

¹⁰ См. П. Я. Скорок, Грамматика чукотского языка, стр. 281—283.

¹¹ См. А. Н. Жукова, указ. соч., стр. 297.

корпорированных построений и словосочетаний указывают на то, что само предложение может получать в зависимости от использования того или другого из них различное содержание.

Различное содержание получает также и признак предмета, выражаемый в словосочетаниях и инкорпорированных комплексах. В словосочетаниях каждый их член выступает признаком ведущего члена. Самый порядок размещения зависимых членов служит для выделения значения предыдущего члена. Тем самым выделяется положение признака, начинающего их последовательную серию и вступающего в отношения с самим ведущим членом; ср. *нытуйҕин ҕэйҕэйкин ылыы*, где слово «новый» уточняет «снег». В инкорпорированном комплексе все его члены в их совокупности выступают признаком ведущего, причем каждый его член уточняет значение последующего: в словослиянии *туй-ҕэйҕэйкин ылыы* уточнение «новый» относится к слову «осенний». Синтаксическое положение прилагательного, выражающего признак, в этих двух конструкциях различно. В словосочетании оно является членом предложения. При слиянии оно же выступает членом инкорпорированного комплекса; использованные при этом основы слов не могут выступать членами предложения. Такие основы слов, подчиняемые слиянию, сохраняют свое синтаксическое положение.

Когда переменное значение признака становится постоянным, утрачивается синтаксическое значение самого признака. Равным образом и выражающая признак основа слова лишается в этом ее положении синтаксического использования. Она, соединяясь с другими такими же основами, придает их совокупности новое содержание общего для них признака, при котором инкорпорированный комплекс (синтаксическая единица) заменяется сложным словом (лексической единицей). Такое сложное слово может использоваться в инкорпорированном построении, причем обе противопоставляемые единицы сохраняют каждая свои, выделяющие ее особенности, например в корякском языке: *умвиллалгу* «дорогие шкуры», где с существительным *лалгу* «шкуры» сливается инкорпорлируемая с ним основа сложного слова «дорогостоящий» *умвил-*, получившегося от соединения двух основ: *-ум* «обширный» и *вил-* «цена, плата». Ср. сложные слова, образующие в том же языке одну основу посредством соединения основ различного содержания: *выггот* «доска», получившееся из сочетания основы *выгг-* «тонкий, плоский» с усеченною основою *-от* «дерево»; *милгыый* «ружье», составленное из основы *милг-* «огонь» и *ыый-* «лук». Слияние основы прилагательного *ынпы-* «старый» с существительным *ҕлавол* «мужчина, муж» образует одну лексическую единицу *ынпыҕлавол* «старик», которая при ее разбивке на составные части теряет свое значение сложного слова: основа *ынпы-*, выделяемая на отдельное место, получает полную грамматическую форму прилагательного *н-ынпы-ҕин*, которое, сочетаясь с существительным *ҕлавол* как его определение, образует синтаксическое построение — атрибутивное словосочетание с соответствующим значением каждого его члена, где определение передает содержание определяемого слова: *нынпыҕин ҕлавол* «старый мужчина»¹².

Инкорпорированный комплекс отличается от сложного слова слиянием основ, которые имеют самостоятельное значение, сохраняемое за каждой из них при их синтаксическом использовании. С другой стороны, от словосочетания инкорпорированное построение отличается тем, что в нем используется не прием соединения слов (которые в словосочетании выступают членами предложения), а прием слияния основ. При инкорпорировании зависимые члены имеют свое лексическое значение, выступая здесь основами знаменательных слов, которые относятся к определенным частям речи, но все же сливаются в образуемом инкорпорированном комплексе. Этот комплекс поддается членению на его составные части не только в отношении его ведущего члена, но также и зависимых членов, не получаю-

¹² См. А. Н. Жукова, указ. соч., стр. 299, 297—298.

щих грамматических форм отдельных членов предложения. Тем самым при инкорпорировании выступают части речи, передаваемые их основами, и члены инкорпорированного комплекса, но не члены предложения. Такому их положению подчиняются также и включаемые в инкорпорированный комплекс сложные слова; ср. чукот. *ты-таа'-койңы-лқыррыркын* «трубку ищу». Ведущим членом выступает основа глагола *лқыр-«искать»*, поместившего свой агглютипирующий показатель 1-го дейст. лица (*ты-*) в начало всего синтаксического построения — перед сочетанием двух основ: *таа'* «табак», *койң* «чашка», образующих сложное слово со значением «трубка». Это сложное слово занимает в инкорпорированном комплексе ту же позицию признака, что и отдельные основы, передающие другие признаки, не закрепляемые в своих переменных сочетаниях.

В таком положении выступает каждый признак предмета, передаваемый соответствующей основой: *га-таң-тор-налгы-ма* «с хорошей новой шкурой», *га-тор-таң-налгы-ма* «с новой хорошей шкурой»; ср. такое же положение признаков в предикативном построении: *ты-тор-пойгы-нэн-тыркын* «(я) новое копьё бросаю», *ты-таң-валя-рынрыркын* «(я) хороший нож держу», *ты-майңы-валя-миаркын* «(я) большой нож точку». В последних примерах действие связывается с объектом, входящим в атрибутивную группу с переменным использованием ее зависимых членов. Объект находится в зависимом положении от глагола и представлен, так же как и другие зависимые члены, одною неоформленною основой. Все наличные здесь основы легко возводятся к частям речи и выступают признаками ведущего члена инкорпорирования, который один получает грамматическое оформление (*ты-миа-ркын* «точку»). Объект при его инкорпорировании включается в число признаков ведущего члена и членом предложения (прямым дополнением) не является. Ср. предикативное словосочетание: *қаа-та рын-а тынны-нэн и'ны* «копьё рогами уколол волка», где имеют свою грамматическую форму все выступающие здесь члены предложения: подлежащее, косвенное дополнение, сказуемое и прямое дополнение.

Объект при его инкорпорировании не становится ни косвенным, ни прямым дополнением. Он, выступая в основных для него предикативных построениях, не может занимать в них места ведущего члена, которое по самому значению этих построений сохраняется за глаголом. Все другие члены инкорпорирования присоединяются к глаголу в виде основ, чем уточняется содержание глагола. Такие же синтаксические функции выполняет и объект, передаваемый своею основой. Глагол, становясь центром всего инкорпорирования, охватывает своими показателями все включаемые в него основы. В их число входит и объект — как лишенный пояснительных слов, так и имеющий свою атрибутивную группу: *ты-кимиты-гынритыркын* «груз охраняю»; *ты-майңы-кимиты-гынритыркын* «большой груз охраняю». В глагольное инкорпорированное построение может быть включена не только именная основа (объект) с ее предметным значением, но и наречие: *ты-пойгы-рынрыркын* «копьё держу»; *т-гомры-рынрыркын* «крепко держу». И та и другая основы выражают признак совершаемого действия.

С таким значением выступает объект, когда он включается инкорпорированием в общую серию сливаемых основ. Среди них он занимает ведущее место в образуемых атрибутивных группировках. Но сам он вступает в связь с глаголом как его же признак; ср. *ты-тор-таң-пылвынты-пойгы-паларкын* «новое хорошее металлическое копьё оставляю»¹³. Объект (*пойгы* «копьё») уточняется в своем качестве предшествующими ему основами слов и передает свое качественное состояние глаголу. Анализируя такие инкорпорированные построения, П. Я. Скорик останавливается на их оформлении, на передаваемых ими отношениях и на их содержании. Он противопоставляет грамматические формы, передающие принадлежность

¹³ См. П. Я. Скорик, Грамматика чукотского языка, стр. 100—104.

предмета, грамматическим формам, выражающим его качество: «Если существительные в притяжательной и относительной формах выражают признаки предмета лишь как его принадлежность другому предмету и отношение к нему, то инкорпорированной основой существительного признак предмета выражается только как его качество»¹⁴. Поэтому инкорпорированная основа объекта получает грамматическое значение, аналогичное отношению прилагательному.

Объект передает глаголу содержание своего признака, придающего качественный оттенок совершаемому действию. Весь инкорпорированный комплекс имеет по характеризующим его признакам атрибутивное значение независимо от семантики используемого здесь глагола. Инкорпорированное построение получает такое содержание по своим зависимым членам, в число которых входит также и объект. Инкорпорированный объект, устанавливая качественную сторону действия, не может в то же время передавать объектные отношения, и при инкорпорировании выражаются, таким образом, односторонние отношения к субъекту. Тем самым обуславливается структура всего инкорпорированного комплекса, как непереходная и по своему построению, и по своему содержанию. При этом субъект, выделенный из инкорпорированного комплекса на самостоятельное место, становится при любом глаголе в абсолютном падеже подлежащего непереходного предложения. Ср. синтаксическое построение с объектом и переходным глаголом, включенными в инкорпорированную группу предиката, противопоставляемого подлежащему в абсолютном падеже (*гым «я»*): *гым тоткочьы-нтыватыркын «я каккан-ставлю»*, и предложение с непереходным глаголом, переданное словосочетанием с подлежащим в том же абсолютном падеже: *гым айвэ ты-пкырык «я вчера прибыл»*.

Словосочетание и инкорпорированный комплекс представляют собою синтаксические единицы, различаемые содержанием своих членов и их грамматическим построением. При инкорпорировании выступают члены инкорпорированного комплекса, в котором, при передаче им предикативных отношений и при выделении субъекта, предикат сочетается с подлежащим. Член предложения (подлежащее) вступает в отношения с синтаксически связанными основами слов, из которых ни одна не занимает места члена предложения. Значение члена предложения получает все инкорпорирование со всем комплексом его сливаемых частей¹⁵.

Словосочетание и инкорпорирование получают различное грамматическое оформление. В словосочетаниях агглютинативная аффиксация оформляет знаменательные слова, выступающие членами предложения. При инкорпорировании те же аффиксы оформляют его ведущий член, охватывая своими рамками все инкорпорированное построение, представленное в его зависимых членах основами знаменательных слов, распределяемых по частям речи.

¹⁴ Там же, стр. 281.

¹⁵ Атрибутивная инкорпорированная группа, используемая вне предикативных связей, может включаться в состав предложения, члены которого передаются словосочетанием. Инкорпорированный комплекс в таком его положении занимает по своему ведущему члену соответствующее место среди других членов предложения. Ср. коряк. *ычгынан накоявацнаэ' налгы-кымитъаэ' «они носят одежду из шкур»*, где инкорпорированное *налгы-кымитъаэ' «одежда из шкур»* выступает прямым дополнением, и *ычгынан накоявацнаэ' қоя-налгэнаэ' кымитъаэ' «они носят одежду из оленьих шкур»*, где инкорпорированное *қоя-налгэнаэ' «одежи шкуры»* выступает определенным при прямом дополнении (пример взят из указ. соч. А. Н. Ж у к о в о й, стр. 297).

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. М. ЖИРМУНСКИЙ

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ДИСКУССИИ ОБ АРМЯНСКОМ
КОНСОНАНТИЗМЕ*

1

Изучение армянских диалектов в советскую эпоху отмечено большими достижениями, прежде всего — по обилию нового материала, ставшего достоянием лингвистической науки. Если крупнейший представитель армянской диалектологии дореволюционного времени академик Академии наук Арм. ССР проф. Р. А. Ачарян, подводя итоги сделанному им самим и его современниками, имел возможность в работе, опубликованной накануне первой мировой войны, дать описания 31 диалекта¹, то советской арменистикой обнаружено существование еще 21 ранее неизвестного диалекта, которым посвящены монографические исследования нового поколения советских арменистов — А. С. Гарибяна, Э. Б. Агаяна, А. М. Мкрчяна, В. А. Петояна, С. А. Багдасаряна и др.²

Следует особо отметить, что эта работа была частично связана с трудным и патристическим делом реконструкции армянских диалектов (фактически исчезнувших на территории турецкой Армении в результате национальной катастрофы 1914—1915 гг.) на основании проделанного тщательного обследования последних носителей этих диалектов из числа репатриантов, переселившихся в настоящее время в Советскую Армению. К сожалению, весь этот новый материал, опубликованный в Арм. ССР на армянском языке, до последнего времени оставался совершенно неизвестным за рубежом, несмотря на большой интерес к вопросам арменистики со стороны представителей сравнительного индоевропейского языкознания. Основными источниками по вопросам армянской диалекто-

* Эта заключительная статья к дискуссии по армянскому консонантизму написана по поручению редакции «Вопросов языкознания». Не будучи специалистом по арменистике, автор имеет возможность и задачу коснуться предмета дискуссии лишь с точки зрения сравнительного и общего языкознания. Не желая, однако, ограничиться простым пересказом и систематизацией высказанных мыслей, он был вынужден попутно изложить и свою точку зрения и дать критическую оценку аргументов сторон, за которую редакция в целом ответа не несет.

¹ Р. Ачарян, Армянская диалектология: очерк и классификация армянских наречий, «Эминский этнографич. сборник, изд. при Лазаревск. ин-те вост. языков», VIII, М., 1911 [на арм. языке].

² О диалектологической работе в советской Армении см.: Р. О. Костаянц, Лингвистические и арменоведческие работы в Институте языка АН Арм. ССР, ВЯ, 1958, 6, стр. 120—121. См. также: А. Гарибян, Армянская диалектология. Фонетика и морфология, Ереван, 1953 [на арм. языке]. Мы оставляем открытым вопрос, в какой степени все эти 52 диалекта должны рассматриваться как диалекты или как говоры. По-видимому, в результате территориальной разбросанности и изолированности армянские диалекты обнаруживают в настоящее время очень большие расхождения. Во всяком случае, по свидетельству А. С. Гарибяна, диалектные различия иногда настолько велики, что представители разных диалектов не понимают друг друга (см. А. С. Гарибян, К вопросу о происхождении армянских диалектов, «Историко-филологич. журнал», 3, 1958 [на арм. языке]).

логии продолжали оставаться две статьи акад. Р. А. Ачаряна, написанные в начале XX в. на французском языке³.

Статья академика АН Арм. ССР проф. А. С. Гарибяна «Об армянском консонантизме» (ВЯ, 1959, 5) явилась попыткой теоретического обобщения материала, собранного его предшественниками и им самим, но с новой точки зрения, существенно отличающейся от положений «традиционной» или «классической» арменистики (мы не видим существенного различия между этими двумя терминами, из которых первый принадлежит А. С. Гарибяну, а второй его противнику Э. Б. Агаяну). Классифицируя армянские диалекты по признакам передвижения согласных на семь групп, А. С. Гарибян выделил две группы (I и II), сохранившие звонкие придыхательные *bh*, *dh*, *gh* в начальном положении, там, где они гипотетически восстанавливаются в индоевропейском языке-основе. Поскольку звуки эти, согласно принятому до сих пор мнению, отсутствовали в классическом древнеармянском языке (грабаре), где индоевропейские звонкие придыхательные *bh*, *dh*, *gh* представлены простыми звонкими *b*, *d*, *g*, А. С. Гарибян умозаключил, что консонантизм указанных диалектов архаичнее консонантизма классического древнеармянского и диалекты эти, тем самым, развились не из древнеармянского (в соответствии с традиционной в арменистике теорией), а восходят непосредственно к общеармянскому состоянию.

Но и консонантизм диалектов III—V групп, по мнению А. С. Гарибяна (что осталось неотмеченным в дальнейшем ходе дискуссии), не может восходить к грабару, так как диалекты эти сохранили неподвижными индоевропейские простые звонкие *b*, *d*, *g*, тогда как в грабаре эти звуки оглушаются и соответственно представлены как *p*, *t*, *k*.

Эти положения А. С. Гарибяна, если признать их правильными, имеют большее значение не только для внутренней истории армянского языка и его диалектов, но и для индоевропейского сравнительного языкознания в целом. Существование в индоевропейском языке-основе звонких придыхательных оставалось до этого времени гипотезой, построенной только на данных древнеиндийского. Поэтому А. Мейе мог приводить восстановление «так называемых придыхательных звонких» и.-е. **bh*, **dh*, **gh* как пример реконструкции гипотетической и в известной мере условной⁴.

Э. Прокош предполагал наличие в этих случаях общиндоевропейских «глухих слабых спирантов»; существование в санскрите *bh*, *dh*, *gh* он склонен был объяснять как субстратное заимствование из туземных языков Индии⁵. «Система согласных индоевропейского языка, как она излагается в обычных курсах сравнительной грамматики, — писал он по этому поводу, — все еще строится по санскритскому образцу»⁶. В совсем недавнее время Р. Якобсон⁷ и вслед за ним Вяч. В. Иванов отрицали возможность наличия звонких придыхательных в индоевропейском языке, исходя из соображений структурально-фонологических: из невозможности существования системы смьчных типа *bh* — *b* — *p*. Такое толкование, пишет последний автор, «было некритически воспринято у лингвистов,

³ H. A d j a n, Classification des dialectes arméniens, «Bibliothèque de l'École des hautes études», Sciences historiques et philologiques, 173, Paris, 1909; сго же, Les explosives de l'ancien arménien, «La parole», I, 2, 1899, стр. 119—127 (экспериментальная работа с комментарием Руссело). В настоящее время см. также: W. S. A l l e n, Notes on the phonetics of an Eastern Armenian speaker, «Transactions of the Philological society», Oxford, 1950, стр. 179 и сл. (диалект Новой Джульфы).

⁴ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 74—76, 113—114.

⁵ Э. Прокош, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 28—31; особенно: е го же, Media aspirata, «Modern philology», VI, 1918—1920.

⁶ Э. Прокош, Сравнительная грамматика германских языков, стр. 30.

⁷ R. J a c o b s o n, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics, «Reports for the 8-th International congress of linguists», Suppl., Oslo, 1957, стр. 9.

реконструировавших индоевропейский праязык по образу и подобию санскрита»⁸.

Между тем, если признать правильность точки зрения А. С. Гарибяна, реконструкция и.-е. *bh, *dh, *gh подтверждается в настоящее время независимым от санскрита свидетельством двух архаических по своему консонантизму диалектных групп современного армянского языка, насчитывающих, по сообщению Гарибяна, 13 диалектов (ВЯ, 1959, 5, стр. 90); или по крайней мере, согласно более осторожной формулировке В. Пизани, существование этих звуков можно считать доказанным для определенной части индоевропейских диалектов, включающей индо-иранский и армянский (ВЯ, 1961, 4, стр. 55).

Вместе с тем предлагаемое распределение семи армянских диалектных групп по более или менее последовательному проведению передвижения согласных подсказывает предположение, что это передвижение представляет явление, специфическое для армянского ареала и распространившееся на территории армянского языка в период его самостоятельного развития, а следовательно, оно не может быть связано с германским передвижением (с которым оно представляет известное сходство) в рамках более древнего диалектного членения индоевропейского языка.

Между тем такую древнюю связь пытался установить уже А. Мейе, писавший по поводу передвижения согласных в этих языках: «Соответствие фактов армянских и германских — полное, и было бы весьма заманчиво отнести его исходную точку к диалектной инновации индоевропейской эпохи (*une innovation dialectale de date indo-européenne*)»⁹. Однако А. Мейе, опираясь на наблюдения Р. Ачаряна, учитывает в то же время сохранение в армянском «тенденции к передвижению вплоть до настоящего времени». Существование подобной тенденции, по его мнению, «не указывает на большую древность этого явления»¹⁰.

Более решительно (со ссылкой на Мейе) точку зрения германо-армянской общности в области развития консонантизма выдвинул Жан Фурке в своем известном исследовании о германском передвижении согласных. Он говорит о «германо-армянском передвижении» (*mutation germano-arménienne*) как об «инновации, покрывающей часть индоевропейского ареала»¹¹. «Можно себе представить, что германский и армянский вышли из одного диалектного ареала, который характеризуется заменой корреляции по звонкости, сохранившейся в прочих частях индоевропейской области»¹².

Если согласиться с положением А. С. Гарибяна, что «группировка армянских диалектов по системе согласных отражает процесс распространения армянского языка на территории исторической Армении» (ВЯ, 1959, 5, стр. 90), то возможность генетической связи между армянским и германским передвижением полностью отпадает и основанные на ней теории требуют соответственного пересмотра.

Как уже было сказано, положения, выдвинутые А. С. Гарибяном, находятся в противоречии с учением классической арменистики. «По теории Р. А. Ачаряна», в изложении ее сторонника Э. Б. Агаяна, «армянские диалекты возникли путем ответвления древнеармянского общенародного языка в результате его внутреннего развития, что привело к неизбежному отрицанию древнеармянского языка...; возникновение современных диалектов начинается с V в. н. э. и продолжается до сего времени в армянских колониях. Часть диалектов... в основном была уже образована к XI—XII вв., а другая часть образовалась позднее» (ВЯ, 1960, 4, стр. 52).

⁸ В я ч. В. И в а н о в, Типология и сравнительно-историческое языкознание, ВЯ, 1958, 5, стр. 37.

⁹ А. М e i l l e t, Les dialectes indo-européens, 3-е éd., Paris, 1950, стр. 92 и сл.

¹⁰ Там же, стр. 94.

¹¹ J. F o u r q u e t, Les mutations consonantiques du germanique, 2-е éd., Paris, 1950, стр. 73.

¹² Там же, стр. 71 и сл.

Осторожнее формулирует свою мысль по этому вопросу А. Мейе, которого в ходе дискуссии также неоднократно цитировали как «классика». В отличие от Р. А. Ачаряна и его последователей, он не говорит в своем «Очерке сравнительной грамматики классического армянского языка» прямым образом о происхождении современных армянских диалектов и их отношении к грабару. Он только констатирует, что «современные армянские говоры не содержат ни одной черты, которая предполагала бы наличие каких-либо существенным образом отличных друг от друга диалектов в V в. н. э.» (т. е. в период образования древнеармянского письменного литературного языка); «во всяком случае эти говоры почти не содержат ничего такого, что предполагало бы сохранение индоевропейских особенностей, неизвестных классическому армянскому языку». «Классический армянский язык, грабар (язык письменный) — единственный, с которым приходится считаться сравнительной грамматике и.е. языков». Между тем письменные памятники грабара не обнаруживают никаких диалектных различий; некоторые «вульгаризмы», встречающиеся в грамматике и особенно в лексике, А. Мейе склонен отнести за счет писцов более позднего времени¹³.

Что это утверждение А. Мейе имело не столько принципиальный характер, сколько суммировало положение вопроса на уровне фактических знаний его времени, показывает оговорка, которую А. Мейе счел нужным сделать на следующей странице: «Тем не менее в одном случае, как исключение почти единственное, некоторые диалекты сохранили форму, несомненно более древнюю, чем классическая: в слове *lizu* «язык» по сравнению с классическим *lezü*»¹⁴ (в последнем случае А. Мейе усматривает новшество классического литературного языка — расширение *i* > *e* «под влиянием последующего *u*»¹⁵).

Против положений А. С. Гарибяна в защиту традиционного учения классической арменистики выступили в «Вопросах языкознания» видные представители советского армяноведения — профессора Э. Б. Агаян (ВЯ, 1960, 4) и Г. Б. Джаукян (ВЯ, 1960, 6). Этим выступлениям предшествовала дискуссия, развернувшаяся в Ереване еще в 1958—1959 гг. на страницах «Историко-филологического журнала» АН Арм. ССР¹⁶. Противники А. С. Гарибяна, разделяя в основном точку зрения Р. А. Ачаряна, считают, что «современные армянские диалекты возникли из системы древнеармянского языка» (Э. Б. Агаян, ВЯ, 1960, 4, стр. 51)¹⁷. Поэтому звонкие придыхательные в группах I—II не являются прямым продолжением индоевропейских звуков, «пережитком» древнего состояния, но представляют, согласно формулировке Э. Б. Агаяна, результат более позднего «регрессивного передвижения древнеармянских чистых звонких в звонкие придыхательные», по типу и.е. **bh* > др.-арм. *b* > диал. *bh* (ВЯ, 1960, 4, стр. 43).

Учитывая большое значение поднятых в этой дискуссии вопросов не только специально для арменоведения, но и для сравнительного и общего языкознания, редакция «Вопросов языкознания» решила запросить по

¹³ См. A. Meillet, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, Vienne, 1903, стр. XI—XII.

¹⁴ Там же, стр. XIII.

¹⁵ Там же, стр. 32.

¹⁶ См.: А. С. Г а р и б я н, Основные итоги научно-исследовательских работ по армянской диалектологии в Советской Армении, «Историко-филологич. журнал», 1, 1958; Э. Б. А г а я н, К вопросу о возникновении новоармянских диалектов, там же, 2, 1958; ответ А. С. Г а р и б я н а в статье «К вопросу о происхождении армянских диалектов», там же, 3, 1958; Г. С е в а к, К вопросу о происхождении армянских диалектов, там же, 1, 1959; Г. В. Д ж а у к я н, Армянская диалектология и вопрос о происхождении армянских диалектов, там же, 2—3, 1959.

¹⁷ Впрочем Г. Б. Джаукян делает существенную оговорку: «... современные армянские диалекты имеют черты, которые архаичнее соответствующих черт грабара», хотя «грабар в целом древнее любого современного армянского диалекта (это положение относится и к консонантизму)» (ВЯ, 1960, 6, стр. 47).

этому поводу мнение ряда ведущих представителей советской и зарубежной лингвистики. На запрос откликнулись статьями: проф. Жан Фурке (Париж), акад. В. И. Георгиев (София), проф. Э. Бенвенист (Париж), проф. Г. Фогт (Осло), проф. Ян Отрембский (Познань), проф. В. Пизани (Милан), проф. У. Ф. Леман (Остин, США), проф. Л. Заброцкий (Познань), проф. Ф. Фейди (Париж), Э. А. Макаев (Москва), Вяч. В. Ивапов (Москва), после чего ответное слово было предоставлено А. С. Гарибяну. Из перечисленных авторов Ж. Фурке и В. И. Георгиев прислали свои статьи до опубликования выступлений противников теории А. С. Гарибяна.

2

С точки зрения теоретического языкознания спор об армянском передвижении согласных между А. С. Гарибяном и его противниками представляет пример «типологически» довольно обычного в истории лингвистики столкновения между традиционной историей языка, опирающейся в первую очередь на показание древних письменных памятников, без достаточного учета показаний современных диалектов, и новым направлением той же науки, исходящим по преимуществу из данных современной лингвистической географии, не всегда с достаточно полным привлечением письменных материалов прошлого (Жильерон и его ученики во Франции, Вреде и его школа в Германии). Хотя в принципе следовало бы принимать во внимание обе группы фактов, однако в ряде случаев открытия современной диалектографии заставили пересмотреть многие выводы традиционной истории языка, казавшиеся незыблемыми, в частности было обнаружено в некоторых случаях наличие древних диалектных расхождений там, где старая наука видела только позднейшие искажения первоначально единой, монолитной письменной традиции.

На значение современной диалектологии для более правильной интерпретации показаний древних письменных памятников справедливо указал Э. Бенвенист в связи с проблемами армянского консонантизма. По его мнению, против интерпретации древнеармянской системы согласных в классических трудах А. Мейе и других «нельзя было бы, вероятно, ничего возразить, если бы для древнего состояния мы имели только показания графики. Однако армянский никогда не прекращал своего существования в живой речи, современные диалекты позволяют нам изучать те же артикуляции в их современной форме; сквозь их трансформации мы можем лучше уяснить себе систему согласных классического языка»¹⁸.

Аргументы, выдвигаемые противниками А. С. Гарибяна, сравнительно мало касаются фактической стороны его утверждений. Более того, по словам Г. Б. Джаукяна, самый факт существования в армянских диалектах звонких придыхательных, являющийся основой его рассуждений, «был известен науке еще в XIX в.» (ВЯ, 1960, 6, стр. 39). Защитники классической теории обрастают, однако, внимание на ряд других фактов, которые не были упомянуты и учтены в статье А. С. Гарибяна, и тем самым подсказывают иную интерпретацию истории армянского языка и его диалектов в целом. В этом расширении материальной базы поставленной проблемы — основное значение развернувшейся полемики, независимо от вопроса о большей или меньшей правоте участников дискуссии.

Постараемся разобраться в важнейших выдвинутых доводах в пределах проблематики общего и сравнительного языкознания, не касаясь требующих специальных знаний и более компетентного рассмотрения вопросов арменистики.

1. Грушировка армянских диалектов по принципу передвижения согласных, по мнению Э. Б. Агаяна (ВЯ, 1960, 4, стр. 51), находится в противоречии с «основной морфологической классификацией», принятой в

¹⁸ E. Benveniste, Sur la phonétique et la syntaxe de l'arménien classique, BSLP, LIV, 1, 1959, стр. 46—47.

армянской диалектологии и самим же А. С. Гарибяном в других его работах.

По этому вопросу мы полагаем вместе с В. Пизани (ВЯ, 1961, 4, стр. 53), что «мы можем классифицировать диалекты армянского (и любого другого языка) по определенным чертам вокализма, по консонантизму, по типам склонения, по типам спряжения и т. д., получая каждый раз различные группировки, которые соответствуют различным аспектам строя языка и различным эпохам, в которые отдельные изоглоссы распространялись». Только если рассматривать диалекты во всей совокупности их признаков как замкнутые «ветви» или «веточки» на родословном древе языка, можно настаивать на преимущественной обязательности той или иной классификации как отражающей основные признаки совершившегося «ответвления».

2. А. С. Гарибян, как справедливо указывают оба его противника и многие участники дискуссии (Ж. Фурке, Л. Заброцкий, Э. А. Макаев и др.), ограничился в своем обзоре армянского передвижения судьбою индоевропейских согласных в начальном положении. В комбинаторных позициях (между гласными, в соседстве определенных согласных) индоевропейские звонкие придыхательные имеют другие соответствия, причем, как утверждает Э. Б. Агаян (ВЯ, 1960, 4, стр. 40—41), развитие в этих случаях имеет характер «единой системы», общей для всех армянских диалектов, что указывает на происхождение этих особенностей из единого общего источника, каким и является грабар.

В принципе нельзя не признать справедливость методологического замечания Л. Заброцкого по этому вопросу: «...в работах такого рода необходимо учитывать все позиции в слове, а также все согласные и группы согласных. Лишь такой подход дает возможность составить себе правильную картину. В противном случае легко можно поддаться иллюзиям» (ВЯ, 1961, 5, стр. 35).

И все же, несмотря на явную неполноту картины, наличие различных ассимиляторных процессов в окружении тех или иных гласных и согласных не может скомпрометировать показательного факта сохранения «архаического» звука в начальной, т. е. в наиболее независимой, «сильной» позиции. В этом смысле может быть принято объяснение А. С. Гарибяна в его заключительной статье: «Мы рассматриваем смычные лишь в начале слова, так как, по нашему убеждению, в этой позиции они исторически были менее подвержены посторонним и ассимиляторным влияниям и представляют самое древнее состояние системы взрывных согласных армянского языка и его диалектов» (ВЯ, 1961, 2, стр. 18).

Что касается «системного» характера (т. е. единства) ассимиляторных отражений индоевропейских звонких придыхательных во всех армянских диалектах, независимо от различий, отмеченных А. С. Гарибяном в начальном положении, то, как нам представляется, факт этот не указывает обязательно на генетическую общность их происхождения из единого источника. Возьмем аналогичный пример из истории передвижений согласных в немецком языке. Второе (верхненемецкое) передвижение глухих согласных *t*, *p*, *k* в соответствующие спиранты и аффрикаты с разной степенью последовательности проводится в верхненемецких диалектах — южнонемецких (баварский и алеманский) и средненемецких (франкский с его подразделениями), образуя ряд убывающих ступеней по направлению с юга на север; в нижненемецком передвижение полностью отсутствует. При этом группы *ht*, *ft*, *st*, *sp*, *sk*, *tr* (частично те же, которым придает такое значение Э. Б. Агаян по отношению к диалектам армянским) ни в одном из названных диалектов передвижению не подвергаются. Тем не менее современная германистика полностью отвергла старую теорию, рассматривавшую верхненемецкий и нижненемецкий как «ответвление» первоначального единства «пранемецкого», а средненемецкий и южнонемецкий как «ветви» верхненемецкого. Она объясняет ступенчатый характер пе-

редвижения как результат его постепенного продвижения в направлении с юга на север¹⁹.

Наличие общих фонетических признаков наряду с различиями было бы доказательством исконной общности их происхождения и позднейшего характера разделений опять-таки только для того, кто склонен рассматривать диалекты как «ответвления» от общего ствола («языка-основы» или «праязыка»). Однако и с этих позиций вполне возможно рассматривать это исходное единство как восходящее не к классическому древнеармянскому языку, а как наследие еще более древнего общеармянского («праармянского») состояния, от которого «ответвились» как названные диалекты, так и тот, который послужил народно-разговорной основой габара.

3. Наиболее убедительным аргументом против теории А. С. Гарибяна представляется указание его противников на судьбу иноязычных заимствований в классическом армянском языке и в современных армянских диалектах. Как указывает Э. Б. Агаян (ВЯ, 1960, 4, стр. 44—45), в диалектах I группы более древние заимствования из языков среднеперсидского (пехлеви), сирийского, греческого, древнегрузинского и арабского подвергаются тем же передвижениям, как и исконно армянские слова (в частности, звонкие согласные заимствованных слов отражаются в них как звонкие придыхательные), тогда как в позднейших заимствованиях — тюркских, новоперсидских, новогрузинских — такие передвижения не наблюдаются. Это обстоятельство позволяет автору отнести передвижение в диалектах *b, d, g > bh, dh, gh* «к периоду с III в. н. э. по XI в. н. э.», чем доказывается его «вторичный» характер.

Однако всякое установление хронологии звуковых процессов на основе заимствований требует большой осмотрительности. Это справедливо отмечают В. Пизани (ВЯ, 1961, 4, стр. 51) и Ф. Фейди (ВЯ, 1961, 5, стр. 46). Заимствования могут входить в фонологическую систему заимствующего языка и путем подстановки получать особенности его артикуляции на много позже совершившегося звукового передвижения. Так, в верхненемецких диалектах замена звонких смычных глухими (или, точнее, смешение в определенных позициях глухого и звонкого в промежуточном слабом глухом, так называемая «лениция») представляет «передвижение» древневерхненемецкого периода (с VIII по XI в.); однако все более поздние средневерхненемецкие заимствования (XII—XIII вв.) подверглись этому передвижению, да и в наше время это явление представляет характерную особенность того, что называют «немецким акцентом» в произношении иностранных языков. Ср. произношение Вральмана в «Недоросле» Фонвизина: «То ли пы тело, капы не самарили ефо на ушеньел! Российска крамат!.. Как пудто пы российскийски тфорянин ушь и не мог аванзировать пез российской крамат!..»²⁰. Было бы ошибочно по таким «передвинутым» заимствованиям судить о хронологии «передвижения».

Материалы самого Э. Б. Агаяна частично свидетельствуют против его теории. Так, в диалектах II группы «передвижения» подвергаются «также и новейшие заимствования из турецкого, курдского, русского языков; ср. русск. *кооператив*, мушск. *koberad*, турецк. *demirçi*, карин. *dhamerçi* „кузнец“ и т. д.» (ВЯ, 1960, 4, стр. 47). Мы можем добавить, что каждый диалект обнаруживает в таких случаях особенности присущей ему артикуляционной системы. Если в армянском диалекте (в Польше, Трансильвании, Румынии), принадлежащем к той же II группе, новейшее славянское заимствование *kapusta* произносится *ghabhusdha*, то в ново-нахичеванском (по сообщению проф. Б. Г. Реизова) оно звучит *gabusta* (очевидно, русские глухие *k, p, t* воспринимаются здесь как слабые по сравнению с сильными, слегка аспирированными глухими местного ар-

¹⁹ Аналогией распространения «второго передвижения» согласных в немецком языке воспользовался и В. Пизани в своей критике положений статьи Э. Б. Агаяна (ВЯ, 1961, 4, стр. 54—55).

²⁰ См. В. Ж и р м у н с к и й, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956, стр. 308.

мянского диалекта)²¹. Эти сдвиги свидетельствуют о современном «армянском акценте», а не о хронологии передвижения.

Еще сложнее обстоит дело при интерпретации иноязычных слов в графике древнеписьменного языка. По справедливому замечанию парижского армениста Ф. Фейди, «деление смычных на глухие и звонкие, чистые и придыхательные слишком примитивно и вряд ли может соответствовать сложным явлениям действительности; восприятие фонемы теми, кто ее произносит или слышит, часто весьма неточно; наконец, при транскрипции фонемы иностранного языка она передается знаком, который в о с п р и н и м а е т с я исследователем (добавим — и древним писцом! — В. Ж.) как н а и б о л е е б л и з к и й к транскрибируемой фонеме в его родном языке. Таким образом, транскрипция представляет собой лишь приближение». Исходя из этого положения, Ф. Фейди призывает быть чрезвычайно осторожным в выводах при восстановлении фонетики древнеармянского языка на основе «транскрипции в классическом армянском слове, заимствованных из иностранных языков» (ВЯ, 1961, 5, стр. 46).

По-видимому, весь вопрос о заимствованиях требует тщательного пересмотра с участием специалистов по тем языкам, которые служили источником заимствований. Об этом говорят между прочим и поправки, внесенные таким компетентным иранистом, как Э. Бенвенист, в некоторые примеры, приведенные в статье Э. Б. Агаяна (ВЯ, 1961, 3, стр. 37—38).

4. Более частное, но тем не менее существенное значение в аргументации Э. Б. Агаяна имеет вопрос о некоторых случаях перехода и.-е. **w > g* в классическом древнеармянском (ср. др.-инд. *vēda*, греч. *ῥῆμα*, гот. *wait* «ведаю» — др.-арм. *gēt, gitem* и некоторые другие)²². Диалекты I—II группы имеют в таких случаях *gh-*, что, по мнению Э. Б. Агаяна, является прямым свидетельством вторичного («регрессивного») характера развития звонких придыхательных этих диалектов на основе простых звонких классического древнеармянского (ВЯ, 1960, 4, стр. 42).

Этот случай представляет известные трудности, поскольку до сих пор не выяснены условия, при которых и.-е. **w* дает в древнеармянском *g* (и соответствующие ему диалектные отражения) либо сохраняется как *v*. Однако объяснение его предложил уже Х. Педерсен²³; то же пытались сделать в настоящей дискуссии В. Пизани (ВЯ, 1961, 4, стр. 52—53) и Ф. Фейди (там же, 5, стр. 47—48). Ни один из этих авторов не прибегает к гипотезе «вторичного» («регрессивного») передвижения. Мы отсылаем специалистов к их объяснениям.

Вообще примеры «регрессивного» фонетического развития встречаются в диахронической лингвистике не так часто и ссылкой на такую возможность не следует злоупотреблять, в особенности когда речь идет о восстановлении таких в артикуляционном отношении нестойких звуков, как *bh, dh, gh*. Не случайно все индоевропейские языки, кроме индийских и группы армянских диалектов, по-разному освободились от этих звуков путем упрощения артикуляции, а в армянском, согласно наблюдению А. С. Гарибяна, «консонантные группы армянских диалектов складываются главным образом благодаря тому, что индоевропейские звонкие придыхательные в армянском языке претерпевают многочисленные изменения...» (см. ВЯ, 1962, 2, стр. 22—23).

Правда, проф. Ян Отрембский высказывает предположение, что «согласные *bh, dh, gh* появились сперва как звонкие соответствия глухих придыхательных в экспрессивных формах известной группы

²¹ Ср. по той же причине срвнем. *bredigen* «predigen» (из лат. *predicare*), *gollier* «Halsberg» (из франц. *collier*), *don* «Тон» (из лат. *tonus*) и мн. др. (см. В. Ж и р м у с к и й, указ. соч., стр. 317).

²² См. А. М e i l l e t, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, стр. 27 (§ 22).

²³ Н. P e d e r s e n, *Armenisch und die Nachbarsprachen*, KZ, XXXIX, 3. 1904, стр. 340.

слов, главным образом в начале слова (*ph: bh, th: dh, kh: gh*), и лишь постепенно стали распространяться за счет *b, d, g*» (ВЯ, 1961, 3, стр. 44—45). Однако такого рода объяснения обычно имеют тот недостаток, что оставляют необъясненным фонетически регулярное распространение «экспрессивных» звуков в десятках слов, лишенных какого-либо специфически экспрессивного значения.

5. Как указывают оппоненты А. С. Гарибяна, последовательное развитие передвижения в армянских диалектах от I к VII группе, вопреки высказанному им мнению, не соответствует истории распространения армянского народа на занимаемой им территории (см. Э. Б. Агаян, ВЯ, 1960, 4, стр. 49—50; Г. Б. Джаукян, там же, 6, стр. 44—45).

Вопрос этот принадлежит целиком компетенции арменистов. Он требует комбинированного решения на основе исторических и лингво-географических данных. При крайней сложности и пестроте процесса армянской колонизации, разбросанности и изолированности многих диалектов и говоров, настоятельной необходимостью является лингвистический атлас армянских диалектов, который, в сопоставлении с историческим атласом армянской колонизации, сумеет дать точный ответ на эти дискуссионные вопросы.

Из участников дискуссии к точке зрения А. С. Гарибяна, кроме Жана Фурке и В. Георгиева, присоединились В. Пизани и Ф. Фейди. Точка зрения его противников нашла поддержку Я. Отрембского, Л. Заброцкого и Э. А. Макаева. По мнению В. Пизани, «попытка Гарибяна, как бы ни судить в частности о ее отдельных конкретных результатах, достойна самого пристального внимания» (ВЯ, 1961, 4, стр. 55). Ф. Фейди считает, что «новая теория А. С. Гарибяна имеет то преимущество, что дает возможность устранить проблему второго передвижения согласных из грабара в западноармянский» (ВЯ, 1961, 5, стр. 49); «...данные морфологии и синтаксиса также подтверждают маловероятность того факта, что все диалекты происходят из грабара» (там же, стр. 48). Напротив, Я. Отрембский полагает, что «внимательное рассмотрение статьи А. С. Гарибяна заставляет усомниться в правильности представленной в ней концепции», причем как «с точки зрения индоевропейского языкознания», так и «с точки зрения арменистики» (ср. статью Э. Б. Агаяна, ВЯ, 1961, 3, стр. 44—45). Согласно утверждению Л. Заброцкого, «статья Г. Б. Джаукяна и в особенности прекрасная статья Э. Б. Агаяна внесли ясность в интересующую нас проблему: все армянские диалекты произошли через древнеармянскую ступень передвижения согласных. Консонантизм современных армянских диалектов может быть выведен только из древнеармянского консонантизма, из так называемого грабара, т. е. классического армянского» (ВЯ, 1961, 5, стр. 35).

Таким образом, мнения специалистов разделились, и спор требует привлечения новых материалов и выдвижения новых аргументов.

3

Между тем в ходе дискуссии с третьей интерпретацией проблемы армянского передвижения выступили Э. Бенвенист (ВЯ, 1961, 3) и Г. Форт (там же). Оба автора, независимо друг от друга и одновременно с А. С. Гарибяном, незадолго до этого изложили свою точку зрения на страницах зарубежной печати²⁴. Они опираются на попутные высказывания по этому вопросу Х. Педерсена и А. Мейе.

²⁴ E. Benveniste. Sur la phonétique et la syntaxe de l'arménien classique; H. Vogt, Les occlusives de l'arménien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVIII, Oslo, 1958. Э. Бенвенист еще раньше кратко формулировал свою точку зрения в журнале «Annuaire du Collège de France» (58, 1958, стр. 324). Г. Форт писал о том же уже в статье 1938 г. «Arménien et caucasique du Sud» («Norsk tidsskrift for sprogvidenskap» IX, 1938, стр. 327). А. С. Гарибян формулировал свои положения на армянском языке

В статье «Армянский и соседние с ним языки» Х. Педерсен обратил внимание на противоречие в традиционной теории армянского передвижения, согласно которой в западноармянских диалектах (по классификации А. С. Гарибяна — группа V) звонкие классического армянского языка переходят в глухие, а глухие — одновременно в звонкие. Как, спрашивает он, возможно такое передвижение «без того, чтобы они не совпали на своем пути? По моему мнению, это совершенно невозможно, какие бы мы ни предположили промежуточные ступени». Единственным выходом, полагает Х. Педерсен, является гипотеза, что древнеармянские звуки, транскрибируемые обычно как простые звонкие (*b, d, g, j*), на самом деле являются звонкими придыхательными²⁵.

Эту гипотезу признал весьма вероятной А. Мейе, подкрепив ее в добавлениях ко второму изданию своих «Индоевропейских диалектов» ссылкой на экспериментальные наблюдения Р. Ачаряна и Э. Зиверса над произношением звонких, сохранивших элемент придыхания в некоторых восточноармянских диалектах (мушском, севастийском, аштаракском — по классификации А. С. Гарибяна, группы I—II). «Было бы естественно признать, — пишет А. Мейе, — что *b, d, g* общearмянского языка (*de l'arménien commun*) имели особенность, сходную по своему характеру с индоевропейскими звонкими придыхательными»²⁶. Практически «общearмянский» отождествляется для А. Мейе с «классическим армянским» (*l'arménien classique*); тем не менее в повторное издание своей «Грамматики классического армянского языка» (1936) А. Мейе не считал нужным внести изменения, отражающие эту гипотезу Х. Педерсена.

Э. Бенвенист и Г. Фогт в статьях, опубликованных в зарубежной печати, принимают гипотезу Х. Педерсена — А. Мейе, подкрепляя ее существенно новыми фактами. Э. Бенвенист ссылается при этом на недавнее исследование американца У. С. Аллена, посвященное фонетике диалекта Новой Джульфы (по классификации А. С. Гарибяна — группа II)²⁷, тогда как Г. Фогт дает исчерпывающий обзор материала, собранного Р. Ачаряном в 1909 г., с распределением его по признакам передвижения на шесть групп и с картой-схемой их географического распространения. Группы 1 и 2, по классификации Г. Фогта, соответствуют II и I группам А. С. Гарибяна и выделяются наличием в их фонетической системе звонких придыхательных²⁸. Из фонологического рассмотрения всех шести диалектных систем и их взаимоотношения фонологическая система классического древнеармянского восстанавливается Г. Фогтом как *bh : ph :: p* (основное противопоставление по признаку придыхания, внутри класса придыхательных — противопоставление по звонкости). Звонкие придыхательные соответствуют аналогичным индоевропейским звукам и, в соответствии с гипотезой Х. Педерсена, принимаются как фонетическое значение древнеармянских *b, d, g*.

Таким образом, располагая гораздо менее полными и систематическими лингво-географическими данными, чем советские арменисты, их зарубежные коллеги, с другой точки зрения, также пришли к кардинальному пересмотру проблем армянского передвижения согласных в их традиционной формулировке.

в статье «Основные итоги научно-исследовательских работ по армянской диалектологии в Советской Армении» («Историко-филологич. журнал», 1, 1958), но, согласно его указанию (ВЯ, 1962, 2, стр. 21, примеч. 14), выводы эти уже содержатся в его «Армянской диалектологии» (стр. 445). Таким образом, можно полагать, что все три автора пришли к пересмотру традиционной концепции независимо друг от друга, под давлением материала.

²⁵ H. P e d e r s e n, указ. соч., стр. 336—338. Ср. также статью того же автора в журнале «Philologica», 1, 1921—1922, стр. 45—46.

²⁶ A. M e i l l e t, Les dialectes indo-européens (см. ch. X— «Les sonores aspirées», стр. 12—13).

²⁷ W. S. A l l e n, указ. соч.

²⁸ H. V o g t, Les occlusives de l'arménien, стр. 144—145 и 160—161.

Выступая на страницах «Вопросов языкознания» как участники дискуссии, оба автора заняли по предмету спора самостоятельную позицию. Они оказались солидарными с А. С. Гарибяном в признании древнего происхождения звонких придыхательных *bh*, *dh*, *gh* в армянских диалектах I и II группы и в отрицании второго («регрессивного») передвижения как источника их образования. С другой стороны, они солидарны с Э. Б. Агаяном в признании происхождения всех новоармянских диалектов из грабара, который, согласно гипотезе Х. Педерсена, сохранил эти звонкие придыхательные, унаследованные от него определенной группой современных диалектов.

К точке зрения Э. Бенвениста и Г. Фогта из числа участников дискуссии примкнул Вяч. В. Иванов. Возможность такой интерпретации фактов древнеармянского консонантизма призвал и А. С. Гарибян, назвав ее в своей заключительной статье «заманчивой и плодотворной идеей» (ВЯ, 1962, 2, стр. 24)²⁹. Напротив, по мнению В. Пизани (ВЯ, 1961, 4, стр. 55), «вопрос, поднятый Э. Бенвенистом и Г. Фогтом относительно значения *b*, *d*, *g* в древнеармянском, остается нерешенным». И действительно, неясным остается вопрос, какие имеются фактические основания для отождествления классического древнеармянского языка с «протоармянским», которое лежит в основе этой гипотезы, если не традиционные воззрения классической арменистики. Гарибян, утверждает Г. Фогт, «проецирует указанное состояние консонантизма в слишком далекое прошлое, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он не учитывает, что эту реконструированную систему можно вполне считать присущей классическому армянскому» (ВЯ, 1961, 3, стр. 43). Вероятно, это действительно «можно», но неясно, почему это не *e o b x o d i m o*. В этом смысле вопрос действительно «остается нерешенным».

Заметим еще, что в ходе дискуссии не было подвергнуто критическому обсуждению существенное замечание А. С. Гарибяна, касающееся консонантизма диалектов III—IV групп, сохранивших чистые звонкие индоевропейского там, где в классическом древнеармянском они передвинуты в глухие (ВЯ, 1959, 5, стр. 84—86). Очевидно, и здесь пришлось бы либо принять еще раз гипотезу «регрессивного» развития (на этот раз по типу и.-е. **b* > др.-арм. *p* > диал. *b*), либо прибегнуть к новой реинтерпретации древнеармянской графики и фонетики.

Сущность вопроса заключается в том, с какого времени существуют вообще армянские диалекты. По мнению Э. Бенвениста, у нас нет никаких данных, чтобы постулировать существование нескольких диалектов в древнеармянском языке, поскольку до нас не дошли никакие тексты на этих диалектах. «Армянский язык, зафиксированный письменностью в V в., не представлял собою койне, а был единым языком» (ВЯ, 1961, 3, стр. 39). Но разве современная диалектная речь, как это указал сам Э. Бенвенист (см. выше, стр. 36), не может заключать свидетельств о фактах, которые не сохранились в древних письменных источниках? При широком продвижении армянского народа по территориям, ранее занятым иноязычными народами, трудно с исторической точки зрения предположить, что древний армянский язык оставался монолитным и не распадался в устной речи на диалекты. Тем более, что о наличии диалектных различий имеются свидетельства армянских грамматистов почти с самого начала существования древнеармянской письменности³⁰.

Э. Б. Агаян, уточняя приведенные выше высказывания своего учителя Р. А. Ачаряна, писал: «Постепенное развитие этих (диалектных) элементов

²⁹ Ср. также: А. Г а р и б я н, К вопросу о месте и значении армянского языка в системе индоевропейских языков, «Доклады делегации СССР [на XXV Международном конгрессе востоковедов]», М., 1960, стр. 10.

³⁰ См. И. К. К у с и к ъ я н, Очерки исторического синтаксиса литературного армянского языка, М., 1959 (см. гл. II, 4— «О диалектизмах в синтаксисе литературного языка», стр. 76—83). Ср. также высказывания А. С. Г а р и б я н а в заключительной статье (ВЯ, 1962, 2, стр. 22).

приводит к тому, что в V в. (т. е. к моменту образования древнего письменного языка! — В. Ж.) мы уже имеем новые диалекты, хотя расхождения между ними не так сильны и выражаются, в основном, в консонантизме (оглушение звонких — в одних, оглушение/аспирирование — в других и сохранение без изменения — в третьих). Интенсивный процесс дифференциации новых диалектов происходит в последующие века, в особенности в XII—XIII вв., что объясняется ходом истории армянского народа (арабское завоевание, нашествие тюрков и татар и т. д.). Этой же эпохой датируется отмирание древнеармянского языка³¹. В статье 1960 г. Э. Б. Агаян отодвигает начало этого процесса еще далее в глубь веков: «...процесс возникновения диалектов начался задолго до V в. н. э.» (ВЯ, 1960, 4, стр. 52). Иными словами, з а д о л г о до первых письменных памятников классического армянского языка. Возникает вопрос: «насколько з а д о л г о?». Вопрос этот приближает нас к сущности спора.

В статье 1960 г. Э. Б. Агаян не касается вопроса о древних армянских диалектах, предшествующих по времени образованию грабара, но в статье 1958 г. он изложил свою точку зрения более полно. В эпоху, предшествовавшую древнеармянскому языку, существовали древнеармянские диалекты. В дальнейшем историческом процессе образования армянского народа на основе этих древних диалектов образовался язык армянской народности, ставший впоследствии письменным языком. В этом процессе произошло, с одной стороны, постепенное слияние этих диалектов в общенародный язык и их отмирание («до I—II вв. н. э., в отдельных явлениях до IV—V вв. н. э.»³²), иными словами — образование койне (которое отрицает Э. Бенвенисти!), с другой стороны — зарождение новых диалектов. В V в. мы имеем уже новые диалекты, хотя расхождения между ними незначительны; интенсивный процесс диалектной дифференциации относится, как уже было сказано, к VII—XII вв.

«Период до IV в., особенно с I в. н. э. до IV в. н. э., — пишет Э. Б. Агаян, — является периодом завершения образования и консолидации армянского народа. Создание сильного централизованного государства, объединение различных частей армянского народа в составе одного централизованного государства, особенно во времена Тиграна, неизбежно содействовали вымиранию древнеармянских диалектов, что являлось одной из предпосылок образования всенародного армянского языка. В противоположность этому после IV в. армянский народ не только потерял самостоятельность, единую государственность, подвергаясь периодическим нашествиям, но и распадается на части, его районы обособляются, чем и создаются условия для образования диалектов»³³.

Спрашивается, однако, можно ли действительно в исторических условиях Армении I—IV вв. н. э., т. е. в условиях рабовладельческого общества, говорить о такой степени политической концентрации, а главное — экономической консолидации народа и государства, которые сделали бы вероятным полное поглощение диалектов единым общенародным языком, если учитывать к тому же слабые возможности объединяющего влияния возникшей лишь в V в., по преимуществу клерикальной, письменности на население, в подавляющем большинстве неграмотное? Даже греческое койне, как известно, не подавило полностью местных греческих диалектов, и мы находим, например, в современных говорах Пелопоннеса «доризмы», представляющие архаические пережитки диалектных различий, предшествующих распространению койне.

Вообще утверждение о большей древности той или иной разновидности народного языка «в целом» возможно лишь при всё том же генетическом рассмотрении диалектов как «ответвлений» (т. е. «веток» и «веточек») генеалогического древа этого языка. Возьмем для примера

³¹ Э. А г а я н, К вопросу о возникновении новоармянских диалектов, стр. 232.

³² Там же, стр. 227.

³³ Там же, стр. 228—229.

немецкие диалекты Швейцарии, которые обычно признаются особо архаичными, «реликтивными», вследствие раннего политического обособления его носителей от соседней Германии. Действительно, мы находим в швейцарских диалектах несомненные «архаизмы»; например, сохранение старых узких долгих *i*, *u* (как и в эльзасском), которые подверглись в немецком национальном литературном языке дифтонгизации в *ei* [ai], *au* (ср. *hūs* — *haus*, *īs* — *ais* «Eis»); или старых узких дифтонгов *iə*, *uə* (как во всех южнонемецких диалектах), которые в национальном литературном языке были монофтонгированы в долгие *i*, *u* (ср. *liəp* — *lip* «lieb», *guət* — *gūt* «gut»). Однако, с другой стороны, те же швейцарские диалекты (как весь юго-запад германской языковой области) имеют *-št*, *-šp* внутри слова — там, где национальный литературный язык сохранил *-st*-, *-sp*- (ср. *mišt* «Mist», *hašplə* «haspeln»), или, напротив (подобно другим южнонемецким диалектам), они утратили *-e* в неударном положении (ср. *bluət* «Blume», *gešt* «Gäste», *phaltə* «behalten») и подвергли редукции конечное *-n* (ср. *šribə* «schreiben», *mā* «Mann» и др.), сохранившиеся в консервативной норме национального языка благодаря ранней письменной фиксации.

То же относится ко всем другим немецким диалектам: в них наличествуют как архаизмы, так и новообразования (фонетические и морфологические), иногда те и другие в одном и том же слове (как в примерах *bluət* «Blume» или *šribə* «schreiben»). Так, по-видимому, обстоит дело и в диалектах армянских по сравнению с классическим древнеармянским литературным языком.

Отметим в заключение очень интересную и плодотворную мысль проф. Ф. Фейди. «Было бы интересно внутри самого классического армянского, представляющего как бы сумму всего армянского языка, исследовать распределение по авторам (иными словами — по диалектам этих авторов. — В. Ж.) указанных синонимов, а также некоторых мало употребительных слов, особенно тех, которые признаются по своему происхождению индоевропейскими. То же относится и к морфологическим дублетам... В случае, если происхождение некоторых синонимов известно, указанное их распределение по авторам позволит обнаружить возможный вклад различных диалектов в общий лексический фонд и изучить состояние каждого из них. При этом вполне понятно, что фонетические явления имеют свое независимое развитие» (ВЯ, 1961, 5, стр. 49). Эта попытка диалектного расслоения грабара, предложенная Ф. Фейди на рассмотрение его коллег-армянистов, прорывает с классической точкой зрения А. Мейе, который видел в подобных «вульгаризмах» лишь отражение диалектных особенностей позднейших писцов (см. выше, стр. 35).

4

Значительная часть участников дискуссии (Ж. Фурке, У. Ф. Лемаи, Л. Заброцкий, Вяч. В. Иванов) посвятила свои выступления структуральному анализу представленного материала, синхроническому и диахроническому, подчеркивая, однако, в то же время неполноту и недостаточность этого материала для анализа на уровне фонологии.

Проф. Жан Фурке (ВЯ, 1959, 6) набросал картину генетического развития согласных в армянских диалектах как «опыт диахронной фонологии». В связи с новыми материалами А. С. Гарибяна он считает необходимым «внести изменения во многие главы» своей книги «Передвижение согласных в германском» (там же, стр. 69, примеч. 1; см. выше, стр. 34 настоящей статьи). Как видно из сообщения Э. Бенвениста, Жан Фурке учел и дальнейший ход дискуссии. «Скоро выйдет новая работа того же автора, в которой будет дан обзор и подведены итоги последних исследований в области армянского консонантизма» (ВЯ, 1961, 3, стр. 37 и примеч. 3).

Проф. У. Ф. Леман (ВЯ, 1961, 4) и Вяч. В. Иванов¹ (там же, 1962, 1) пользуются материалами армянской диалектологии для уточнения вопросов фонологии индоевропейской системы согласных. Вяч. В. Иванов по-прежнему считает, что «по соображениям типологического характера наличие звонких придыхательных можно считать вероятным в такой системе, где (как в древнеармянском или в древнеиндийском) наряду со звонкими придыхательными имеются глухие придыхательные (т. е. где есть противопоставление *th—dh*), но не в системе, где отсутствуют глухие придыхательные». Данные армянских диалектов подтверждают правильность этой гипотетической закономерности, «так как противопоставление типа *th—dh* является необходимым условием наличия звонких придыхательных в армянских диалектах» (стр. 37). Но не следует ли отсюда, что рядом со звонкими придыхательными искони существовали и глухие придыхательные в индоевропейском или по крайней мере в той его части, к которой относятся армянский и индийский?

Проф. Л. Заброцкий, автор обширного исследования об «Усилении и лениции» (1951), в котором наряду с германским рассматривается и армянское передвижение согласных («первое» и «второе») ³⁴, изложил по ходу дискуссии свои взгляды на развитие консонантизма армянских диалектов (ВЯ, 1961, 5). Он исходит из положений классической арменистики, подкрепленных доводами Э. Б. Агаяна и Г. Б. Джаукяна, и пользуется иными методами анализа, чем Жан Фурке, поэтому структурально-диахроническая картина генезиса системы согласных армянских диалектов (из грабара) представляется у него совершенно иной, чем у французского ученого. Согласно общей концепции Л. Заброцкого, вопросы истории звуков следует решать прежде всего на фонетическом уровне, исходя из «принципа всеобщности фонетических процессов». «Фонологические процессы вступают в действие как реакция против определенных фонетических процессов» и действуют «в обратном направлении по сравнению с основными фонетическими процессами. Так, фонетический процесс монофтонгизации, мыслимый как основной процесс, может вызвать фонологический процесс дифтонгизации» (там же, стр. 35). Л. Заброцкий включает «фонологический уровень» (т. е. обратный процесс) в «кризисном» («критическом») положении, когда возникает «опасность совпадения» двух самостоятельных звуковых рядов (см. стр. 37 и сл. его статьи).

Следует, однако, заметить, что угроза конвергенции и связанного с ней лексического неразличения (омонимизма), которая в настоящее время играет такую важную роль в трудах по диахронической фонологии, в исторически контролируемых случаях далеко не всегда вызывает «сопротивление» языка («Ausweichung»). Существуют во всех языках многочисленные примеры смещения первоначально самостоятельных в фонологическом отношении звуковых рядов в результате их конвергирующего развития. Так, английский язык еще в начале XVII в. различал среднеанглийские открытое и закрытое долгое *e* [e:—e:], первое как закрытое *ē*, второе как *ī*; со второй половины XVII в. эти звуки совпали в долгом *ī*, в результате чего возникли многочисленные омонимы типа *sea* «море» (срангл. [se:]), *see* «видеть» (срангл. [se:]). В новонемецком литературном языке произошла подобная же конвергенция при дифтонгизации узких *ī*, *ū* > *ei* [ai], *au* и одновременном расширении старых дифтонгов среднего уровня *ei*, *ou* > *ai*, *au*; отсюда многочисленные омонимы типа: *Laib* «каравай» (срвнем. *leip*) — *Leib* «тело» (срвнем. *līp*), *Saite* «струна» (срвнем. *seite*) — *Seite* «сторона» (срвнем. *sīte*), *rein* «чистый» (срвнем. *reine*) — *Rhein* «Рейн» (срвнем. *Rīn*) и мн. др.; это привело даже к исчезновению целой грамматической категории — понудительных глаголов слабого спряжения с корневым гласным срвнем. *eī* (новонем. *ai*) рядом с сильными глаголами I ряда на срвнем. *ī* (в ново-

³⁴ L. Z a b r o c k i, Usilenie i lenicja w językach indoeuropejskich i w ugrofińskim, Poznań, 1951, стр. 131—170.

немецком также *ai*), например: срвнем. *schīnen* «scheinen» — понуд. *scheinenen* «scheinen machen» («zeigen»), *swigen* «schweigen» — понуд. *sweigen* «zum Schweigen bringen» и др.; ср. также дрвнем. *rīsan* «steigen» — *reisōn* «aufbrechen» («reisen») и др.³⁵

Таким образом, не следует злоупотреблять в диахронической фонологии этим принципом объяснения, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с реконструкциями, которые не могут быть проверены фактами.

Акад. В. И. Георгиев использовал материалы статьи А. С. Гарибяна для новой постановки вопросов об этногенезисе армян (ВЯ, 1960, 5). Статья его вызвала сомнения Э. Бенвениста (ВЯ, 1960, 3, стр. 43) и В. Пизани. Последний считает выдвинутую В. Георгиевым гипотезу «блестящей», однако «неприемлемой» — «по крайней мере для настоящего времени» (ВЯ, 1961, 4, стр. 49—50).

5

Подведем некоторые итоги.

Ввиду большого значения поднятых вопросов и исключительного богатства и сложности материала, собранного советской арменистикой, участниками дискуссии, советскими и зарубежными, был выдвинут ряд пожеланий по дальнейшей разработке этого материала.

1. Необходима организация тщательного и систематического инструментально-фонетического исследования армянских согласных — простых звонких, полувзвонких (глухих слабых) и глухих, аспирированных звонких, полувзвонких и глухих. Экспериментальные исследования, начатые в свое время Р. Ачаряном в Париже в фонетической лаборатории аббата Руссело и вызвавшие уже тогда критические замечания последнего (см. выше, стр. 33), требуют в настоящее время расширения и проверки, соответствующих современному уровню фонетического анализа.

2. Необходимо фонематическое описание отдельных диалектов, позволяющее точнее установить место каждой фонемы и ее вариантов (в частности, и звонких придыхательных) в фонологической системе данного диалекта.

3. Необходимостью на том высоком уровне, которого достигла в настоящее время армянская диалектология, становится создание атласа армянских диалектов. Систематическое собирание материала для национального атласа больших масштабов всегда обещает неизмеримое обогащение фактического материала. Анализ установленных изоглосс отдельных языковых явлений в связи с историко-географическими данными о распространении армянского народа на занятой им территории позволит точнее подойти к вопросу об историческом генезисе армянских диалектов.

4. Пересмотра требует проблема иноязычных заимствований — древних и новых — с участием специалистов по соответствующим языкам. Сравнение фонологических систем этих языков и их реализации в произношении с языком армянским и его диалектами позволит судить о степени пригодности их показаний для установления относительной и абсолютной хронологии языковых процессов.

5. Возможен более пристальный анализ материала классического армянского языка с точки зрения наличия в нем элементов диалектной дифференциации (если, как предполагает Ф. Фейди, таковая может быть обнаружена применением более тонких методов анализа).

6. На этой твердо проверенной основе возможна будет более строгая классификация армянских диалектов в их историческом развитии и современном состоянии в связи с историей армянских литературных языков.

³⁵ См. E. Ö h m a n n, Über Homonymie und Homonyme im Deutschen, Helsinki, 1934, стр. 75—78.

Э. А. МАКАЕВ

ПОНЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ И ИЕРАРХИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

§ 0. Принципы системного описания языка в его различных манифестациях и на различных уровнях как в его современном состоянии, так и в его историческом развитии (т. е. в терминах исторической и пространственной лингвистики) являются наиболее содержательными в современном структуральном языкознании. Во всех работах, где дается системное описание языка и его различных уровней, непременно содержится понятие давления системы, равно как и само понятие системы языка; чаще всего, однако, понятие давления системы дается в имплицитной форме, как нечто само собой разумеющееся, когда речь идет о системе языка. В этой связи можно указать на известную работу А. Мартине¹, где отдельные разделы посвящены давлению фонологической и морфологической подсистем; однако остается совершенно неясным, проводит ли А. Мартине какое-либо различие между самой системой языка и давлением системы и существует ли какое-либо различие в проявлении давления системы на разных уровнях языка. Данный вопрос не только не проясняется в книге А. Мартине, но скорее даже затемняется тем обстоятельством, что примеры, приводимые автором в качестве иллюстрации давления морфологической подсистемы, на самом деле относятся к фономорфологии, а не собственно к морфологии.

Следует также указать на то, что у А. Мартине наблюдается известная двойственность в употреблении термина «давление»: в одном случае речь идет об активных и пассивных элементах речевой цепи, о воздействии одного элемента на другой элемент, в другом случае рассматривается действие давления системы на фоне пустых клеток (*cases vides*) системы языка².

§ 1. Термин «давление системы» (*Systemzwang*), так же как и некоторые другие термины, занявшие весьма важное место в современном структуральном языкознании (например, понятие языковой модели и понятие структуры языковых единиц), был введен в научный обиход во второй половине XIX в., преимущественно в Лейпцигском кружке младограмматиков. Вскоре в работах Г. Пауля, К. Бругмана, Г. Остгофа и других исследователей этот термин получил окончательную кодификацию; однако следует тут же указать на то, что понятие давления системы не получило терминологически однозначного определения прежде всего потому, что отсутствовало содержательное определение самой языковой системы (Ф. де Соссюр, многим обязанный Лейпцигскому кружку, в этом отношении является блестящим исключением), и поэтому понятие давления системы очень скоро совпало с принципами действия грамматической ана-

¹ A. Martinet, *Économie des changements phonétiques*, Bern, 1955, стр. 59, 173.

² В данной статье вопрос о соотношении давления системы и пустых клеток не рассматривается, так как анализ этой проблемы требует дополнительного рассмотрения системы языка, законов ее архитектоники, ее функционирования и причин ее преобразования, что далеко выходит за рамки настоящей работы.

логии, став своего рода синонимом последнего понятия³. В такой младограмматической интерпретации понятие давления системы продолжает употребляться в работах первой половины XX в.⁴ Представители структурального языкознания, также использующие данный термин, не внесли какую-либо ясность в его содержание и употребление. В то же время не подлежит сомнению, что при таком понимании давления системы это понятие по сути дела совпадает с самой системой языка, теряет собственные очертания и становится бессодержательным.

§ 2. Прежде чем можно будет приступить к определению давления системы, необходимо терминологически определить некоторые понятия, тесно связанные с давлением системы, а именно: понятие системы языка, понятие нормы, понятие употребления.

а) Понятие системы языка. Под системой языка понимается взаимодействие и взаимообусловленность конститутивных единиц всех уровней языка на определенном этапе его развития, образующих в своей совокупности его структурную модель на одном из уровней. Каждый уровень языка складывается из определенного набора инвариантов конститутивных единиц. Инвариант допускает большее или меньшее количество вариантов, что может определяться как структурными особенностями данной языковой единицы, так и уровнем языка. Естественно, что инвариант существует лишь постольку, поскольку существуют его манифестации, т. е. варианты. Следовательно, вариативность — непрменный признак не только определенного уровня языка, но прежде всего самой языковой системы.

б) Понятие нормы. Языковая норма является регулятором, определяющим набор вариантов, границы вариативности, а также дозволенные и недопустимые варианты.

в) Понятие употребления. Под употреблением понимается реализация языковой системы и языковой нормы в каждом акте коммуникации. Связь между языковой системой, языковой нормой и употреблением является двусторонней, ибо в употреблении могут возникать варианты, вовсе не предусмотренные ни языковой системой, ни нормой. Эти варианты могут либо быть отброшены системой и нормой, либо могут закрепиться и войти в систему. Утверждающий характер языковой системы сказывается в том, что, проявляясь через языковую норму, она накладывает ограничения на конститутивные единицы языка всех уровней, на их парадигматические и синтагматические структурные особенности. Давление системы — не что иное, как одна из форм актуализации языковой системы. Тем самым давление системы находится в прямой зависимости от набора и структурных особенностей единиц языка, от степени вариативности данных единиц, от архитектоники каждого уровня языка.

§ 3. Поскольку каждый уровень языка (фонологический, фонеморфологический, морфемный, синтагматический, лексический и метасемантический, т. е. уровень стилистики), наряду с отличительными признаками, присущими лишь данному уровню, обладает также рядом признаков, изоморфных другим уровням языка (это позволяет говорить об известном изоморфизме всех уровней языка)⁵, естественно ожидать, что давление системы должно сказаться на всех перечисленных уровнях, но его удель-

³ Ср., например, следующее положение: «Хотя и является ошибочным полагать, что часто употребляемые слова допускают исключения из действия звуковых законов, все же следует принять для подобных слов исключения в виде давления системы (Systemzwang) или, точнее, меньшую степень постоянства в пассивных образованиях по аналогии (passive Analogiebildung) (O. Bremer, Germanisches *ē*. I — Die lautgesetzliche Entwicklung des idg. *ē* in den ältesten germanischen Sprachen, PBB, XI, 1, 1885, стр. 73).

⁴ Ср., например, употребление термина «Systemzwang» в работе: F. Sommer, Zum vedischen Sandhi, сб. «Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift für W. Streitberg», Heidelberg, 1924, стр. 256.

⁵ См. Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 5.

ный вес, степень его интенсивности и эффективности на разных уровнях различны.

§ 4. Отличие низших уровней от высших заключается не только в том, что однолинейным единицам (т. е. единицам, данным лишь в плане выражения) низших уровней противостоят единицы двусторонние (т. е. единицы, данные одновременно и в плане выражения, и в плане содержания), но и в том, что по направлению от низших единиц к высшим, от низших уровней языка к высшим возрастает количество конститутивных единиц уровня, увеличивается архитектурная сложность данных единиц, возрастает сложность их парадигматических и синтагматических отношений, возрастает степень их вариативности. Так, возможности варьирования единиц фонологического и лексического или метасемiotического уровня — несоизмеримы. Многообразные синонимические возможности единиц высших уровней (т. е. наличие морфологических, синтаксических, лексических и стилистических синонимичных рядов) делают возможным как бы «санкционированное» языковой нормой сосуществование ряда частных систем, которые можно рассматривать как варианты по отношению к инвариантам конститутивных единиц. Наличие подобных многочисленных и перекрещивающихся частных систем не может не вести к значительному сужению эффективности действия давления системы, к сужению ограничений, налагаемых системой языка на уровни языка и составляющие их единицы. Нет сомнения в том, что и на низших уровнях могут быть представлены частные системы как сосуществующие на одной плоскости с основной системой⁶. Однако возможности здесь по сравнению с высшими уровнями значительно более ограничены и фонемная вариативность более архитектурно проста, чем морфемная или лексемная вариативность. Таким образом, можно установить следующее правило. Давление системы тем сильнее, чем архитектурно более проста конститутивная единица данного уровня, чем меньше ее вариативность, чем меньше представлено на данном уровне частных, перекрещивающихся систем; давление системы ослабевает там, где возрастает архитектурная сложность языковой единицы, где увеличивается ее вариативность, где представлено большее количество частных, перекрещивающихся систем. Следовательно, давление системы обратно пропорционально возрастающей архитектурной сложности языковой единицы соответствующего уровня. Поэтому возможно установить зависимость давления системы от иерархии соответствующих уровней и набора составляющих их единиц.

§ 5. Как раз маргинальные подсистемы (или частные системы) различных уровней чаще всего оказываются кумулятивным центром нейтрализации давления системы; в этой связи можно указать на наличие контрастной тональной характеристики слова в норвежском букмоле и на возможность иной просодической характеристики в заимствованных словах в том же языке⁷; можно указать также на акцентную характеристику слова в фарерском языке и на иную акцентную характеристику слова в заимствованных словах в том же языке; можно указать на разнообразные, подчас весьма многочисленные, реликтовые образования в морфологическом строе различных языков. Уже само наличие двух и более частных систем, сосуществующих на равных правах с центральной системой, является идеальным случаем нейтрализации ограничений, налагаемых давлением системы. В этой связи можно вспомнить, например, обязательность начального ударения во всех исконно фарерских словах, но иную акцентную характеристику в заимствованных словах, например *laerarin-*

⁶ См.: Н. Куцера, *Inquiry into coexistent phonemic systems in Slavic languages*, 's-Gravenhage, 1958; Е. Станкiewicz, *Towards a phonemic typology of the Slavic languages*, 's-Gravenhage, 1958.

⁷ См. М. К. Jensen, *Tonemicity*, Bergen — Oslo, 1961, где указывается дальнейшая литература вопроса.

на «учительница» (из датского)⁸. Кроме того, может наблюдаться наложение нескольких моделей в одном парадигматическом ряду (следствием этого нередко является значительная парадигматическая вариативность и скрещение различных уровней — фонемного и морфемного, морфемного и синтагматического, синтагматического и лексического).

Это положение находит свое объяснение также в том, что очагом системных преобразований часто оказываются именно маргинальные подсистемы, наиболее чувствительные ко всякого рода инновациям, откуда они могут распространиться и на центральные системы. Следует иметь, однако, в виду, что поведение различных языков в отношении реализации давления системы в маргинальных подсистемах может обнаруживать существенные расхождения. Так, весьма instructивно сравнение двух моделей акцентной характеристики слова: в фарерском языке и в современном исландском языке. В этом последнем наблюдается обязательность начального ударения как в исконных, так и в заимствованных словах. На фонологическом уровне это равно отсутствию акцентной релевантности словесной структуры в исландском языке.

Не менее показательны также поведение так называемых «малых слов» — одного из важных и любопытных явлений не только исторической и описательной грамматики, но и общего языкознания (история этих слов, к сожалению, еще не написана). Здесь имеются в виду подчас довольно многочисленные и в то же время распыленные парадигматические образования, реликтовые типы, всем своим структурным обликом (наличие супплетивных образований типа «verbum substantivum», наличие исторических чередований, аномальная парадигматическая структура) как бы выпадающие из широких парадигматических рядов. В то же время они обнаруживают в различных языках удивительную устойчивость и не поддаются действию (или, во всяком случае, весьма слабо поддаются действию) давления системы. В данном случае давление системы сказывается преимущественно совместно с грамматической аналогией. Преобразование отдельных звеньев языковой структуры на основе грамматической аналогии — это тенденция, в известной мере противоположная действию давления системы в одной из подсистем определенного уровня языка.

Стремление к подравнению многообразных и гетерогенных парадигматических рядов — наиболее типичный отличительный признак грамматической аналогии. Однако в системе языка эта тенденция полностью никогда не реализуется, что объясняется прежде всего внутрисистемными отношениями, а именно тем, что в языке на его различных уровнях представлены различные приемы моделирования языковой единицы. Эти приемы отличаются своей емкостью, продуктивностью и частотностью, а также местом, какое они занимают в частной системе. Тем самым продуктивность и частотность, как правило, не покрывают друг друга; можно указать в связи с этим, например, на отмеченные выше реликтовые образования, обладающие высокой частотностью, но не являющиеся продуктивными. Материал исторической грамматики различных языков не всегда дает возможность провести какое-либо различие между действием давления системы и действием грамматической аналогии. Именно это обстоятельство было и продолжает быть причиной фактического неразличения указанных выше двух факторов. В качестве примера можно сослаться на многочисленные работы К. Бругмана, особенно на его «Краткую сравнительную грамматику индоевропейских языков»⁹, где под рубрикой «Давление системы» приводились явления, относящиеся к грамматической аналогии. Между давлением системы и грамматической аналогией представ-

⁸ См.: W. B. Lockwood, Notes on the Faroese language to-day, «Transactions of the Philological society», Oxford, 1950, стр. 104; егo же, An introduction to modern Faroese, København, 1955, стр. 8.

⁹ K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Straßburg, 1904.

ляется вполне возможным провести определенное различие. Можно предложить следующую формулу разграничения этих двух факторов:

а) В том случае, когда определенное фонемное сочетание или определенная фonomорфологическая структура допускается лишь в пределах частной подсистемы или парадигматического ряда, а за пределами парадигматического ряда на данное сочетание наложены ограничения, следует усматривать действие давления системы. Ср. в древневерхненемецком фонетически закономерное падение *w* в позиции перед *i* и после шумного согласного: др.-в.-нем. *suozī* «сладкий» < **swuozī*, др.-сакс. *swōti* «сладкий», но в глагольной парадигме: др.-в.-нем. *dwahan* «мыть», претерит *dwuog* (наряду с фонетически закономерным фonomорфологическим вариантом *duog*); ср. также в древнеисландском закономерное падение *w* перед округленными гласными заднего ряда: др.-исл. *okr* «процент», гот. *wokrs*, но в глагольной парадигме: др.-исл. *verða* «становиться», претерит мн. числа *virðom* (наряду с фонетически закономерным фonomорфологическим вариантом *irðom*).

б) В том случае, когда определенное фонемное сочетание или определенная фonomорфологическая структура являются следствием подравнения по одному из членов парадигмы, а на данное фонемное сочетание за пределами парадигмы не налагаются ограничения, следует усматривать действие грамматической аналогии. Ср. в средневерхненемецком в глагольной парадигме: *singen* — *sang* — *sungen* — *gesungen* «петь», в совр. нем.: *singen* — *sang* — *sangen* — *gesungen*, где *sungen* → *sangen* по модели *sang*; ср. также лат. *honōs* → *honōrem* → *honōr* → *honōrem* «честь» (на сочетания *os* и *or* в латинском языке не налагались ограничения). В греческом мы находим сочетание βε-, например βέλος «снаряд, стрела», где фонетически следовало бы ожидать не β-, а δ- (ср. в диал. греч. -δέλλω). Фonomорфологический вариант βε- явился следствием подравнения по таким образованиям, как βάλλω «бросать», βολή «бросок», βολίς «снаряд» и др. Важно то, что на сочетание βε- в греческом не налагались ограничения; ср. греч. βελόνη «игла», βελτίω «лучше», βένθος «глубина», βῆσσα «овраг» и др.¹⁰

§ 6. Императивный характер давления системы дан потенциально: его действительная реализация может натолкнуться на значительное сопротивление со стороны языковых единиц не только разных уровней, но и различной структуры, занимающих иерархически различное место в системе языка. Направление действия давления системы определяется стремлением к сохранению структурного облика конститутивных единиц языка, их парадигматической и синтагматической конфигурации, отвечающей наиболее типичным приемам моделирования данного уровня, а также стремлением к элиминированию или, во всяком случае, к преобразованию структуры тех языковых единиц, которые уже не отвечают установившимся на данном уровне приемам моделирования.

§ 7. На основании изложенного представляется возможным сделать заключение о том, что давление системы находится в определенной зависимости от структуры языка или от языковой типологии. Хотя типологическая классификация языков вплоть до настоящего времени не вышла за рамки первых и явно несовершенных экспериментов, ее исключительная важность не подлежит сомнению¹¹. В ее основу может быть положен набор критериев или конститутивных признаков, произвольно выбираемых исследователем из одного (например, синтагматического) или нескольких уровней (например, морфемного и синтагматического). Выбор критериев

¹⁰ См.: H. J. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1954, s. v.; M. L e j e u n e, Traité de phonétique grecque, Paris, 1955, стр. 41.

¹¹ См.: R. J a k o b s o n, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics, «Proceedings of the 8-th International congress of linguists», Oslo, 1958; C. E. B a z e l l, Linguistic typology, Oxford, 1958; J. R. F i r t h, A synopsis of linguistic theory, сб. «Studies in linguistic analysis», Oxford, 1957.

для построения типологической грамматики определяется теми задачами, которые в данный момент для исследователя являются ведущими, в известной мере также характером объекта исследования.

Есть определенные основания для противопоставления языков фузионного типа (например, индоевропейских) языкам агглютинирующего типа на основании следующих конститутивных признаков. Структурные особенности основных единиц различных уровней в индоевропейских языках (наличие весьма значительного количества дробных парадигматических рядов и парадигматической вариативности, разнообразие фономорфологических вариантов, переплетение морфо-синтагматических и лексико-грамматических характеристик, затрудняющее синтагматическую предсказуемость) приводят к высокой информативности единиц и их признаков и в общем к их малоэкономному описанию. Дело в том, что сама система фузионных языков является малоэкономной. Напротив, в языках агглютинирующего типа значительная экономность архитектоники языковой системы ведет к снижению информации, сообщаемой об основных единицах языка и их конститутивных признаках. Давление системы убывает там, где возрастает степень информации, сообщаемой о единицах языка различных уровней и их конститутивных признаках; наоборот, давление системы возрастает там, где убывает степень информации, сообщаемой о единицах языка. Следовательно, можно установить, что в фузионных языках давление системы значительно ослаблено, а в агглютинирующих языках давление системы значительно усилено. Данный вывод позволяет сделать следующее наблюдение. Как было отмечено выше (§ 4), давление системы убывает по направлению от низших уровней к высшим, причину чего следует искать в структурных особенностях единиц данного уровня и его архитектонике. Тем самым оказывается возможным установить известный и з о м о р ф и з м различных уровней языка и различной типологии языков в отношении проявления действия давления системы.

Весьма тонкое и плодотворное разграничение, проведенное Ф. де Сосюрром между «грамматизованными» и «лексикализированными» языками, в отношении давления системы может быть интерпретировано в том смысле, что уровень давления системы повышается в зависимости от степени грамматизации языка и понижается со степенью лексикализации языка.

§ 8. В заключение можно указать на то, что углубленное описание различных уровней языка и изображение языковой системы с настоятельной необходимостью требуют уточнения или переформулировки ряда понятий, без которых невозможно системное описание языка, в том числе и понятия давления системы. Представляется возможным отграничить давление системы от действия грамматической аналогии, с одной стороны, и от системы языка, функцией которой является принцип давления системы — с другой. Тем самым давление системы, занимая определенное место в наборе конститутивных признаков языка, получает содержательную характеристику. В будущей типологической грамматике языка, наряду с другими конститутивными признаками, давление системы должно занять определенное место¹².

¹² Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность И. А. Мельчуку, любезно согласившемуся просмотреть рукопись и сделавшему ряд ценных замечаний, учтенных автором при подготовке рукописи к печати.

А. М. МУХИН

ПОНЯТИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Одним из важнейших понятий современной лингвистики, возникшим в процессе функционально-структурного анализа фонетических элементов (звуков), является понятие нейтрализации смыслоразличительного противопоставления. Однако, если в фонологии понятие нейтрализации получило надлежащее обоснование и не вызывает сомнений, являясь неизбежным следствием функционально-структурного анализа фонетического материала на основе фонемного противопоставления¹, то в области морфологии и лексики указанное понятие, перенесенное сюда из фонологии, оказывается неясным и спорным². И это представляется вполне естественным, если учесть, что морфология и лексикология с их традиционными единицами до сих пор не испытывали никакой нужды в данном понятии (как не испытывала в нем нужды и фонетика), вполне обходясь теми категориями, которые диктовались внутренними потребностями этих отраслей традиционного языкознания. В связи с этим легко можно понять ту пессимистическую точку зрения относительно применимости понятия нейтрализации в морфологии и лексике, которая выражена в ряде ответов на вопросник А. Мартине. Однако ограничение применимости понятия нейтрализации только областью фонологии (фонемике), по-видимому, было бы неоправданным,

*

Для выяснения сферы распространения явления нейтрализации в языке и его особенностей за пределами фонологической системы оппозиций первостепенное значение имеет вопрос о характере параллельных фонемам языковых единиц, противопоставления которых нейтрализуются в некоторых контекстах. Важны также связанные с этим вопросы о природе признаков или черт, которые теряют свою релевантность в позиции нейтрализации, и о природе контекстов (окружения), которые обуславливают нейтрализацию.

Как известно, нейтрализация фонемного противопоставления имеет синтагматический характер, т. е. обуславливается контекстом или окружением, определяемым в терминах фонем, просодических признаков и «стыков» (junctures)³. В этой связи нельзя не обратить внимания на принципиальное несоответствие явлению нейтрализации смыслоразличительного противопоставления фонем некоторых примеров из области морфологии, в которых иногда усматривают аналогичное явление⁴.

В морфологии внешне совпадающие морфологические единицы, имеющие разное значение, именуются грамматическими омонимами или омофонами, и это название следует сохранить, чтобы не смешивать это явление с нейтрализацией смыслоразличительного противопоставления. Последняя

¹ См. в особенности: N. S. Trubetzkoy, Die Aufhebung der phonologischen Gegensätze, TCLP, 6, 1936; A. Martinet, Neutralisation et archiphonème, там же; H. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 86—93, 256—272.

² Об использовании понятия нейтрализации в области морфологии и лексики см. посвященный всецело этому вопросу том «Travaux de l'Institut de linguistique», II (1957), Paris, 1958 (сокр.—TIL).

³ См. A. Martinet, La notion de neutralisation dans la morphologie et le lexique, TIL, стр. 7.

⁴ См., например, J. Cantinetau, Oppositions significatives, «Cahiers F. de Saussure», 10, Genève, 1952, стр. 32.

невозможна на базе традиционных морфологических единиц, выделяемых по принципу внешнего сходства⁵, поскольку признак внешнего сходства разъединяет функционально тождественные морфологические элементы, т. е. элементы, несущие тождественную смысловоразличительную функцию в морфологической структуре языка⁶.

Нельзя согласиться и с Л. Ельмслевом, поставившим знак равенства между нейтрализацией фонемного противопоставления и тем, что в традиционной грамматике известно под названием синкретизма⁷. Синкретизм им. и вин. падежей среднего рода в латинском, как и в других индоевропейских языках, представляет собой особый случай омонимии, когда внешнее совпадение двух форм наблюдается в рамках грамматического класса, точнее подкласса слов. Однако и при этом совпадении в морфологической структуре языка остается в силе противопоставление им. и вин. падежей (*templum* — *templum*, *caput* — *caput* и т. д.), так как внешне идентичные формы здесь имеют различные значения, свойственные вообще им. и вин. падежам существительных в латинском языке независимо от принадлежности последних к тому или иному роду (мужскому, женскому или среднему). Иными словами, мы здесь имеем дело с нулевыми окончаниями (им. и вин. падежей), являющимися комбинаторными вариантами двух функциональных морфологических единиц — морфем, противопоставляемых друг другу в морфологической структуре языка.

Анализ морфологической структуры языка на базе функциональных морфологических единиц, с одной стороны, требует объединения в морфеме ряда морфологических элементов, несущих тождественную смысловоразличительную функцию, независимо от наличия внешнего (фонетического) сходства между ними (комбинаторные и факультативные варианты морфемы, в том числе стилистически окрашенные, диалектные и др.), а с другой стороны, позволяет обнаружить противостоящие друг другу в смысловоразличительном отношении ряды морфологических элементов, которые составляют в совокупности грамматическую, точнее — морфологическую категорию. Типичным примером морфологической категории, представляющей собой два противостоящих друг другу ряда функционально тождественных морфологических элементов, может служить категория числа (единственного — множественного) существительных в английском языке.

Позицией нейтрализации здесь является положение после определенных корневых морфем, значения которых не допускают изменения по числам существительных, в состав которых они входят (*air*, *sugar*, *hatred*, *measles*, *Athens* и др.). Иными словами, нейтрализация морфемного противопоставления обуславливается окружением, как и нейтрализация фонемного противопоставления. Различие между ними заключается лишь в том, что нейтрализация морфемного противопоставления происходит в окружении значимых элементов, т. е. элементов, наделенных определенным значением, в то время как нейтрализация фонемного противопоставления обуславливается положением по отношению к элементам, не имеющим своего значения. Следовательно, общей чертой, характеризующей нейтрализацию морфемного противопоставления и нейтрализацию фонемного противопоставления, является ее синтагматический характер.

Возможны грамматические категории не только с двумя, но и с боль-

⁵ Кантино считает возможным выделять комбинаторные или факультативные варианты морфемы только при условии, если они родственны по форме (фонетически сходны). См. там же, стр. 18, 22.

⁶ О роли внешнего сходства или различия лингвистических элементов при определении их принадлежности к той или иной функциональной единице см. А. М. Мухин, Функциональные лингвистические единицы и методы структурного анализа языка, ВЯ, 1961, 1, стр. 84, 86, 92.

⁷ См.: L. Hjelmslev, Note sur les oppositions supprimables, TCLP, VIII, 1939, стр. 54—55; ег о ж е, Прологомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 343 и сл.

шим числом противостоящих друг другу морфем. В некоторых славянских (словенском, серболужицком) и других индоевропейских языках (например, литовском) категория числа включает, кроме морфем ед. и мн. числа, еще третью морфему — дв. числа. Примером нейтрализуемой морфемной оппозиции, состоящей из трех членов, может служить категория степеней сравнения прилагательных в русском и многих других языках (*строгий — строже — строжайший* и т. д.): в положении после корневых морфем (и словообразовательного адъективного суффикса) многочисленных прилагательных, «обозначающих качество как признак относительный, т. е. выводимый из отношения к предмету, обстоятельству или действию»⁸, противопоставление по степеням сравнения нейтрализуется, причем в позиции нейтрализации выступает член, совпадающий с морфемой положительной степени (ср., с одной стороны, *вкусный — вкуснее — вкуснейший, вредный — вреднее — вреднейший* и т. п.; с другой — *железный, каменный, водный, ружейный, газетный* и т. п.). Противопоставление морфем по категории степеней сравнения нейтрализуется также в положении после корневых морфем некоторых прилагательных, обозначающих качество непосредственно, не через отношение к предмету, обстоятельству или действию: *босой, глухой, слепой, голый или нагой, немой, голостой* и др.⁹

Из сказанного можно сделать вывод, что нейтрализуемым оппозициям фонем в области морфологических явлений соответствуют морфологические (морфемные) категории с двумя или более рядами функционально тождественных морфологических элементов (вариантов двух или более морфем). Нейтрализация смысловозначительного противопоставления морфем свидетельствует о наличии особенно тесной связи между противопоставляемыми функциональными единицами (членами одной и той же категории), подобной той, которую отмечает С. Лампаш применительно к членам нейтрализуемой оппозиции в фонологии¹⁰. В основе этой связи лежит тот факт, что члены нейтрализуемой оппозиции различаются только одним парадигматическим дифференциальным признаком — семантическим в случае морфемной оппозиции (дифференциация по количеству в категории числа существительных и по степени проявления качества или свойства в категории степеней сравнения прилагательных) и фонетическим в случае фонемной оппозиции (ср., например, дифференциацию по звонкости между фонемами *t* и *d*).

Как известно, в фонологии выделение нейтрализуемых оппозиций связано с классификацией фонемных оппозиций на одномерные и многомерные, из которых только первые могут нейтрализоваться (хотя и не обязательно нейтрализуются¹¹). Основанием для выделения одномерных и многомерных оппозиций служит учет общих для членов данной оппозиции признаков. Если эти признаки оказываются общими только для членов данной оппозиции, то последняя является одномерной. Если же эти общие признаки в их совокупности распространяются также и на другие члены той же системы оппозиций, то данная оппозиция является многомерной¹². При нейтрализации морфемного противопоставления представляется возможным выделить в каждом случае по крайней мере один общий для членов оппозиции семантический признак (т. е. признак, определяемый в парадигматическом плане), который не свойствен другим морфемам: в одном случае (категория числа существительных в английском языке) этим общим признаком морфем ед. и мн. числа является

⁸ В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 184.

⁹ См. «Грамматика русского языка», I, М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 288—289.

¹⁰ См. S. L a m p a s h, Remarques sur la neutralisation des oppositions grammaticales, TIL, стр. 185. Трубецкой указывает на близкое родство членов нейтрализуемой оппозиции (см. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 87, 93, 94).

¹¹ См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 88.

¹² См. там же, стр. 75.

указание на предметность понятия, представление о котором дает корневая морфема, способная выступать также в составе слов, обозначающих не-предметы (ср. *boyish* «мальчишеский», *to sip* «принимать чашевидную форму», *rosy* «розовый» и т. д.); в другом случае (категория степеней сравнения прилагательных в русском языке) этим общим признаком служит указание на проявление качества предмета, представление о котором дает корневая морфема, способная выступать также в составе слов, обозначающих не-качество (ср. *вкус*, *вкусить*; *вред*, *вредить* и другие существительные и глаголы, связанные общностью корня с соответствующими прилагательными: *вкусный*, *средний* и др.). Поскольку общий для членов оппозиции признак не распространяется на другие морфемы, каждая из данных морфемных оппозиций является одномерной.

Дальнейший анализ морфемных оппозиций (выходящий за рамки задач, поставленных в настоящей работе) приводит к выделению среди них: по их отношению к системе оппозиций в целом — пропорциональных и изолированных, по отношению между членами оппозиций — привативных, градуальных (ступенчатых) и эквиолентных (равнозначных)¹³. Например, оппозицию морфем единственного и множественного числа в составе существительных английского языка, по-видимому, следует рассматривать как пропорциональную (ср. соответствующее противопоставление морфем числа глаголов) и привативную (единичность — неединичность обозначаемых предметов; ср. звонкость — незвонкость, т. е. глухость фонем *d* и *t*).

Не все морфемные оппозиции, образующие морфологические (морфемные) категории, способны к нейтрализации. Явление нейтрализации служит своего рода ключом к пониманию природы морфологических категорий, позволяя обнаружить их разнородность — наличие среди них многомерных (ненейтрализуемых) и одномерных (способных к нейтрализации) оппозиций. Оно помогает также осознать различие между морфологией с ее элементарными единицами, определяемыми при помощи внешнего критерия (фонетического сходства), и морфемикой (как одним из разделов структурной лингвистики), элементарными единицами которой служат функциональные понятия — морфемы, объединяющие функционально тождественные морфологические элементы независимо от наличия внешнего сходства между ними. В качестве критериев таких функциональных единиц используются признаки, выделяемые в обоих структурных планах языка — парадигматическом (семантические признаки) и синтагматическом (сочетаемость или дистрибутивные признаки). Одним из существенных понятий морфологии является понятие омонимии или омофонии, соответствующим же по важности понятием морфемики служит понятие нейтрализации смыслоразличительного противопоставления. Следовательно, различие в подходе к выделению единиц предопределяет различие в основных понятиях, с которыми приходится иметь дело морфологии и морфемике.

Для того чтобы раскрыть явление нейтрализации в сфере с и н т а к с и ч е с к о й с т р у к т у р ы, необходимо опираться на понятие функциональной синтаксической единицы¹⁴. Показательно, что проведенное автором этих строк исследование функционально-структурных связей родительного падежа существительных в древнеанглийском языке, позволившее выделить функциональную синтаксическую единицу, названную синтаксемой, само по себе с неизбежностью выдвинуло проблему нейтрализации смыслоразличительного противопоставления, без решения

¹³ Ср. Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, стр. 77—85, а также: N. T r u b e t z k o y, Essai d'une théorie des oppositions phonologiques, «Journ. de psychologie normale et pathologique», XXXIII, 1936.

¹⁴ См. по этому поводу: А. М. М у х и н, Функциональные лингвистические единицы..., стр. 91 и сл.; е г о ж е, Синтаксема как функциональная синтаксическая единица (о методе структурного анализа синтаксических элементов), «Научн. доклады высшей школы. Филол. науки», 1961, 3.

которой структурный анализ синтаксических элементов не мог быть сколько-нибудь удовлетворительным и непротиворечивым.

В позиции приглагольного дополнения в древнеанглийском языке родительный падеж существительного противопоставляется винительному падежу, причем смысловозначительная дифференциация между ними проходит по линии противопоставления неопределенного по своему объему объекта действия определенному объекту: *wæpna, drencas onfon* «оружия, питья достать» — *wæpn, calic onfon* «оружие, чашу достать»; *(ge)unnan fæs landes, fostres, goldes, godes* «дать земли, пищи, золота, добра» — *(ge)unnan fæt land, sweord, hors, tu hors* «дать (ту) землю, меч, лошадь, две лошади», и т. п.

Как явствует из приведенных примеров, существительные в родительном падеже указывают на неопределенное в своем объеме или совокупности вещество, отвлеченное понятие или множество предметов, на которые направлено действие, обозначенное глаголом (опорным элементом синтагмы), в то время как существительные в винительном падеже указывают на определенные единичные предметы, вещество или понятие в определенной его данности или определенное в своих границах множество предметов, являющихся объектами того же действия. Однако противопоставление неопределенного и определенного объектов действия осуществляется в позиции приглагольного дополнения не только посредством родительного и винительного падежей существительных, но и при помощи функционально эквивалентных им синтаксических элементов, способных указывать на те же объекты действия, что и существительные в родительном и винительном падежах. При этом эквивалентами род. падежа существительных служат: род. падеж так называемых местоимений 3-го лица — указательных, неопределенных, вопросительных, относительных местоимений и некоторые другие синтаксические элементы, тогда как в качестве эквивалентов вин. падежа существительных, кроме соответствующих форм указанных местоимений, выступают еще личные местоимения 1-го и 2-го лица в вин. падеже (при повествовании от 1-го лица, в прямой речи), которым свойственно обозначать только определенные объекты действий.

Указанные два противостоящих друг другу ряда функционально тождественных синтаксических элементов различаются одним семантическим признаком, т. е. признаком, определяемым в парадигматическом плане, а именно противопоставлением определенности — неопределенности объема обозначаемого объекта действия. Однако они имеют и общий семантический признак, в одинаковой мере присущий тем и другим элементам, каковым является указание на объект действия, обозначенного глаголом. Наряду с общностью этого семантического признака следует отметить также общность их признаков, определяемых в синтагматическом плане, т. е. дистрибутивных признаков, а именно одинаковую для тех и других сочетаемость с синтаксическими элементами и конструкциями (с местоименными формами и артиклем, уточняющими предметную отнесенность существительного, с именем существительным, которое может быть управляемым словом или приложением, с придаточным определительным и с придаточным дополнительным предложениями, с прилагательным или числительным), а также местоположение в синтагме (возможность препозитивного и постпозитивного использования и дистантного положения по отношению к опорному элементу синтагмы).

Сопоставляя рассматриваемые ряды синтаксических элементов с рядами морфологических элементов, образующих такие морфологические категории, как категория числа существительных в современном английском языке и т. п., нетрудно убедиться в их принципиальном сходстве: в обоих случаях мы имеем дело с рядами функционально тождественных лингвистических элементов, выделяемых при помощи двух родов признаков — семантических (парадигматический план) и дистрибутивных (синтагматический план). Различие между ними заключается лишь в том, что

морфологические элементы, выделяемые в составе слова, образуют морфологические категории; синтаксические же элементы, выделяемые в составе синтагмы (синтаксической конструкции), образуют синтаксические категории. В данном случае два противостоящих друг другу ряда синтаксических элементов образуют синтаксическую категорию определенности — неопределенности объекта (точнее — его объема); синтаксические элементы, составляющие эти ряды, представляют собой варианты двух функциональных синтаксических единиц — определенно-объектной и неопределенно-объектной синтаксем, каждая из которых, таким образом, объединяет, подобно морфемам или фонемам, функционально тождественные лингвистические элементы, характеризующиеся признаками в обоих структурных планах языка — парадигматическом и синтагматическом.

По отношению к системе оппозиций в целом рассматриваемая оппозиция определенно-объектной и неопределенно-объектной синтаксем в древнеанглийском языке является одномерной, так как общий для членов данной оппозиции семантический признак (указание на объект действия) не свойствен членам других оппозиций; по объему же смысловоразличительной силы она нейтрализуема.

Нейтрализация смысловоразличительного противопоставления указанных синтаксем наблюдается как в позиции дополнения, так и в атрибутивной позиции. В позиции приглагольного дополнения она обусловливается значением глаголов, управляющих родительным или винительным падежом. Здесь обнаруживаются следующие случаи:

а) в позиции нейтрализацией выступает член, совпадающий с неопределенно-объектной синтаксемой. Этот случай нейтрализации имеет место при глаголах со значением желанья, стремления, просьбы, ожидания (*gitsian* «жаждать, домогаться», *tilian* «стремиться, жаждать», *neosan*, *neosian* «искать, узнавать» и др.), лишения, удаления (*ofteon*, *beniman*, *berefan*, *bescerian* «лишать, отнимать») и некоторых других глаголах, которые управляют родительным падежом независимо от характера (определенности — неопределенности) объекта действия: *gitsian fæs welan*, *fofres*, *goda* «жаждать богатства, пищи, благополучия»; *ofteon æghwæs*, *hrægles*, *moses* «отнять все, одежду, пищу» и т. д.;

б) в позиции нейтрализации выступает член, совпадающий с определенно-объектной синтаксемой (винительный падеж существительного и местоимения); этот случай представлен наибольшим количеством примеров (при глаголах *lufian* «любить», *findan* «находить» и многих других): *lufian gilp*, *feoh*, *fone monn*, *hine* «любить славу, деньги, того человека, его» и т. д.;

в) наконец, в позиции дополнения при целом ряде глаголов возможно употребление как винительного, так и родительного падежа существительных и местоимений, лишенных здесь смысловоразличительной функции, характерной для вариантов определенно-объектной и неопределенно-объектной синтаксем, т. е. обозначающих вообще объект действия, недифференцированный в отношении его объема, ср. (вин. пад.) *costian fone monn*, *hine*, *me*, *us*; (род. пад.) *costian fæs monnes*, *his*, *min*, *ure* «искушать этого человека, его, меня, нас» и т. п.

Следовательно, в позиции приглагольного дополнения в древнеанглийском языке имеют место три возможных случая нейтрализации (по признаку совпадения члена, выступающего в позиции нейтрализации, с тем или другим членом нейтрализуемой оппозиции). Здесь совершенно отчетливо проявляется контекстная обусловленность нейтрализации, а именно воздействие лексического значения синтаксических элементов, составляющих непосредственное окружение анализируемых элементов. Синтаксемную нейтрализацию этого типа можно охарактеризовать как лексически обусловленную (обусловленную лексическим контекстом).

Что касается нейтрализации смысловоразличительного противопоставления неопределенно-объектной и определенно-объектной синтаксем в

атрибутивной позиции, то здесь она не обусловлена лексическим значением опорного элемента синтагмы, каковым служит имя существительное: в атрибутивной позиции постоянно употребляются родительный падеж существительного и его местоименные эквиваленты (т. е. синтаксические элементы, совпадающие с вариантами неопределенно-объектной синтаксемы) независимо от лексических значений существительных (опорных элементов синтагм): *onfangennes feos* «получение денег», *onfengnes geleafan* «принятие веры», *ƿeofes onfeng* «захват (поймка) вора» и т. д.

Фактором, обуславливающим нейтрализацию синтаксемной оппозиции по признаку неопределенности — определенности объема объекта действия в атрибутивной позиции, является положение по отношению к синтаксическому элементу — имени существительному (опорному элементу синтагмы), структурно отличному от глагола. В силу этого нейтрализацию этого типа, в отличие от лексически обусловленной, можно назвать структурно обусловленной. Однако общим для обоих типов нейтрализации синтаксемной оппозиции, сопоставимых в некоторой мере с двумя типами нейтрализации фонемных оппозиций, выделяемыми Трубецким (обусловленная контекстом и обусловленная структурой¹⁵), является их синтагматический характер.

Нейтрализация смыслообразительного противопоставления неопределенно-объектной и определенно-объектной синтаксем наблюдается во многих других индоевропейских языках, в частности русском, для которого характерно вообще противопоставление род. и вин. падежей существительных по признаку неопределенности — определенности объема обозначаемого объекта действия, особенно при переходных глаголах совершенного вида¹⁶: *купить, выпить молока — купить, выпить молоко; плеснуть воды — плеснуть (всю) воду; привезти книг — привезти книгу, книги; достать, прислать денег — достать, прислать (требуемые) деньги; поджарить рыбы — поджарить рыбу* и т. п.

В отличие от членов предложения синтаксемы объединяют только те синтаксические элементы, которые несут тождественную смыслообразительную функцию. При этом внешнее сходство или различие синтаксических элементов не имеет существенного значения. Критериями здесь служат функционально-структурные признаки, выявляемые в обоих структурных планах языка. В плане парадигматическом критерием является семантический признак, благодаря которому данная синтаксема противопоставляется другой или другим синтаксемам; в плане синтагматическом соответствующую роль играют сочетаемость и местоположение синтаксических элементов.

При всей своей специфике, обусловленной синтаксической природой как ее самой, так и ее окружения, синтаксема в принципе сопоставима с функциональными единицами других уровней языковой структуры, объединяющими, подобно ей, лингвистические элементы, тождественные по смыслообразительной функции и имеющие признаки в обоих структурных планах языка. Об этом параллелизме функциональных лингвистических единиц разных уровней языковой структуры свидетельствует явление нейтрализации фонемного, морфемного и синтаксемного противопоставления.

*

Рассматривая нейтрализацию морфемных и синтаксемных оппозиций, мы до сих пор обходили вопрос о том, что же представляет собой член, выступающий в позиции нейтрализации. Как известно, нейтрализация фонемных противопоставлений в фонологии послужила поводом для выделения единицы более высокого порядка, чем фонема, — архифонемы,

¹⁵ См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 257.

¹⁶ См. по этому поводу: А. М. Кузнецова, К вопросу о глагольной переходности и значении так называемого родительного разделительного, «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 158. Кафедра русск. языка, 1960.

которая объединяет члены нейтрализуемой оппозиции с членом, выступающим в позиции нейтрализации. Следовательно, последний является здесь не самодовлеющей сущностью, но представителем особой единицы — архифонемы.

Выделение архифонемы стало возможным благодаря дифференцированному учету, с одной стороны, признаков, отличающих члены оппозиции друг от друга, и, с другой стороны, признаков, в одинаковой мере присущих членам данной оппозиции (основание для сравнения), но отличающих их от других членов той же системы. В позиции нейтрализации специфический дифференциальный признак членов оппозиции утрачивает свою релевантность (например, глухость фонемы *t* в исходе слов немецкого или русского языка); релевантными (различительными) остаются здесь лишь признаки, общие для членов данной оппозиции (неназальность, дензальность, смычность), которые в своей совокупности не свойственны другим фонемам¹⁷. Эта общность признаков, объединяющая члены нейтрализуемой оппозиции с членом, который выступает в позиции нейтрализации, и легла в основу архифонемы.

Изучение нейтрализуемых морфемных и синтаксемных оппозиций также подводит к постановке вопроса об единицах более высокого порядка, чем морфемы и синтаксемы. Дифференциальный семантический признак членов нейтрализуемой оппозиции утрачивает свою релевантность в позиции нейтрализации (единичность — множественность, различие в степени проявления качества или свойства предмета, определенность — неопределенность объема объекта действия); единственно релевантным остается здесь тот семантический признак (или совокупность признаков), который является общим для членов данной оппозиции (основание для сравнения) и который отличает их от других членов той же системы оппозиций. При этом, кроме общего семантического признака (признаков), определяемого в плане парадигматическом, члены нейтрализуемой оппозиции и член, выступающий в позиции нейтрализации, имеют общий признак (признаки) и в другом структурном плане — синтагматическом [ср. синтагматические свойства морфем ед. и мн. числа существительных в современном английском языке, неопределенно-объектной и определенно-объектной синтаксем в древнеанглийском языке, которые (свойства) присущи также члену, выступающему в позиции нейтрализации]. Наличие у них общих признаков, как парадигматических, так и синтагматических, служит само по себе достаточным основанием для объединения их в одной сущности, единице более высокого порядка, чем морфема или синтаксема, которую можно назвать соответственно *а р х и м о р ф е м о й* и *а р х и с и н т а к с е м о й*. Таким образом, противостоящие друг другу морфемы числа существительных в современном английском языке образуют архиморфему, которая в позиции нейтрализации представлена членом, совпадающим в одном случае — с морфемой ед. числа, в другом — с морфемой мн. числа, в третьем — с той и другой. Трехморфемная оппозиция по категории степеней сравнения прилагательных в русском языке образует архиморфему, которая в позиции нейтрализации может быть представлена только морфемой, совпадающей с «крайним» членом данной градуальной оппозиции, указывающим на минимальную степень проявления качества, т. е. с морфемой положительной степени¹⁸; оппозиция неопределенно-объектной и определенно-объектной синтаксем в древнеанглийском и русском языках образует архисинтаксема, которая в позиции нейтрализации представлена членом, совпадающим в одном случае — с неопределенно-объектной, в другом — с определенно-объектной синтаксемой, в третьем — с той и другой (см. выше).

Как явствует из сказанного, архиморфемы и архисинтаксемы, представляя собой высшие единицы по отношению к морфемам и синтаксемам,

¹⁷ См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 88.

¹⁸ См. там же, стр. 90—91.

выделяются вместе с тем на основании признаков того же рода, что и указанные элементарные функциональные единицы, т. е. на основании признаков, выявляемых в обоих структурных планах языка. Из них ведущую роль играют парадигматические признаки, которые в одинаковой мере дифференцируют функциональные лингвистические единицы в разных языках. У архиморфем и архисинтаксем эти парадигматические признаки имеют семантический характер, у архифонем же — фонетический (акустический и артикуляторный). Что касается синтагматических признаков, то они обладают неодинаковой дифференцирующей силой в разных языках и на разных уровнях языковой структуры (ср., с одной стороны, типичные агглютинативные языки с их сложной позиционной структурой на морфологическом уровне, с другой — типичные флективные языки с их ограниченными комбинациями морфем), что, однако, не должно приводить к их игнорированию: они наряду с парадигматическими признаками сигнализируют о специфике анализируемых структурных элементов.

*

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что исследование явления нейтрализации на разных уровнях языковой структуры неотделимо от разработки вопроса о функциональных лингвистических единицах. Оно дает возможность установить иерархию функциональных единиц в пределах каждого уровня и параллелизм функциональных единиц разных уровней языковой структуры. Применительно к этим единицам становится оправданным термин изоморфизм, введенный в последнее время в лингвистику, если понимать под ним параллелизм или однотипность структуры языковых единиц различных уровней¹⁹. Характерной особенностью фонем, морфем и синтаксем как функциональных единиц является то, что они объединяют функционально тождественные, т. е. несущие тождественную смысловозначительную функцию элементы соответствующего уровня языковой структуры, имея в качестве критериев признаки, определяемые в парадигматическом и синтагматическом планах языка.

Применительно к фонемам парадигматические признаки формулируются в терминах фонетических (акустических или артикуляторных) особенностей, поскольку фонемы сами по себе лишены значения, не обозначая каких-либо явлений или отношений реальной действительности. У функциональных же единиц других уровней языковой структуры парадигматические признаки имеют семантический характер, поскольку эти единицы являются носителями определенных значений, обозначая отношения или явления реальной действительности. Однако при этом различии характера парадигматических признаков функциональных единиц разных уровней языковой структуры им свойственно то общее, что все они служат целям смысловозначения: устранение того или иного парадигматического релевантного признака непосредственным образом сказывается на смысловозначительной функции фонемы, морфемы или синтаксемы в составе соответствующих речевых отрезков, как об этом свидетельствует явление нейтрализации смысловозначительного противопоставления, сущность которого как раз и заключается в устранении парадигматического дифференциального признака членов нейтрализуемой одномерной оппозиции.

Структурный параллелизм единиц предопределяет единство метода функционально-структурного анализа языковых элементов, который, как это явствует из вышеизложенного, вовсе не исключает учета специфики функциональных лингвистических единиц и связанного с ними явления нейтрализации на каждом уровне языковой структуры. Этот метод структурной (функционально-структурной) лингвистики, предусматривающий выявление весторонних связей лингвистических элементов, дает возможность определить качественное своеобразие структуры каждого языка в ее сопоставлении со структурами других языков и тем самым подводит фундамент под структурную типологию языков.

¹⁹ См. Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 6.

С. И. БЕРНШТЕЙН

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОНОЛОГИИ

От автора. Печатаемая ниже статья представляет собой тезисы к докладу, подготовленные к Всероссийской конференции по языкознанию и русскому языку и написанные в 1936—1937 гг. Они явились итогом 25-летней эволюции моих взглядов на фонему. В 1912—13 учебном году, студентом третьего курса Петербургского университета, я прослушал у основоположника фонологии («психофонологии») — в его терминологии) И. А. Бодуэна де Куртене курс введения в языковедение, значительная часть которого была посвящена теории фонем и фонетических чередований. Вслед за тем я начал заниматься фонетикой у Л. В. Щербы, автора незадолго до того вышедшего труда «Русские гласные в качественном и количественном отношении» — труда, который вскоре занял видное место в мировой науке, благодаря тому что в нем впервые было выдвинуто словоразличение как характерный признак фонемы.

Не буду подробно говорить о том, что всем нам, ученикам Бодуэна де Куртене, включая и Л. В. Щербу, впоследствии пришлось преодолевать психологизм, привитый нам учителем и находивший поддержку в общем направлении разработок гуманитарных наук, особенно же в Петербургском университете, в тот период, когда складывалось у нас мировоззрение. К моменту, когда писались эти «Тезисы», борьба с психологизмом и соответствующая перестройка фонологических концепций были уже пройденным этапом¹. Здесь важно отметить, что с самого начала занятий у Л. В. Щербы у меня возникло коренное разногласие с моим учителем по вопросу о фонеме, сохранившееся и впоследствии.

Меня не удовлетворяли некоторые существенные положения его фонологической теории — те самые, которые служили предметом критики в научной литературе со стороны Б. П. Кипермана, А. И. Томсона (который, впрочем, вообще отрицал методологическую ценность понятия фонемы), позже — С. М. Доброгаева и др. Это 1) утверждение, что фонема есть «совершенно конкретное» «типовое» — и лишь постольку общее — звуковое представление; 2) бодуэновская, принятая и Щербой, концепция «несовпадения исполнения с произносительным намерением»; 3) отождествление фонемы с ее основным оттенком — в сущности, терминологический порок теории, создавший тем не менее большую путаницу в умах и оказавший отрицательное влияние и на фонологическую литературу. Все эти положения, конечно, тесно связаны между собой. В последнее из них Л. В. Щерба позже (в «Фонетике французского языка», 1937) внес существенное ограничение, но понимая фонему как «звукового типа» он сохранил до конца.

Во второй половине 20-х — начале 30-х годов группа молодых московских лингвистов, называвшая себя «новомосковской школой» (в отличие от «московской школы языкознания» — школы Ф. Ф. Фортунатова)², создала самостоятельную фонологическую теорию на базе основных фонологических трудов Бодуэна де Куртене («Некоторые отделы „сравнительной грамматики“ славянских языков», 1881 и «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen», 1895) и «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Влияния со стороны учения Щербы в этой теории не наблюдается, если не считать смысловых различия как основного признака фонемы. Во всем остальном в этом фонологическом построении обнаруживается расхождение с учением Щербы — прежде всего расхождение по вопросу о степени абстракции фонемы от материального звучания и, следовательно, об объеме фонемы как фонетической единицы языка. Так, в слове *мороз* конечная фонема, с точки зрения Щербы — *с*, чередующаяся с фонемой *з* в других формах этого слова; с точки зрения «новомосковской школы» — это фонема

¹ Ср. изложение вопроса о фонеме у Л. В. Щербы во «Введении» к кн.: «Русские гласные в качественном и количественном отношении» (СПб., 1912) и в «Фонетике французского языка» (Л.—М., 1937, §§ 14—20); мои высказывания о фонеме — в статье 1923 года «Стих и декламация» (сб. «Русская речь», под ред. Л. В. Щербы, Новая серия, I, Л., 1927, стр. 19—20, 22—24, 39) и в брошюре «Вопросы обучения произношению» (М., 1937, гл. IV). Существенную роль в пересмотре психологистических взглядов на фонему сыграли замечания Н. Ф. Яковлева в его работе «Таблицы фонетики кабардинского языка» (М., 1923, стр. 64—68).

² В состав этой группы входили Р. И. Анансов, В. Н. Сидоров, А. М. Сухотин, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский. К их взглядам близка и фонологическая концепция Н. Ф. Яковлева, разработавшего эти вопросы с начала 20-х годов.

а в своей разновидности с. Другими словами, представители этого учения считают, что все звуки, связанные живым позиционным чередованием в морфеме, принадлежат к составу одной фонемы; что живые позиционные чередования возможны только в пределах фонемы — между ее вариантами («разновидностями», «модификациями»), а фонемы между собой в живые позиционные чередования не вступают. Следовательно, эти чередования, с излагаемой точки зрения, не затрагивают фонемного состава морфем. Наконец, с этим связана возможность совпадения разных фонем в одном материальном звуке: с, которое в слове *мороз* является разновидностью фонемы а, в других позиционных условиях, например в слове *сон*, выступает как «основной вид» фонемы с; один и тот же безударный гласный в слове *травя* является разновидностью фонемы а (ср. *травы*), а в слове *вода* — разновидностью фонемы о (ср. *воды*), тогда как Щерба в обоих случаях признавал фонему а. Все это соответствует концепции Бодуэна в названных трудах³ и расходитя с учением Щербы⁴.

В середине 30-х годов, переехав из Ленинграда в Москву, я встретился с представителями «новомосковской школы» и ознакомился с их теорией в устном изложении авторов (в то время она еще не была опубликована) — и в жарких спорах, потому что мой взгляд по фонему носил еще в значительной мере щербанский характер. Я усматривал в построении моих московских коллег разрыв между звуковой материей и ее функцией; меня не удовлетворяло в их системе фонем отсутствие прямого отражения звукового состава слов (что, между прочим, затрудняет использование теории фонем в преподавании практической фонетики иностранных языков). Кроме того, я считал, что представители «новомосковской школы» напрасно затуманивают понятие позиционного чередования и не указывают с достаточной определенностью, что фонема представляет собой альтернативный ряд. Они, в свою очередь, упрекали меня в непоследовательном проведении функциональной точки зрения и в смешении фонемы со звуком.

Эти споры побудили меня вновь задуматься над вопросом о фонеме. И вот, опираясь на названные выше труды Бодуэна де Куртена, я пришел к заключению, что теории Щербы и «новомосковской школы» по сути дела не исключают, а дополняют друг друга; что «новомосковская» фонема представляет собой обобщение фонемы Щербы; что обе эти фонемы (к которым я присоединил еще и третью, опирающуюся на исторические чередования) являются последовательными ступенями системы фонологических единиц, восходящих по степени абстракции от звуковой материи и по объему, так что членами фонемы 2-й степени служат фонемы 1-й степени, а членами фонемы 3-й степени — фонемы 2-й степени. Опорную точку для синтеза трех фонем в едином, более широком построении я нашел у Бодуэна, который в «Некоторых отделах „сравнительной грамматики“ славянских языков» указывал, что «может случиться потребность обобщения известных фонем в фонемы более общие, в фонемы высшего порядка»⁵.

Моя попытка синтеза двух фонологических концепций создателями обеих синтезируемых теорий была принята в штыки. Ни ту, ни другую сторону не удовлетворял плюрализм в определении фонемы — замена единой «фонемы» системой фонологических единиц. Л. В. Щерба, приняв участие в обсуждении моего доклада, резко критиковал и меня, и «новомосковскую школу». Что же касается моих московских оппонентов, то возможно, что сейчас некоторые из них отнеслись бы к изложенной мною концепции более терпимо. В недавних фонологических работах Р. И. Аванесова⁶ я нахожу моменты, сближающие наши точки зрения, хотя и разделенные двадцатилетним промежутком.

Осенью 1936 г. я, по предложению Р. И. Аванесова, пришлось составлять тезисы доклада для намечавшейся Наркомпросом республиканской конференции по языкознанию и так увлекся этой работой, что представленные мною «Тезисы» могли бы быть доложены только в сильно сокращенном виде. Но конференция не состоялась, и мои «Тезисы», размноженные в трех экземплярах, превратились в архивную «единицу хранения».

В содержании их отмечу, в добавление к сказанному, еще два существенных момента: во-первых, понятие «фонемодов» как дополнение главным образом к понятию фонемы 2-й степени; в совокупности то и другое представляет собой попытку истолкования в плане построенной системы разных случаев совпадения двух фонем в одном звуке; во-вторых, анализ отношения фонологических единиц трех степеней к знаменательным единицам языка и в связи с этим установление трех параллельных систем: 1) фонетических чередований, 2) фонем и 3) знаменательных единиц (морфем, слов, лексических гнезд). Не скрою, что моя разработка последнего вопроса, для которой мне не удалось найти опорные точки в фонологической литературе, меня не вполне удовлетворила: параллелизм в отношении последнего звена — лексикологических единиц — оказался неполным.

³ Существенное различие в понимании фонемы в этих двух трудах Бодуэна указанных вопросов не затрагивает.

⁴ Л. В. Щерба сам указал, что в вопросе об объеме фонемы он отступил от учения Бодуэна де Куртена («Русские гласные...», стр. 19).

⁵ РФВ. V, 2, 1881, стр. 336.

⁶ См.: Р. И. А в а н е с о в, Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955; е г о ж е, О трех типах лингвистических транскрипций, «Slavia», XXV, 3, 1956.

Теперь, подготавливая «Тезисы» к печати, я, не прибавляя никаких новых принципиальных положений и воздерживаясь от модернизации, хотя бы терминологической⁷, уточнил формулировки, несколько увеличил количество примеров, сделал кое-какие перестановки и сокращения и снабдил «Тезисы» примечаниями, содержащими пояснения отдельных положений и указания на источники. Для читателя будет ясно, что основным источником построения послужили для меня труды И. А. Бодуэна де Куртенэ в первую очередь и Л. В. Щербы — во вторую. В значительно меньшей степени я использовал «Курс общего языкознания» Ф. де Соссюра и первые выпуски «Трудов Пражского лингвистического кружка»⁸. Едва ли есть необходимость в специальной оговорке о том, что ко всем этим источникам я отнесся с надлежащей критичностью и, в частности, воспользовался той критикой учений Бодуэна и Щербы, какая имела в литературе (главным образом в работах Б. П. Китермана, А. И. Томсона, Н. Ф. Яковлева).

Хотя я привожу в «Тезисах» примеры из нескольких языков, упоминаю даже группы языков, — в основном я опирался на материал русского языка. Наш язык обладает богатой системой живых позиционных чередований и потому дает богатый материал для построения фонологической теории. Возможно, что система, построенная на материале другого, например французского или финского языка, не говоря уже о языках, более далеких по своему строю от русского, — во многом выглядела бы иначе.

В заключение замечу, что, печатая эту работу с 25-летним опозданием, я полагаю, что она может представить некоторый интерес для характеристики определенного периода в развитии русской фонологии — периода, предшествующего даже появлению классического труда Н. С. Трубецкого, не говоря уже о позднейшей фонологической литературе.

⁷ Я мог бы, например, с пользой применить новый термин «словоформа», а три ступени градации мог бы рассматривать как три «уровня».

⁸ Некоторые (отнюдь не исчерпывающие) указания на источники приведены частью в самих «Тезисах», частью в примечаниях к ним. Здесь добавлю (опять-таки не претендуя на полноту перечня), что к учению Бодуэна де Куртенэ, полностью или частично, нередко в других формулировках и при другой терминологии, восходят §§ 1—5, 7, 11—13, 15—18, 21—26, 29; к учению Щербы, с теми же оговорками, — §§ 1, 5, 16, 20, 24, 26—29, 35, 37—38, 46; к де Соссюру и TCLP — в той или иной мере §§ 1, 4, 5, 29.

*

1. Звуковая структура языка, составляющая объект изучения фонетики, исследуется с двух точек зрения: со стороны материальных (произносительно-акустико-слуховых, т. е. физиологических и акустических) свойств и со стороны социальной функции. Первая точка зрения определяется как антропофоническая¹, вторая — как фонологическая². Антропофоника и фонология взаимно обусловлены и образуют единую научную дисциплину (концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ в депсихологизированном изложении). Взаимное противопоставление «фонологии» и «фонетики», понимаемой в смысле антропофоники, как двух различных дисциплин (концепция Пражского лингвистического кружка и, при другой терминологии, Ф. де Соссюра) методологически неприемлемо, так как оно создает разрыв между изучением звуковой материи языка и изучением ее социальной функции.

2. Различение антропофонической (материальной) и фонологической (функциональной) точек зрения необходимо потому, что материальная сторона фонетических элементов языка и их функциональная сторона, как установил И. А. Бодуэн де Куртенэ, не вполне параллельны: неодинаковые произносительно-акустико-слуховые образования оказываются в известной мере тождественными с функциональной точки зрения (например, в русском языке *э* широкое и *э* узкое); одинаковые произносительно-акустико-слуховые образования могут различаться функционально (например, конечное *т* в русских словах *рот* и *род*).

3. Несоответствия между материальными и функциональными свойствами фонетических элементов языка зависят от фонетических (комбинаторных, иначе — позиционных) или же от фоне-

¹ В таком значении употреблял этот термин И. А. Бодуэн де Куртенэ.

² Такое значение сообщено термину «фонология» Пражским лингвистическим кружком.

т и к о - м о р ф о л о г и ч е с к и х у с л о в и й ³, в которых находится данный звуковой элемент в том или ином конкретном случае. Исходным понятием фонологии является понятие фонетического чередования, иначе — фонетической альтернации, т. е. происходящей в данном языке или диалекте на данном этапе его исторического развития закономерной мены звуков в морфеме при словоизменении и словообразовании. (Точное определение фонетического чередования см. в § 13.) Примеры позиционных условий: положение согласного перед мягким согласным, перед огублённым гласным, после гласного заднего образования (в немецком *ç/x*); положение гласного между мягкими согласными, перед звонким щелевым согласным (во французском «*sonnes allongantes*»), в слоге, непосредственно предшествующем слогу с редуцированным гласным (во французском «немое *e*»), в ударном слоге, в конечном открытом слоге. Пример фонетико-морфологических условий: положение согласного в конце корня глагола в определенных грамматических формах и разрядах производных слов (в русском языке к ||| ч, т ||| ч ||| щ⁴ и т. п.: *пек-у — печ-ешь, . . . , печь-ь; свет-ить — свеч-у, свеч-а; освещ-у, освещ-ённый, освещ-ение*).

4. Фонологическими единицами языка — ф о н е м а м и в широком смысле — являются такие свойственные данному языку (или диалекту) на данном этапе его исторического развития комплексы произносительно-акустико-слуховых признаков ⁵, которые, воплощаясь в различных позиционных или фонетико-морфологических условиях в нетождественные между собой звуковые образования, при последовательном расчленении основных знаменательных единиц языка — слов и морфем — на рядоположные звуковые элементы, узнаются в качестве элементов, тождественных с точки зрения смысловой функции, т. е. роли в выражении значений, независимо от их альтернативных модификаций. Таким образом, каждая фонема представляет собой обобщение, конкретизирующееся как а л т е р н а ц и о н н ы й ряд — ряд ч л е н о в, или а л т е р н а н т о в, ф о н е м ы. В зависимости от вида чередования, лежащего в основе той или иной фонемы (см. §§ 15, 28), можно различать фонемы трех видов (трех степеней обобщенности: см. § 29). Единство и обобщенность фонемы опираются на функциональную (семантическую или морфологическую) эквивалентность альтернантов, т. е. на их взаимную исключаемость и взаимную заменяемость в определенных позиционных или фонетико-морфологических условиях (см. § 13).

5. Элементарными фонологическими единицами — ф о н е м а м и 1-й с т е п е н и — должны быть признаны такие простейшие, т. е. не разложимые на элементы того же порядка (той же степени обобщенности), соотносительные и взаимно противопоставленные комплексы произносительно-акустико-слуховых свойств ⁶, которые, допуская изолированное произнесение, способны служить в данном языке или диалекте на данном этапе его исторического развития единственным или основным (т. е.

³ Комбинаторные, или позиционные, условия иначе называются фонетическими положениями, или позициями. В сущности фонетико-морфологические условия являются тоже своего рода позициями. Было бы последовательно условия фонетического чередования во всех случаях называть комбинаторными, или позиционными (позициями), и подвергнуть их классификации, согласованной с классификацией чередований. Но такая терминология вступила бы в противоречие с общепринятой, согласно которой комбинаторными, или позиционными, называют только антропофонические условия, хотя и с включением таких, как конец или начало слова или морфемы, предупредительный слог слова, конец синтагмы (дыхательной группы).

⁴ Чередования обозначаются вертикальными черточками, поставленными между знаками чередующихся звуков. Число черточек (1, 2, 3) соответственно обозначает 1-ю, 2-ю, 3-ю степени чередования (см. §§ 28, 29).

⁵ Определение фонемы как совокупности признаков восходит непосредственно к Пражскому лингвистическому кружку, а в конечном счете — к Ф. де Соссюру.

⁶ Признак неразложимости сформулирован Пражским лингвистическим кружком, признак соотносительности и взаимной противопоставленности — Ф. де Соссюром.

не зависящим от позиционных условий) признаком для различения каких-либо пар основных знаменательных языковых единиц — морфем и слов (точнее: морфем и лексем 1-ой степени — см. § 40, п. 1, § 43, п. 1) — при последовательном расчленении их на кратчайшие рядоположные звуковые элементы⁷ (ср. определение фонемы 1-ой степени в § 29). Позиционные модификации одной и той же фонемы 1-ой степени определяются как варианты фонемы. Под возможностью изолированного произнесения определенного комплекса произносительно-акустико-слуховых признаков надо разуметь возможность его произносительного осуществления хотя и с примесью других признаков (см. § 8), но при условии, чтобы последние не входили в число таких признаков, которые в данном языке или диалекте непосредственно с е м а с и о л о г и з у ю т с я (т. е. используются для выражения и различения значений морфем и слов) или м о р ф о л о г и з у ю т с я (т. е. используются для формо- и словообразования⁸, например в русском языке более широкое или более узкое образование гласного э, более переднее или более заднее образование гласных а, о, у; в русском и многих других языках высота голоса при произнесении гласных).

6. Элементарными антропофоническими единицами языка служат звуки языка. Звук языка является произносительно-акустико-слуховое образование, применяемое в данном языке в качестве варианта той или иной фонемы 1-й степени (см. уточнение в § 48). Понятие звука языка не может быть определено иначе, как при помощи фонологических понятий. Таким образом, звуковая система того или иного языка опирается на систему его фонем и их позиционных модификаций. С другой стороны, характеристика той или иной фонемы, так же как и характеристика того или иного звука, опирается на произносительно-акустико-слуховые признаки. (Ср. § 1.)

7. Произносительно-акустико-слуховые свойства звуков исследованы далеко не исчерпывающим образом, и сумма наших знаний о них расширяется лишь постепенно и неравномерно по отношению к разным категориям звуков и разным языкам. Поэтому те системы звуков, которые излагаются в фонетике, неполны, и невозможно указать пределы их детализации в будущем. Фонетика, по необходимости, выдвигает в качестве звуков языка только такие комплексы произносительно-акустико-слуховых свойств, которые: а) физиологически допускают изолированное произнесение (см. § 5), б) в то же время подмечены в данном языке в качестве позиционных вариантов той или иной фонемы 1-й степени (см. § 6). Строго говоря, всякий звук во всякой позиции обладает специфическими позиционными особенностями и образует особый вариант фонемы, например ряд вариантов фонемы 1-й степени *n* (альтернативный ряд) образует звук *n* перед *a*, перед *э*, перед *о*, перед *у* (ср. учение И. А. Бодуэна де Куртене об эмбриональных чередованиях).

8. Каждый реально произносимый звук содержит свойства, восходящие к анатомо-физиологическим особенностям речевого аппарата говорящего лица, — например, регистр и тембр индивидуального голоса. Кроме того, произнесение звуков в связной речи колеблется в зависимости от синтаксических и эмоциональных требований; ср., например, движение высоты голоса в гласных, в русском языке также их длительность, тембральные оттенки голоса. Таким образом, абсолютной конкретностью обладает только реально произнесенный звук; те звуки, которыми оперирует

⁷ Выделение в понятии фонемы признака способности к различению значений знаменательных единиц языка восходит к И. А. Бодуэну де Куртене, который еще в 1868 г. сформулировал его применительно к фонетическим чередованиям, а впоследствии развил учение о «коррелятивах» — членах семасиологизуемых альтернатив. Первая отчетливая формулировка этого признака в самом определении фонемы принадлежит Л. В. Щербе (1911 г.).

⁸ Понятия семасиологизации и морфологизации сформулированы И. А. Бодуэном де Куртене.

фонетика, представляют собой известные абстракции — звуковые, или антропофонические категории, отличающиеся от других, более общих антропофонических категорий (таких, как гласные, согласные, взрывные согласные и т. п.) наибольшей, хотя и относительной конкретностью.

9. Сравнение звуковых систем различных языков позволяет, путем отвлечения от материально сходных звуков их общих признаков, построить антропофоническую классификацию звуков, обнимающую звуковые системы нескольких или даже всех известных нам языков. Конечно, единицы, образующие такую универсальную антропофоническую систему, представляют собой еще менее конкретные величины (более общие антропофонические категории), чем звуки, учитываемые фонетиками отдельных языков. Их можно охарактеризовать как звуки речи в противоположность звукам языка (языков). Универсальная система звуков речи служит базой для разработки наиболее целесообразной с точки зрения фонетического исследования системы антропофонических категорий.

10. В разных языках и диалектах различны как звуковые системы, так и системы фонем: те или иные произносительно-акустико-слуховые свойства, которые в одном языке способны служить единственным или основным признаком для различения слов и морфем, а следовательно, и фонем, т. е. семасиологизоваться⁹, в другом языке могут быть лишены этой функции. Не совпадают в разных языках и системы фонетических чередований: позиционные и, тем более, фонетико-морфологические условия, вызывающие определенную модификацию той или иной звуковой категории, специфичны для каждого языка. По отношению к фонемам, в параллель универсальной системе звуков речи, возможно составление перечня произносительно-акустико-слуховых признаков, служащих в разных языках для различения (взаимного противопоставления) фонем, — фонематических, иначе — семасиологизуемых признаков. По отношению к позиционным чередованиям (т. е. к произносительно-акустико-слуховым различиям, обусловленным только позицией и потому не семасиологизуемым) возможны аналогичные обобщения. Как универсальная система звуков речи, так и перечни семасиологизуемых и несемасиологизуемых антропофонических различий служат базой для сравнительного изучения фонетической (антропофонической и фонологической) структуры различных языков.

11. Простейшей знаменательной единицей языка является морфема¹⁰ — далее не расчленимое со стороны значения знаменательное звуковое образование (сочетание звуков или отдельный звук). Морфемы входят в состав языковых единиц более высокого порядка — слов (лексем; см. § 43) — и выделяются из них путем их последовательного расчленения на рядоположные знаменательные элементы. Следовательно, морфема иначе определяется как далее не расчленимый со стороны значения элемент слова.

12. В составе различных слов одна и та же морфема выступает в частично различающихся между собой звуковых формах. При этом морфема сохраняет единство, поскольку изменение ее звуковой формы подчинено определенным нормам — нормам фонетического чередования и я (иначе — альтернативы) — при сохранении одного и того же основного значения.

13. Фонетическое чередование (иначе — фонетическая альтернатива) есть отношение полной или относительной функциональной (семантической или морфологической) эквивалент-

⁹ Говоря о семасиологизации, разумею и морфологизацию — в тех случаях, где последняя не требует особого упоминания.

¹⁰ Термин, введенный в употребление И. А. Бодуэном де Куртэна.

ности (см. § 4) между двумя или несколькими звуками или более общими антропофоническими категориями данного языка (ср. § 8) — отношение, обнаруживающееся в том, что в зависимости от определенных позиционных или фонетико-морфологических условий, возникающих в словоизменении и словообразовании (а также при тесном смыкании слов во фразе), члены этого отношения (альтернанты) в любых или только в некоторых морфемах взаимно исключают друг друга и в связи с этим подлежат взаимной мене. (Оговорку о колеблющихся чередованиях, свидетельствующих о совершающихся в данном языке историко-фонетических изменениях, см. в § 26)¹¹. В качестве альтернантов могут выступать: а) отдельные звуки, б) последовательные сочетания звуков, в) отдельный звук и последовательное сочетание звуков, г) определенный звук и его отсутствие, служащее его эквивалентом вследствие закономерности чередования (фонетически н у л ь).

14. Из определения фонетического чередования (см. § 13) вытекает, что чередование, независимо от того, проявляется ли оно при наличии определенных условий в любых или только в некоторых морфемах, представляет собой норму данного языка, которая обнаруживается и вне пределов единой морфемы; ср. чередование б||п не только в парах слов *хлеп* — *хлеб-а*, *рап* — *раб-а*, но и в паре *хлеп* — *раб-а*; чередование э широкое|э узкое не только в паре *яэ-л* — *яэ-л'-и* (формы прош. времени глагола *есть*), но и в паре *яэ-л* (та же глагольная форма) — *яэл'* (существительное): чередования с||ш, з||ж не только в парах *пис-ать* — *пиш-у*, *сказ-ать* — *скаж-у*, но и в парах *пис-ать* — *пляш-у*, *низ-ать* — *скаж-у*. Чередование в пределах одной морфемы является исходной точкой для констатации чередования как языковой нормы более общего значения, но в то же время — только частным случаем этой нормы. Если бы определенная мена звуков наблюдалась только в пределах одной морфемы, определение условий чередования, а стало быть — и установление факта чередования было бы невозможно: чередование устанавливается только на основании наличия в языке определенной мены звуков в ряде случаев, сходных по позиционным или по фонетико-морфологическим условиям; другими словами — только на основании констатирования в данной мене звуков известной закономерности¹².

15. Различаются два основных вида фонетических чередований: 1) д и в е р г е н ц и и — чередования, зависящие от создающих соответствующие позиционные условия (условия, вызывающие чередование) о б щ и х п р о и з н о с и т е л ь н ы х (а н т р о п о ф о н и ч е с к и х) т е н д е н ц и й, действующих в данном языке или диалекте на данном этапе его исторического развития; 2) т р а н с ф о р м а ц и и — чередования, не зависящие от позиционных условий, лишенные связи с общими произносительными тенденциями, действующими в данном языке или диалекте на данном этапе его исторического развития и возникшие в результате фонетических процессов в предшествующих состояниях данного языка¹³.

¹¹ Трактовка фонетического чередования как отношения восходит к И. А. Бодуэну де Куртене.

¹² Сущность этого параграфа можно представить и в другом аспекте: фонетические чередования опираются на действующие в данном языке на данном этапе его исторического развития запреты употребления определенных звуков или более общих антропофонических категорий (ср. § 19) в определенных условиях — позиционных или фонетико-морфологических. Такая формулировка отчетливо выявит, что упомянутые запреты не только служат базой фонетических чередований, но и ограничивают определенными нормами фонетический состав лексики данного языка (ср., например, начальное *ф* в слове *второй*).

¹³ Классификация И. А. Бодуэна де Куртене при частично измененной номенклатуре: ср. у него «дивергенции» («живые», «неофонетические чередования») и «традиционные» («исторические», «палеофонетические») чередования. Термин «трансформация» здесь, конечно, лишен всякой связи с тем же термином в современной структуральной лингвистике.

16. Так как дивергенция является исключительно и всецело результатом действия общих произносительных тенденций, регулирующих сочетание звуков в данном языке или диалекте на данном этапе его исторического развития (см. § 15, п. 1), то дивергенции могут не замечаться говорящими и, далее, характеризуются: а) тем, что осуществляются даже в незнаменательных (произвольных) сочетаниях звуков, если это сочетания звуков определенного языка; б) во многих случаях — невозможностью для представителей данного языка без специальной тренировки произносить изолированно звуки, встречающиеся только в определенных позициях (например, в русском языке узкое *э* или *а* переднего образования), или сочетания звуков, нарушающие соответствующие альтернативные нормы (например, слово *те* с узким *э*, употребляемым только между мягкими согласными) (И. А. Бодуэн де Куртэнэ и Л. В. Щерба).

17. По той же причине дивергенция обладает следующими двумя признаками, вытекающими из ее определения: 1) дивергенция охватывает все случаи сочетания звуков, подходящие под определенные позиционные условия (иначе говоря — не допускает исключений); 2) дивергенция не вызывается непосредственно изменением значения слова, формы слова, морфемы, не служит средством различения, а стало быть — и выражения, каких бы то ни было значений, т. е. не семасиологизуется (см. в § 36 оговорку об опосредствованной семасиологизации).

18. Первоначальной причиной дивергенции является приспособление (аккомодация) одного и того же звука к различным позиционным условиям (ассимиляция и диссимиляция, редукция и т. п.): сообразно тем или иным позиционным условиям в составе звука изменяются определенные произносительно-акустико-слуховые признаки (часто — только один признак) при сохранении остальных. Поэтому звуки, связанные в том или ином языке отношением дивергенции, обычно обладают более или менее ярко выраженным материальным сходством, т. е. содержат значительное число одинаковых произносительно-акустико-слуховых признаков (что, впрочем, не является необходимым признаком дивергенции).

19. Одни и те же произносительно-акустико-слуховые признаки в составе различных звуков заменяются в зависимости от определенных позиционных условий другими определенными признаками. С другой стороны, всякий произносительно-акустико-слуховой признак лежит в основе той или иной антропофонической категории, более общей, чем отдельный звук речи (ср. § 8). Поэтому дивергенции охватывают пары (или большее число) не только звуков, но и более общих антропофонических категорий (например, дивергенция глухих и звонких, твердых и мягких согласных) (ср. § 13). Дивергенция может быть определена как действующее в данном языке или диалекте на данном этапе его исторического развития отношение между двумя или несколькими антропофоническими категориями одинаковой степени обобщенности, в силу которого в определенных позиционных условиях допустим один из членов этого отношения (дивергентов) и (с оговоркой о колеблющихся чередованиях; см. § 26) недопустим никакой другой (ср. § 13).

20. Вызываемая общими произносительными тенденциями данного языка или диалекта, т. е. в конечном счете физиологическими импульсами, дивергенция тем не менее, как и всякое фонетическое чередование, является языковой, т. е. социальной нормой. Неверно было бы полагать, что дивергенция указывает на физиологическую невозможность произнесения определенного звука в определенных позиционных условиях или хотя бы на физиологическое удобство замены одного звука другим в определенных позиционных условиях, по принципу «экономии энергии». В связи с этим стоит специфичность системы дивергенций для каждого языка (см. § 10). Модификация произношения, вызываемая физиологическим импульсом, становится дивергенцией, т. е. языковой нормой, только при условии ее санкционирования социальным коллективом — носителем

данного языка (например, в форме отрицательной оценки другого произношения)¹⁴.

21. Трансформации могут иметь различное происхождение.

1) Трансформация может явиться результатом историко-фонетического изменения позиционных условий, некогда имевших место в данном языке или его лингвистическом предке, вследствие чего в разных сочетаниях одной и той же морфемы создались не обусловленные позицией альтернанты; например, в русском языке *пис-ать* — *пиш-у*, где *с* ||| *ш* восходит к **s* + *j* при окончании 1-го лица ед. числа -**jQ*; аналогично к ||| *ч* в *плак-ать* — *плач-у*; в немецком языке перегиб (умлаут).

2) Трансформация может явиться результатом омертвления былой дивергенции: позиционные условия, некогда вызывавшие в данном языке дивергенцию, позже утратили силу. В этом случае, охватив слова, на известном этапе исторического развития языка представлявшие определенные позиционные условия, чередование не распространяется на слова, в которых те же фонетические условия возникли позже, в результате той или иной инновации, и на слова, появившиеся в языке позже эпохи действия данного чередования в качестве дивергенции; ср. в русском языке разную судьбу *э* из исконного *э* и из *ь* в положении после мягкого не перед мягким согласным в ударном слоге (за исключением положения перед *ц*), с одной стороны, и *э* из *ѣ*, *э* перед *ц* и в новых заимствованиях в том же положении, с другой; например, 'о ||| 'э в *осёл* (из *осьль*) и *осел* (из *осѣль*), *полёт* (от корня *лет-*) и *лето* (из *лѣто*), *Тёма* (уменьшительное имя) — *тема* (позднее заимствование); то же чередование при положении гласного перед любым твердым согласным, кроме *ц*, с одной стороны, и перед исконно мягким и поздно отвердевшим *ц* (*кузнец* и т. п.), с другой.

3) Трансформация может восходить к корреспонденции, т. е. к фонетическому соответствию между двумя близкородственными языками, — при создающем дублиеты заимствовании слов и морфем одним языком из другого; например, русск. *ч*, *ж* определенного происхождения в соответствии с церк.-слав. *щ*, *жд*: *помочь* — *помощь*, *чужой* — *чуждый*; русск. 'о в соответствии церк.-слав. 'э: *нёбо* — *небо*, *варёный* — *смирённый*; русск. полногласие в соответствии церк.-слав. неполногласию: *ворота* — *врата*.

22. Трансформации, в отличие от дивергенций, допускают семасиологизацию и морфологизацию и даже являются морфологизованными по преимуществу¹⁵. Примеры: русские трансформации *с* ||| *ш*, *к* ||| *ч*, немецкие перегиб (умлаут) и преломление, аблаут в немецком и английском языках; далее — сингармонизм (гармония гласных) тюркских, монгольских и угро-финских языков (омертвевшая дивергенция): он семасиологизован и морфологизован, поскольку служит средством, организующим лексико-грамматическую единицу — слово, — средством, особенно важным для агглютинативных языков (к числу которых относятся едва ли не все сингармонические языки), так как в них слово отличается от морфемы менее четко, чем в языках флективных, а ударение во многих из них слабо централизующее.

Некоторые трансформации семасиологизуются в одних примерах и остаются неиспользованными в смысловых целях в других. Таковы, например, рассмотренные выше трансформации русского языка, восходящие к корреспонденциям; ср. различие значений в *хоронить* — *хранить*, *горожанин* — *гражданин*, *невежа* — *невежда*; различия только функционально-стилистического характера представлены в парах *ворота* —

¹⁴ Ср. фолологические эксперименты, к которым прибегал Л. В. Щерба, изучая фонетическую систему восточнославянского наречия.

¹⁵ Семасиологизованные или морфологизованные трансформации («традиционные чередования») И. А. Бодуэн де Куртене называет «психофонетическими чередованиями», или «корреляциями». В позднейшей фонологии (Пражский лингвистический кружок) термин «корреляция» употребляется в другом значении.

врага, враг — враг, короткий — краткий; наконец, полное отсутствие смыслового различия: среда — среда (день недели).

23. Необходимо допустить, что конечной исторической причиной возникновения трансформации всегда являются процессы антропофонические, хотя при современном состоянии наших знаний антропофоническое происхождение некоторых трансформаций не вполне выяснено. Явление, возникшее на антропофонической почве, язык стремится использовать в смысловых целях. Допущение, что трансформация может возникнуть сразу как специфическое средство выражения значений, было бы неверно: лишенная первоначального антропофонического импульса, трансформация была бы явлением чисто морфологическим, что и имеет место в формо- и словообразовании семитских языков, которое обычно рассматривается как особенно яркий пример морфологизованного чередования. В действительности этот случай не удовлетворяет уточненному определению фонетического чередования (см. §§ 3, 13). Гласные, якобы чередующиеся в формо- и словообразовании в семитских языках, не связаны между собой генетически как модификации одного и того же исходного звука в различных позиционных условиях, а чисто морфологическое явление перехода от одной грамматической формы к другой отнюдь нельзя рассматривать как изменение фонетико-морфологических условий. Отрицать это — значило бы стереть границу между фонетическим чередованием и аффиксацией. Семитское формо- и словообразование следует исключить из числа фонетических чередований и рассматривать гласные в семитских языках как своего рода аффиксы¹⁶.

24. «Грамматическая аналогия» как образование грамматических форм и слов, нарушающее условия фонетического чередования, опирается на морфологические связи. Поэтому «аналогия» не может затрагивать дивергенций — как чередований не семасиологизуемых и не допускающих исключений (И. А. Бодуэн де Куртенэ) (см. § 17). Но в круг ее действия входят семасиологизованные и морфологизованные трансформации; ср., например, разговорную форму *подытажить* при *подытожить*; примером широкого охвата трансформаций действием «анalogии» служит немецкий умлаут. Возможность нарушения тех или иных позиционных условий действием «анalogии» доказывает, что чередование, определяемое этими условиями, представляет собой не дивергенцию, а позиционную трансформацию, например, 'э' ||| 'о в русском языке (ср. *берёте* и т. п.).

25. Ввиду того что трансформации представляют собой продукт исторического развития звуков и звукоочетаний, в процессе которого звуки нередко испытывают значительные изменения, материальное сходство или несходство трансформантов является случайным (И. А. Бодуэн де Куртенэ) (о материальном сходстве дивергентов см. § 18).

26. Дивергенции, в принципе, не допускают исключений (см. § 17, п. 1). Однако на каждом этапе исторического развития данного языка или диалекта те или иные дивергенции подвергаются известным колебаниям: точно и последовательно осуществляются в речи одних лиц, выполняются непоследовательно или последовательно, но менее отчетливо в речи других, вовсе не соблюдаются в речи третьих. Это свидетельствует о разной степени устойчивости тех ограничений сочетания звуков, которые лежат в основе дивергенции (см. § 19). По этим признакам можно различить дивергенции вполне устойчивые (например, в современном русском языке чередование звонких шумных и глухих согласных в определенных позициях; чередование более широких и более узких, более передних и более задних оттенков гласных в зависимости от смежности или несмежности с мягкими согласными; чередование огубленных и неогубленных оттенков согласных в зависимости от смежности или несмежности с последующим огубленным гласным) и колеблющиеся, а среди них прогрессирующие и регрессирующие

¹⁶ Точка зрения, высказанная В. П. Старинным.

щ и е (например, в современном русском литературном языке смягчение согласных переднеязычных, кроме *л*, перед мягкими переднеязычными, кроме *р* и *л*, и губными: ср. произношения слов *снять*, *ответ* с мягкими, полумягкими и твердыми *с* перед мягким *н* и *т* перед мягким *е*) и, в частности, у г а с а ю щ и е (например, смягчение согласного *р* перед мягким переднеязычным или губным: ср. произношения слова *горбить* с мягким, полумягким и твердым *р* перед мягким *б*; смягчение губного согласного перед мягким заднеязычным: ср. произношения формы дат.-предл. надежа ед. числа *дымке* с мягким, полумягким и твердым *м* перед мягким *к*), а также н а р о ж д а ю щ и е я (например, смягчение губного или шипящего согласного перед мягким переднеязычным; ср. произношения слов *учебник*, *деревня*, *художник* с мягкими и полумягкими *б*, *в*, *ж* перед мягким *н* наряду с господствующим твердым их произношением). Опираясь только на антропофонические тенденции, колеблющиеся дивергенции, как и всякие дивергенции, могут не замечаться говорящим (§ 16), неспособны к семаспологиации (§ 17, п. 2) и к перенесению «по аналогии» (§ 24). Подобным колебаниям подвержены и трансформации: ср., например, укрепившиеся в литературном языке глагольные формы *ткѣшь*, *ткѣтъ...* (от *ткать*, на месте старых *тѣшь*, *тѣтъ...*), нарушающие трансформацию *к || ч*. Среди колеблющихся трансформаций можно различить: а) случаи укоренения в данном слове или в данной форме слова одного из трансформантов при полном устранении другого (*ткѣтъ*, *смирный*, *варѣный*), б) случаи ф а к у л ь т а т и в н о г о у п о т р е б л е н и я в данном слове или в данной форме слова того или другого трансформанта (*безнадѣжный* или *безнадежный*, *спичешный* или *спичечный*). О факультативности того или иного употребления свидетельствуют и все случаи колеблющихся дивергенций. Выбор говорящим того или другого факультативного произношения может зависеть от индивидуальной привычки, от стилистической оценки, от тона и фонетического стиля речи; последний фактор особенно отчетливо сказывается в русском языке в нормах редукции гласных. Расшатывание тех или иных действующих ограничений звукосочетания в зависимости от позиционных и фонетикоморфологических условий и зарождение новых ограничений служит главнейшим фактором фонологических изменений языка.

27. Система чередований и фонем, в основном, строится на основе рабочей гипотезы о статичности языка на каждом данном этапе его исторического развития. Исходное понятие фонологии — понятие фонетического чередования (см. § 3) — возникло в связи с потребностью в разграничении синхронии и диахронии — для того, чтобы отличить сосуществующие одновременно закономерные мены звуков в составе морфем от исторических изменений звуков (И. А. Бодуэн де Куртэнэ). Историческая динамика языка отражается в фонологии в своих результатах, в форме статической проекции на современность — в понятии трансформации как чередования, обусловленного исторически, и осуществляется только в колеблющихся чередованиях. В силу своей статичности фонологические построения неизбежно служат лишь приближенным отражением языковой действительности: перечень колеблющихся чередований является необходимым их элементом, определяющим степень приближения и точки абберрации.

28. Различаются два вида дивергенций:

1. Д и в е р г е н ц и и 1-й с т е п е н и (или а л ь т е р н а ц и и 1-й с т е п е н и, иначе — в а р и а ц и и) дивергенции, члены которых (дивергенты 1-й степени, или а л ь т е р н а н т ы 1-й с т е п е н и, иначе — в а р и а н т ы) встречаются только во взаимноисключающих позиционных условиях, вследствие чего различие между ними не несет функции непосредственного различения значений основных знаменательных единиц языка (не семаспологируется) ни в одной паре слов или морфем, так как это различие всегда является производным

(позиционно обусловленным, сопутствующим другому, основному, не обусловленному позицией фонетическому различию) (например, разные оттенки одного и того же гласного в русском языке).

2. Дивергенции 2-й степени (или альтернации 2-й степени, иначе — субституции) — дивергенции, члены которых (дивергенты 2-й степени, или альтернаты 2-й степени, иначе — субституты) чередуются, т. е. взаимно исключают и заменяют друг друга в одних позиционных условиях и не чередуются, т. е. равно допустимы, в других, вследствие чего различие между ними не несет функции непосредственного различения (не семасиологизуется) в отношении одних пар слов или морфем, но способно служить единственным или основным признаком различия (т. е. способно семасиологизоваться) в отношении других пар (например, чередование глухих и звонких согласных, твердых и мягких согласных в русском языке; ср., с одной стороны, *род* и *рот*, с другой — *дом* и *том*).

Дивергенция как альтернатива 1-й и 2-й степени противопоставляются трансформации как альтернатива 3-й степени.

29. Совокупность вариантов (дивергентов, или альтернантов 1-й степени) образует фонему 1-й степени (Φ^1) (частично соответствующую «фонеме» в теориях Л. В. Щербы и Пражского лингвистического кружка). Совокупность субституты (дивергентов, или альтернантов 2-й степени) образует фонему 2-й степени (Φ^2) (соответствующую «фонеме» в понимании И. А. Бодуэна де Куртене¹⁷ и «архифонеме» Пражского лингвистического кружка в первоначальном понимании). Совокупность трансформантов, иначе — альтернантов 3-й степени (т. е. членов трансформации, или альтернативы 3-й степени), образует фонему 3-й степени (Φ^3), иначе — морфофону (морфофону) в концепции Пражского лингвистического кружка¹⁸). Таким образом, фонема 1-й степени представляет собой вариационный ряд, иначе — альтернативный (дивергентный) ряд 1-й степени, фонема 2-й степени — субституционный ряд, иначе — альтернативный (дивергентный) ряд 2-й степени, фонема 3-й степени — трансформационный ряд, иначе — альтернативный ряд 3-й степени. (Ср. общее определение фонемы в § 4.) Фонемы 1-й степени и фонемы 2-й степени на каждом этапе исторического развития данного языка или диалекта представляют собой каждая замкнутую систему соотносительных (взаимно противопоставленных) фонологических величин — в отличие от фонемы 3-й степени, которые не образуют такой системы.

30. Фонемы любой степени непосредственно даны в конкретных знаменательных единицах языка — в словах и морфемах — только в форме тех или иных альтернантов, в конечном счете — в форме звуков языка (см. § 8). Стало быть, фонемы представляют собой абстракции, конкретизирующиеся в альтернантах (см. § 4). Поэтому фонемы со своими альтернантами — и, тем самым, фонема и звук (см. § 6) — образуют диалектическое единство общего и частного, сущности и явления.

¹⁷ Имеется в виду то понимание фонемы, которое представлено в «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen». У И. А. Бодуэна де Куртене нигде не различаются дивергенция 1-й и 2-й степени. Все живые позиционные чередования («дивергенции»), согласно его концепции, протекают в пределах недифференцированной «фонемы». К этому пониманию фонемы примкнула и «новомосковская школа», различив, однако, дивергенты 1-й и 2-й степени как «вариации» и «варианты». В более поздней работе Бодуэна де Куртене — во «Введении в языковедение» — термин «фонема» употребляется в очью общем значении и утратил свою четкость. Об отношении фонемы 2-й степени к «гиперфонеме» «новомосковской школы» и к «архифонеме» Н. С. Трубецкого и А. Мартина см. в списке к § 47.

¹⁸ Φ^3 («морфофона») Пражского лингвистического кружка совершенно отчетливо намечена уже во «Введении в языковедение» И. А. Бодуэна де Куртене, который различал в русском языке с точки зрения семасиологизации и морфологизации, например, три фонемы *ж* : *ж* ||| *г* (*могу* — *може*-), *ж* ||| *зи* (*вожу* — *вози*-), *ж* ||| *ди* (*вожу* — *води*-).

31. Фонема 1-й степени как дивергентный ряд 1-й степени (вариационный ряд) воплощает такую совокупность произносительно-акустико-слуховых свойств, которая противопоставляется другим фонемам 1-й степени с точки зрения выражения и различия значений в каких-либо парах морфем или слов данного языка; иначе говоря, совокупность признаков, образующих фонему 1-й степени, выступает как единство (не дифференцируется) с точки зрения образования и различения любой пары морфем или слов (например, фонемами 1-й степени m , ∂ , m' , ∂'). Фонема 2-й степени, как дивергентный ряд 2-й степени (субституционный ряд), воплощает такую совокупность произносительно-слуховых свойств, которая противопоставляется другим фонемам 2-й степени с точки зрения выражения и различия значений в одних парах морфем или слов и образует единство (не дифференцируется) в других парах (например, фонема 2-й степени $m \parallel \partial$, $m' \parallel \partial'$. Ср. примеры различения слов в § 46). Следовательно, членами фонемы 2-й степени, или дивергентами 2-й степени (субститутами), служат фонемы 1-й степени (ср. § 33).

Фонемы 1-й степени — это потенциальные словоразличители, применяемые в данном языке. Фонемы 2-й степени являются смысловыми различителями, реализованными в морфемах; фонема 2-й степени — это звуковой элемент морфемы, соотнесенный с ее смысловым единством (см. уточнение в § 41).

32. Альтернанты фонем 1-й степени — варианты — являются самыми конкретными и самыми элементарно различимыми в языке произносительно-акустико-слуховыми образованиями — отдельными звуками языка (ср. §§ 6—8); альтернанты фонем 2-й степени — субституты — представляют собой более широкие и, тем самым, менее конкретные комплексы произносительно-акустико-слуховых признаков (ср. § 18); альтернанты фонем 3-й степени — трансформанты — могут быть и вовсе лишены материального сходства (см. § 25).

33. Так как звуки, образующие субституты, могут применяться и вне условий чередования (см. § 28, п. 2) и, стало быть, служить фонемами 1-й степени, то альтернантами (членами) фонем 2-й степени являются фонемы 1-й степени (ср. § 31). В чередованиях, создающих фонемы 3-й степени, принимают участие звуки, вступающие в чередования как 1-й, так и 2-й степени: ср. чередования согласных в ряде слов и форм *хот* (*ход*) — *хода* — *ходить* — *хожу* — *хождение*, где $\Phi^2 \partial \parallel m \parallel \partial'$ вступает в чередование 3-й степени с $ж$ и $жд'$, образуя $\Phi^3 \partial \parallel m \parallel \partial' \parallel ж \parallel жд'$. Таким образом, членами фонем 3-й степени служат фонемы 1-й и 2-й степени (и их сочетания).

34. В ряду, образуемом фонемами 1-й, 2-й и 3-й степени, степень единства последовательно убывает. Единство фонемы любой степени создается способностью образующих ее альтернантов к несению единой семантической функции в составе морфем и слов (см. § 4). Между тем степень единства смысловой функции в фонемах 1-й, 2-й и 3-й степени различна: варианты, будучи неспособны к семасиологизации в каких бы то ни было условиях (см. § 28, п. 1), с точки зрения непосредственного выражения и различия значений абсолютно тождественны; субституты вне определенных позиций, обладая способностью к непосредственному дифференцированию значений, т. е. являясь вне этих позиций разными фонемами 1-й степени (см. § 28, п. 2), образуют менее тесное фонологическое единство; накопец, трансформанты, разлагаясь на фонемы 2-й степени (или даже на их сочетания; ср. *оро* $\parallel\parallel$ *ра*, $ж \parallel жд$) (см. § 33), образуют только относительное и довольно зыбкое фонологическое единство.

35. В каждой фонеме 1-й степени необходимо выделить основной вариант, который мог бы служить ее наименованием и исходной точкой при описании фонемы. Основным является тот вариант, который произносится в изолированной позиции, так как в ней он не зависит от фонетического окружения и образует ударный слог. В силу этого в основном варианте

свойственные данной фонеме произносительно-акустико-слуховые признаки проявляются в наиболее чистом виде. Основному варианту противопоставляются заместительные (заместительные), или побочные, варианты. Побочный вариант, возникая как замена основного варианта в определенных позициях, сам по себе, независимо от обусловившей его позиции, способен создавать позиционные условия и, тем самым, вызывать дивергенции.

36. Будучи неспособно, вследствие своей позиционной обусловленности, служить основным признаком для различения какой бы то ни было пары слов или форм слов (см. § 28, п. 1), различие между вариантами, возникая, как и всякое чередование, в словоизменении и словообразовании (см. § 13), необходимо сопутствует какому-либо семасиологизуемому различию (вызывается им). Поэтому варианты служат вспомогательным признаком для распознавания и различения слов. Лишенные непосредственной семасиологизации, они обладают семасиологией опосредствованной.

37. Для выяснения принадлежности пары звуков к составу одной и той же фонемы 1-й степени самым четким критерием является неспособность произносительно-акустико-слухового различия между ними служить единственным или основным признаком для различения пары слов или морфем — или, что то же, недопустимость употребления этих звуков в одинаковых позиционных условиях (см. § 28, п. 1). Однако доказательным является не столько реальное отсутствие в языке пары слов или морфем, которые различались бы по этому признаку, сколько принципиальная его неспособность к непосредственной семасиологизации. Применение критериев, указанных выше (§ 16), позволит установить в русской фонетической системе, например, принадлежность к составу одной фонемы 1-й степени самого широкого *э*, применяемого под ударением и в начале слога, например в слове *этот* (а также в некоторых других позициях, включая изолированное положение), и того оттенка *э*, который применяется под ударением в положении между мягкими согласными (например, в слове *день*), хотя нельзя найти ни одной морфемы, в которой бы чередовались эти два оттенка.

38. Звуки, существенным произносительно-акустико-слуховым признаком которых является смена двух физиологически допускающих изолированное произнесение моментов, как это имеет место в аффрикатах и дифтонгах, вынуждают установить критерии для разграничения единой фонемы 1-й степени и сочетания фонем 1-й степени. Если оба последовательных элемента сложного звука используются в данном языке отдельно друг от друга, то вопрос проще всего решается сопоставлением слов и морфем, с одной стороны, содержащих данный сложный звук, с другой — содержащих сочетание образующих его отдельных звуков; ср. в русском *о цыпке* — *отсыпке* (пример Л. В. Щербы). Однако наличие подобных пар не обязательно: для того чтобы признать два элемента сложного звука отдельными фонемами 1-й степени, достаточно недопустимости взаимной замены сложного звука и сочетания его элементов; ср. в русском *речь* при недопустимости произношения *rem'w'*, в немецком *deutsch* с аффрикатой, не допускающей замены сочетанием *t + sch*, *Mondschein* с сочетанием *t + sch*, не допускающим замены аффрикатой. Далее, признаком единства фонемы служит отсутствие использования в данном языке хотя бы одного из элементов сложного звука в качестве особой фонемы. Этот критерий вынуждает признать немецкие и английские дифтонги особыми фонемами и, напротив, русские дифтонги (*ай*, *ой* и т. п.) — сочетанием фонем.

39. Языковая функция фонем состоит в образовании и различении основных знаменательных единиц языка — морфем и слов. Вопрос о том, какие знаменательные единицы — морфемы или слова — должны служить основой для определения фонем, решается особо для каждого языка. Критерием для решения этого вопроса служит соотношение в данном языке

морфем и слов по степени смысловой и фонетической самостоятельности. Так, в немецком языке (а тем более — в агглютинативных языках) за основную знаменательную единицу при определении фонем целесообразно принимать морфему, в русском — слово: ср. в русском единство слова, поддерживаемое: а) единством ударения, б) нормами редукции гласных в зависимости от положения слога по отношению к ударному слогу слова, в) специфическими чередованиями в конце слова — обязательными (заглушение звонких согласных, кроме случаев тесного смыкания слов в синтагме) или факультативными (открытость конечного гласного), а также недопустимостью в конце слова ассимилятивного смягчения согласного (кроме предлогов), г) особенностью редукции гласного в начале слова (редукция 1-й степени независимо от положения по отношению к ударному) и др.; в немецком — распатанность единства слова, увеличивающую самостоятельность морфемы и обнаруживающуюся: а) в отделяемости приставок при спряжении, б) в легкости, с которой образуются сложные слова, в) в сильном присутствии начального гласного, как в слове, так и в приставочной или корневой морфеме внутри слова («Anlaut» — начало не только слова, но и морфемы, кроме флективной), г) в акцентной квалификации морфем в зависимости от их грамматической и смысловой функции, откуда второстепенные ударения и равновесные ударения («schwebende Betonung»), д) в участии морфологического фактора в слогеделении, е) в распространении чередования глухих и звонких согласных на конец слога, что лишает их роли показателя конца слова.

40. Понятие фонетического чередования и отдельных видов чередований (см. §§ 15, 28) может быть распространено на морфемы как языковые образования, в которых обнаруживаются чередования звуков.

С точки зрения альтернативных модификаций надо различать морфемы трех степеней: 1) морфема 1-й степени (M^1) — морфема, образуемая фонемами 1-й степени и рассматриваемая в виде вариационного ряда; например, M^1 *xod-* | *x^að-* | *x^oð-* — в отличие от M^1 *xod'*- | *x^að'*- | *x^oð'*-; от M^1 *xom-* (или в отвлечении от вариаций: M^1 *xod-* — в отличие от M^1 *xod'*-, от M^1 *xom-*); 2) морфема 2-й степени (M^2) — морфема, образуемая фонемами 2-й степени и рассматриваемая в виде субституционного ряда; например, M^2 *xod-* || *xod'*- || *xom-* — в отличие от M^2 *xaj-*, от M^2 *xojd'*- (или, в отвлечении от субституций, M^2 *xod-* в отличие от M^2 *xaj-*, от M^2 *xojd'*-); 3) морфема 3-й степени (M^3) — морфема, образуемая фонемами 3-й степени и рассматриваемая в виде трансформационного ряда; например, M^3 *xod-* ||| *xaj-* ||| *xojd'*-. Таким образом, членами морфемы 2-й степени являются морфемы 1-й степени, а членами морфемы 3-й степени — морфемы 2-й и 1-й степени (ср. § 33). И далее: морфема 1-й степени обладает неизменным составом фонем 1-й степени; морфема 2-й степени обладает при варьирующем составе фонем 1-й степени неизменным составом фонем 2-й степени; морфема 3-й степени обладает при варьирующем составе фонем 1-й и 2-й степени неизменным составом фонем 3-й степени (неизменным морфонематическим составом). (См. уточнение в § 48.)

41. Надо различать, с одной стороны, фонему 2-й степени, рассматриваемую как совокупность дивергентов 2-й степени, которые способны реализоваться в тех или иных морфемах 2-й степени, — о б о б щ е н н у ю ф о н е м у 2-й степени — и, с другой стороны, фонему 2-й степени, реализованную в той или иной морфеме 2-й степени, — к о н к р е т н у ю ф о н е м у 2-й степени. Так, в русском языке есть обобщенная фонема 2-й степени *m* || *ð* || *m'* || *ð'*, но в морфеме 2-й степени *god-* || ... находим конкретную фонему 2-й степени *ð* || *ð'* || *m* (без дивергента *m'*).

42. Для каждой конкретной морфемы 2-й степени может быть установлена ее основная дивергентная форма, т. е. та входящая в ее состав морфема 1-й степени, звуковые элементы которой наименее модифицированы позиционными условиями. Сообразно с этим для каждого звукового

элемента конкретной морфемы 2-й степени (для каждой конкретной фонемы 2-й степени) может быть установлен основной субститут, иначе — семантофонема. Основному субституту в морфеме 2-й степени противопоставляются заместительные (заменительные), или побочные, субституты¹⁹. Пример: основной формой морфемы 2-й степени *год*-|| *год'*-|| *гот*-является морфема 1-й степени *год*-, основной дивергент 2-го элемента — семантофонема *о*, 3-го элемента — семантофонема *д*. Таким образом, семантофонематический состав морфемы 2-й степени остается постоянным, т. е. не изменяется в зависимости от позиционных условий (ср. § 40). Семантофонема служит названием и исходной точкой дивергентного ряда конкретной фонемы 2-й степени (см. пример в § 40, п. 2).

43. Лексема определяется как морфематическое образование (сочетание морфем, подчиненное действующим в данном языке законам словообразования и словоизменения, или отдельная морфема, обладающая указанными признаками) постоянного (для каждого этапа исторического развития языка) состава, подводимое под грамматические категории данного языка и способное, в каждой из своих разновидностей, служить предложением (коммуникативной единицей, синтаксическим целым) или его элементом (хотя бы и имеющим только грамматическое значение, как служебные слова).

С точки зрения лексикологической и морфологической, с учетом фонетических чередований, среди языковых единиц, удовлетворяющих определению лексемы, можно установить единицы трех степеней: 1) лексема 1-й степени (Λ^1), или форма слова — лексема, рассматриваемая как совокупность морфем 1-й степени (морфематическое образование 1-й степени); например, отдельные лексемы 1-й степени *ход*, *ход-а*,..., *хож-у*, *ход-и-шь*,..., *ход-и-л*,..., *ход-и-ть*; *хаж-ива-л*; *хожд-е-ние*; *при-ход*; *вы-ход-и-ть*; *вы-ход-и-ть* и т. д.; 2) лексема 2-й степени (Λ^2), или слово — совокупность лексем 1-й степени (форм слова), обладающих одним и тем же вещественным значением, выраженным при помощи одной и той же морфемы 3-й степени (корнем), и различающихся только теми морфемами, которые выражают определенные формальные значения, охватываемые парадигмами словоизменения; например, единая лексема 2-й степени *ход*, *ход-а*, *ход-у* и т. д., в отличие, например, от лексемы 2-й степени *ход-и-ть*, *хож-у*, *ход-и-шь*..., *ход-и-л*..., от лексемы 2-й степени *при-ход*, *при-ход-а*..., от лексемы 2-й степени *у-ход-и-ть*, *у-хож-у*... и т. д.; 3) лексема 3-й степени (Λ^3), или лексическое гнездо — совокупность лексем 2-й степени, обладающих одним и тем же корнем и различающихся словообразовательными суффиксами и (или) флективными окончаниями; например, единая лексема 3-й степени *ход*..., *при-ход*..., *ход-и-ть*..., *у-ход-и-ть*..., *хаж-ива-л*..., *хожд-е-ние*... и т. д.

44. Градация морфем, с одной стороны, и градация лексем, с другой, не вполне параллельны, потому что первая построена по чисто альтернативным признакам, а вторая — по признакам лексико-грамматическим, только с учетом признаков альтернативных.

Из градаций морфем и лексем (§§ 40, 43) вытекают следующие положения: 1) фонемы 1-й степени способны служить базой для различения морфем и лексем 1-й степени; например, *том* — *дом*, *мы-т* — *мы-т'*; 2) фонемы 2-й степени способны служить основой единства морфем 2-й степени и различения омонимичных морфем и лексем 1-й степени. Примеры различения: одноморфемные лексемы 1-й степени *вот* (частица) и *вот* (род. мн. от *вода*), морфемы 1-й степени *в^л- (вал-)* (из лексемы 1-й степени *вал-ы*) и *в^л- (вол-)* (из лексемы 1-й степени *вол-ы*) попарно омонимичны, но в

¹⁹ Заместительный субститут, так же как и заместительный вариант (см. § 35), сам по себе, независимо от обусловившей его позиции, не способен вызвать дивергенцию.

качестве морфем 2-й степени они различаются фонемами 2-й степени (т. е. по своим дивергентным связям); ср., с одной стороны, *вот-*, с другой — *вот-* || *вод-* | *в^ад-* | *в^ад'*...; с одной стороны, *вал-* | *вал-*, с другой — *вал-* | *вол-*; 3) фонемы 2-й и 3-й степени совместно служат основой единства морфем и лексем 2-й и 3-й степени. Примеры: конкретная фонема 2-й степени (см. § 41) *г* || *к* || *г'* и фонема 3-й степени *г* || *к* || *ж* || *з'* в лексеме 2-й степени *друг-* || *друж-* || *друг'-* ||| *друж'-*, в лексеме 3-й степени *друж-* ||| *друж-* ||| *друж'-*.

45. Диалектико-материалистическая методология применительно к изучению звуковой структуры языка требует, с одной стороны, равного внимания к произносительно-акустико-слуховой стороне языка и к ее социальной функции (ср. § 1), с другой — изучения этих двух объектов, образующих единство противоположностей (ср. § 30), в их неразрывной связи, при учете специфики каждого из них. Отсюда вытекает требование к фонетике — установить тесную связь между материальными (антропфоническими) и функциональными (фонологическими) величинами. Поэтому фонетика стоит перед необходимостью построить такую систему фонологических единиц, первая ступень которой отражала бы с наибольшей отчетливостью материальную данность (хотя и соотносенную с функцией выражения и различения значений), а дальнейшие ступени — те отношения, которые возникают между материальными единицами в процессе их использования в знаменательных единицах языка. В этом плане и построена трехступенная система фонологических величин.

46. С методологической точки зрения (см. § 45) важно, чтобы система фонем 1-й степени возможно точнее отражала антропфонические различия, допускающие в данном языке семасиологизацию и морфологизацию. Сообразно с этим необходимо установить следующий принцип: в плоскости фонем 1-й степени всякий звук всегда является вариантом одной и той же фонемы; иначе: фонемы 1-й степени не могут иметь совпадающих вариантов (как считал Л. В. Щерба, в отличие от И. А. Бодуэна де Куртене). Только при этом условии между классификацией звуков и классификацией фонем будет установлено четкое соотношение. В плоскости же фонем 2-й степени один и тот же звук может входить в состав разных фонем. Пример: в словах *том* и *дом* *т* и *д* — разные фонемы 2-й степени, в словах *рат* (орфогр. *рад*) и *рад-ы* *т* и *д* — дивергенты единой фонемы 2-й степени *т* || *д* с семантофонемой *д*. При этом семантофонема в одних случаях материально совпадает с фонемой 1-й степени (например, в слове *рад-ы*), в других — не совпадает (например, в слове *рат*, орфогр. *рад*; ср. § 41). Теория «несовпадения намерения с произносительным исполнением» (И. А. Бодуэн де Куртене), искажая психологическую действительность, тем не менее отражает в психологической формулировке реальное явление — несовпадение семантофонемы с фонемой 1-й степени. Само собой разумеется, что один и тот же звук может служить альтернативом различным фонем 3-й степени: ср. фонему 1-й степени *ч* в составе морфем *к* ||| *ч* (*плак-а-ть* — *плáч-у*), *т'* ||| *ч* (*плат-и-ть* — *плач-у*) и *к* ||| *ч* ||| *ч* (*лик* — *лиц-о* — *лич-н-ый*).

47. Значительная часть безударных (редуцированных, ненапряженных) гласных в русском языке обнаруживает известные альтернативные особенности, которые затрудняют их фонологическое определение в составе морфем 1-й степени и ограничивают принцип недопущения в фонемах 1-й степени совпадающих вариантов (см. § 46). Так, безударные гласные *а* | *о* служат в одних морфемах 1-й степени вариантами фонемы 1-й степени *а* (*тр^ав-а* — ср. *трав-о*), в других морфемах 1-й степени — вариантами фонемы 1-й степени *о* (*в^од-а* — ср. *вод-о*), а в иных морфемах (*б^аран-*, *к^рандаш-*), не могут быть отнесены к составу той или иной фонемы 1-й степени — за отсутствием соответствующих вариаций. Рассматривать их как особые фонемы 1-й степени (ранняя концепция Пражского

лингвистического кружка) невозможно: во-первых, потому, что различие между безударными (ненапряженными) гласными и чередующимися с ними гласными полного образования (напряженными) не семасиологизуется ни в одной паре морфем или слов, иначе говоря — потому, что те и другие гласные встречаются только во взаимоисключающих условиях; во-вторых, потому, что это различие является производным, обусловленным положением в ударном или безударном слоге, не говоря уже о том, что изолированное произнесение этих гласных требует специальной тренировки (см. § 16). Трактовка рассматриваемых звуков как особых фонем требовала бы допущения, что безударность гласного является следствием его качества и ненапряженности. Между тем в действительности отношение между этими явлениями обратное: ненапряженность и специфическое качество гласного являются следствием его положения в безударном, т. е. подчиненном слоге; об этом свидетельствует, между прочим, ослабленность артикуляции не только гласного, но и согласных безударного слога. Таким образом, положение в ударном (господствующем) или в безударном (подчиненном) слоге является позицией, обуславливающей вариацию гласных. В случае типа *б^аран-*, *к^ор^андаш-* гласные *а* и *о*, связанные между собой вариацией, должны быть признаны особыми фонологическими образованиями, представляющими собой относительно самостоятельную величину, — не дифференцированными вариантами, или фонемоидами (Ф), — для которых характерна вариационная (именно вариационная, а не субституционная) связь с двумя (или более) различными фонемами при невозможности сделать между ними выбор. Между двумя фонемами 1-й степени (в данном случае *а* и *о*) создается своеобразная связь, состоящая в том, что в известных позиционных условиях они совпадают в одном и том же варианте (*а* или *о* в зависимости от позиции), — связь, которую можно фонематически обозначить как *а* \approx *о* или $\frac{а}{о}$. В фонологической системе недифференцированные варианты занимают положение среднее между фонемами и обычными (дифференцированными) вариантами. К числу фонемоидов должны быть отнесены также русские безударные гласные, чередующиеся с ударными гласными переднего ряда ²⁰.

48. В связи с понятием фонемоида требует корректива определение звука языка (см. §§ 6, 7). Звуком языка является произносительно-акустико-слуховое образование, допускающее изолированное произнесение и применяемое в данном языке в качестве варианта той или иной фонемы или в качестве фонемоида.

Требует также соответствующего дополнения и сказанное о постоянстве состава фонем 1-й, 2-й и 3-й степени в морфемах соответствующих степеней (§ 40).

²⁰ Учитывая концепцию «нейтрализации фонологических противопоставлений» (Н. С. Трубецкой, А. Мартин в TCLP, IV), объем понятия фонемоида можно расширить, подведя под него все позиции, в которых имеет место нейтрализация («гиперфонематическое положение», в терминологии «новомосковской школы»), — считать фонемоидом безударный гласный не только в слове *баран*, но и в слове *вода*; и далее — считать, что в русском языке (как и в ряде других языков) в положении согласного перед глухим согласным или в конце слова находятся не глухие согласные фонемы, а своего рода фонемоиды (*м* || *д* и т. п.); в положении согласного перед мягким согласным того же места образования — в русском языке не мягкие согласные, а своеобразные фонемоиды (*м* || *м'* и т. п.). Если в отношении первого случая (*вода*) такое расширение круга фонемоидов было бы вполне последовательным, то второй и третий случаи вступают в противоречие с моим построением: такие фонемоиды (*м* || *д*, *м* || *м'*), как и указывает Н. С. Трубецкой в «Основах фонологии», отличались бы от фонемоидов первого рода (*а* || *о* и т. п.) тем, что они материально совпадают с фонемами — в предложенной системе фонологических единиц с фонемами 2-й степени, т. е. охватывают не только вариационные, но и субституционные отношения. В таком расширенном понимании фонемоид совпал бы с «архифонемой» Н. С. Трубецкого и А. Мартин.

49. Знаменательные языковые единства высшего порядка — синтагмы и фразы, — подобно основным знаменательным единицам — морфемам и словам, — обладают известными фонетическими признаками общего характера, выражающими определенные значения и, следовательно, сема-сиологизуемыми. Таковы акцентно-интонационные способы выражения законченности и незаконченности, противопоставления, утверждения, вопроса, волеизъявления, различных эмоций. Принципиальное их отличие от фонем состоит, во-первых, в том, что число их знаменательных разновидностей неограниченно велико и, во-вторых, в том, что одни и те же фразные значения (законченность и незаконченность, модальные и эмоциональные значения и др.) нередко выражаются в разных языках при помощи более или менее сходных акцентно-интонационных приемов. Материальные способы выражения этих значений — вариация тембра голоса, общего стиля артикуляции, высоты (мелодика речи), напряженности и громкости (динамика речи), паузации, темпа речи. Существенные фонетические признаки акцентно-интонационных способов выражения фразных значений образуют фраземы. Однако на данном уровне состояния наших знаний фраземы едва ли могут быть описаны более или менее полно и точно. Значительно отчетливее вырисовываются существенные мелодические (высотные) признаки акцентно-интонационной структуры фраз. — мелодемы, являющиеся одним из факторов, образующих фразему. Они легко узнаются в качестве носителей значения даже и вне членораздельной речи и с известной обстоятельностью описаны в научной и преимущественно в декламационной литературе ²¹.

²¹ За 25 лет, протекших с того времени, как были написаны эти строки, появилось и в лингвистической литературе немало работ по интонации (в том числе и инструментально-фонетических) — главным образом по мелодике, в значительно меньшем количестве — по другим интонационным проблемам.

А. Е. КИБРИК

К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ

(На материале гласных новогреческого языка)

Понятие дифференциального признака, являющегося краеугольным камнем современной фонологии, до последнего времени не получило однозначного и общепринятого определения. В целях устранения терминологических разногласий ниже предлагается следующее понимание дифференциального признака, раскрываемое через описание его основных свойств.

Дифференциальный признак — это минимальная (нелинейная) фонологическая единица, служащая средством различения более крупных (линейных) фонологических единиц, т. е. некоторая примета фонологической единицы, по контрасту противопоставленная примете другой единицы того же порядка. Система дифференциальных признаков есть система контрастов, осуществляющих противопоставленность более крупных фонологических единиц. Это имманентное свойство дифференциального признака, которое выводится из сущности самой языковой реальности. Дифференциальный признак обычно принято рассматривать в качестве бинарного (двоичного). Это гипотетическое свойство дифференциального признака, приписываемое как необходимое в целях удобства описания языковой реальности. Поскольку язык функционирует как код, вполне естественно предположить, что всякое сообщение в языке облечено в двоичную форму, т. е. является ответом «да» или «нет» на поставленный вопрос. Сомнение ряда лингвистов в том, все ли противопоставления в языке «реально» бинарны¹, не затрагивает сущности дела; важным представляется, что, переходя от свойств к отношениям (дифференциальный признак устанавливает отношения, а именно отношения противопоставленности и непротивопоставленности), всегда можно свести их к отношениям бинарным. Принцип бинарных противопоставлений кроме того, что он фундаментально используется в математической логике и теории информации, весьма удобен и с чисто технической стороны: при обучении машины языку простейший путь — это задание такой системы двоичных альтернатив, которая бы обеспечивала автоматическую классификацию элементов.

Из имманентного свойства дифференциального признака следует, что, будучи средством противопоставления фонологических единиц, он проявляется на уровне фонологии. Между тем в последнее время наблюдается тенденция неправоммерно распространять это понятие и на уровень фонетики. В ряде работ присутствует в виде аксиомы допущение, будто всякий звук заранее наделен некими, от природы ему данными дифференциальными признаками, которые можно независимо от конкретного языка выражать математическими формулами². Такой под-

¹ A. Martinet, *Economie des changements phonétiques*, Berne, 1955.

² См., например, Р. Г. Пиотровский, *Еще раз о дифференциальных признаках фонемы*, ВЯ, 1960, 6.

ход кажется нам принципиально недопустимым по следующим соображениям. Акустически звук обладает определенными физическими характеристиками, количество градаций которых принципиально безгранично. На уровне акустики никаких противопоставлений нет, существует только тождество и нетождество различных звуков. Естественно, если бы мы в своей речи пользовались требованием акустического тождества, то никакое звуковое общение не было бы осуществимо, так как дважды произнести а к у с т и ч е с к и тождественный звук практически невозможно.

Мы можем физически измерить данный звук и проградуировать все возможные звуки при помощи какой-нибудь сетки (частотной, амплитудной, временной), как в физике градуируется температурная характеристика (шкалы Цельсия, Реомюра, Фаренгейта). Однако, в отличие от подобных шкал, дающих абсолютные параметры объектов, дифференциальный признак, манифестирующий объекты через отношения противопоставленности другим объектам, является о т н о с и т е л ь н ы м понятием. Противопоставления появляются, когда имеется определенная ситуация, сравнимая с другой ситуацией. Так, например, в определенном географическом пункте, в определенное время мы можем говорить о погоде как о теплой или холодной, непременно проводя сравнение с погодой в другой момент времени или в другом географическом пункте. Но говорить о теплой или холодной погоде абстрактно — бессмысленно.

В сущности классификация погоды на теплую или нетеплую есть введение соответствующего дифференциального признака. Важно учитывать, с одной стороны, универсальность дифференциального признака (любое температурное состояние погоды можно, по сравнению с другой погодой, описать через дифференциальный признак «теплый — нетеплый»), с другой стороны, его принципиальную ситуативность (физическое наполнение зависит от конкретных условий и объектов противопоставления)³.

Из универсальности дифференциального признака следует, что можно задать на бесконечном множестве звуковых градаций и звуковых языков конечное число используемых звуковых контрастов. При этом надо иметь в виду, что на таком «панъязыковом» уровне в понятии дифференциального признака нет почти ничего акустического (так же как в тепловом признаке «теплый — нетеплый» — реальной, конкретной температурной характеристики), т. е. в общем виде не представляется возможным ввести какой-

³ Вероятно, процесс познания осуществляется через выявление дифференциальных признаков соотносимых предметов и явлений. По сути дела, знаменитое рассуждение В. И. Ленина о стакане в связи с вопросом о диалектике познания есть замечательный пример раскрытия сущности предмета в его отношениях с остальным миром через дифференциальные признаки: «... стакан имеет не только эти два свойства или качества или стороны [т. е. быть стеклянным цилиндром и инструментом для питья. — А. К.], а бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и „опосредствований“ со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-папье, как помещенье для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем, и так далее и тому подобное».

Далее. Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и т. п. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или даже вовсе без дна и т. д.» (В. И. Л е н и н, Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках Троцкого и Бухарина, Собр. соч., 32, стр. 71—72). Из этого рассуждения, в частности, вытекает, что конкретный набор дифференциальных признаков данного предмета может быть совершенно различным в зависимости от целей определения, т. е.: а) предмету может приписываться положительное или отрицательное значение дифференциального признака в зависимости от ситуации, б) необходимо выделение существенных и несущественных признаков предмета относительно данной ситуации.

либо фиксированный количественный критерий в акустическое определение дифференциального признака, хотя терминологически признак задается акустически. Наоборот, абсолютизация универсальности дифференциального признака ведет к признанию за ним конкретной акустической характеристики, что дискредитирует понятие дифференциального признака.

Из ситуативности дифференциального признака следует, что об акустическом дифференциальном признаке можно говорить, только имея в виду конкретный язык, и попытка устанавливать единые формулы (а тем более пороги) описания дифференциальных признаков обречена на неудачу. Абсолютизация же ситуативности дифференциального признака ведет к отказу от сведения звуковых контрастов в единую систему и исключает возможность построения теории общей фонологии. Таким образом, дифференциальный признак — фонологическое, а не акустическое понятие, хотя может и должен быть интерпретирован акустически. Фонологически важно не тождество звуков, а их противопоставленность другим звукам. Это делает возможным использование звуковой субстанции в языковых целях. Все многообразие акустических характеристик делится в конкретном языке в пределах фиксированных позиций на ряд непересекающихся подмножеств, каждое из которых противопоставлено всем остальным. В каждом конкретном языке это деление задается и контролируется его фонологической системой, вне которой оно не имеет смысла. Поэтому оказывается возможным, чтобы два адекватных с заданной точностью звука описывались в разных языках разным (а может быть, и противоположным) набором дифференциальных признаков.

Исходя из изложенных предпосылок, произведено описание системы гласных новогреческого языка при учете универсальности звуковых контрастов и в то же время специфики их проявления в описываемом языке. Поэтому использованные при описании названия дифференциальных признаков не всегда соответствуют традиционно вкладываемому в них акустическому содержанию.

При акустическом исследовании за основу брался разговорный язык населения Афин, в котором существует 5 гласных, образующих наиболее часто встречающийся в языках мира фонологический треугольник (по терминологии Н. С. Трубецкого, трехступенчатую двухклассную треугольную систему ⁴):

$$\begin{array}{ccc} & i & u \\ & e & o \\ & & \epsilon \end{array}$$

Гласные новогреческого языка *i*, *e*, *a*, *o*, *u* исследовались в четырех позициях (в изолированном слоге, в начале, конце и середине слова), в трех типах *p*-, *t*-, *k*-окружений (например: *pi*, *i'pos*, *'pira*, *pa'pi*), наговоренные четырьмя дикторами (2-е мужчины и 2 женщины). Было получено 220 спектров на спектрографе лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи 1-го МГПИИЯ. Полученные спектры были подвергнуты двухформантному анализу (считалось, что для опознавания гласных новогреческого языка достаточно выделить две форманты), принципы которого здесь не рассматриваются. Средние значения частот формант — *F1* и *F2* — сведены в таблицу 1.

Было обнаружено, что в некоторых конкретных случаях наблюдается совпадение формант звуков *i* и *e*, *u* и *o*. В этих случаях решающее значение для их опознавания имеет интенсивность. Интенсивность (*A*) второй

⁴ См.: Н. С. Трубецкий, Основы фонологии, М., 1960, стр. 123; Ch. F. N. Coakett, A manual of phonology, Baltimore, 1955, стр. 85.

форманты относительно первой соответственно выше у *o* и *e*, чем у *u* и *i*. Для этих звуков найдено среднее отношение интенсивности первой форманты ко второй (по экспериментальным данным) (см. табл. 2).

Таблица 1

| Гласные | F | Мужские диалекты | | | Женские диалекты | | | Среднее (4 диктора) |
|---------|---|------------------|------|---------|------------------|------|---------|---------------------|
| | | Дикторы | | Среднее | Дикторы | | Среднее | |
| | | 1-й | 2-й | | 3-й | 4-й | | |
| i | 1 | 358 | 390 | 374 | 430 | 401 | 416 | 395 |
| | 2 | 2442 | 3199 | 2821 | 3430 | 3402 | 3416 | 3118 |
| e | 1 | 475 | 487 | 481 | 496 | 495 | 496 | 488 |
| | 2 | 2002 | 2255 | 2129 | 2570 | 2429 | 2500 | 2320 |
| a | 1 | 817 | 895 | 856 | 875 | 931 | 903 | 880 |
| | 2 | 1370 | 1625 | 1498 | 1436 | 1591 | 1514 | 1506 |
| o | 1 | 470 | 491 | 481 | 496 | 444 | 470 | 476 |
| | 2 | 899 | 935 | 917 | 897 | 899 | 898 | 908 |
| u | 1 | 408 | 393 | 401 | 436 | 425 | 431 | 416 |
| | 2 | 877 | 844 | 861 | 799 | 782 | 791 | 826 |

Процентное распределение частотных значений $F1$ и $F2$ для всех 5 гласных дано на рис. 1 и 2 (по оси абсцисс отложена частота форманты в логарифмическом масштабе, по оси ординат — количество случаев в процентах попаданий форманты в данную частоту).

Таблица 2

| | o | u | e | i |
|---------|-----|-----|------|------|
| A1 : A2 | 1,0 | 2,9 | 1,10 | 1,92 |

*

При фонологическом описании следует учитывать, что число оппозиций X в фонематической системе находится в следующих пределах в зависимости от n — числа фонологических единиц (фонем): $\log_2 n \leq x \leq \frac{n(n-1)}{2}$, где X есть x , если x целое число, или ближайшее большее целое число, если x — дробное число⁵. В нашем случае (для 5 фонем) минимальное число оппозиций — 3, максимальное — 10. Разумеется, желательно, чтобы код был наиболее экономичным, т. е. имел минимальную избыточность. Поэтому мы исходили из стремления дать акустическую интерпретацию фонологических оппозиций, используя минимальное количество дифференциальных признаков. Теоретически достаточно трех бинарных дифференциальных признаков, чтобы противопоставить все фонемы данного языка. Задача состояла в том, чтобы выявить такие акустические противопопо-

⁵ Ср.: J. Lotz, The structure of human speech, «Transactions of the New York Academy of sciences», ser. II, XVI, 7, 1954, стр. 382; M. Halle, The strategy of phonemics, «Word», X, 2—3, 1954, стр. 204.

ставления, которые были бы необходимы и достаточны для опознавания всех гласных звуков новогреческого языка и различения их.

Система дифференциальных признаков строилась многоступенчатым каскадным пороговым способом, т. е. так, чтобы каждый признак занимал определенное порядковое место в опросном листе и определял дальнейшие вопросы по опознаванию звуков, а акустически переход от одного качества к другому определялся неким порогом, критической величиной, по обе стороны которой находятся разные члены оппозиции. Дифференциальные признаки рассматриваются поэтому в определенном порядке.

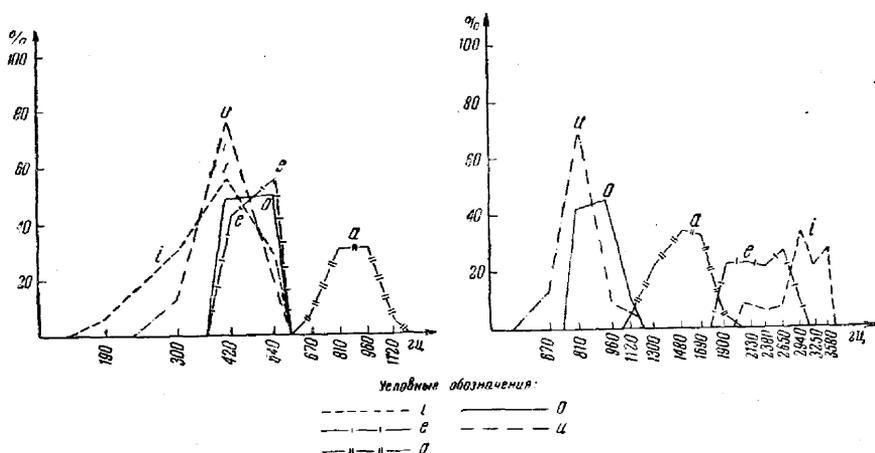


Рис. 1. Процентное распределение частотных значений F_1

Рис. 2. Процентное распределение частотных значений F_2

1. Признак компактность — некомпактность. Компактные звуки противопоставляются некомпактным как имеющие наиболее высокую по частоте первую форманту. Как видно на рис. 1, звук a по положению первой форманты резко отличается от всех остальных звуков, а именно его первая форманта не перекрывается никакой другой первой формантой остальных звуков. Поскольку наше построение пороговое, необходимо выделять именно неперекрывающиеся признаки (с тем, чтобы можно было установить точную границу).

Таблица 3

| Гласные | Дикторы | | | | Площадь рассеивания значений |
|---------|---------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
| i | 2,5539 | 2,5911 | 2,6335 | 2,6035 | 2,5539—2,6335 |
| u | 2,6107 | 2,5944 | 2,6395 | 2,6335 | 2,5944—2,6395 |
| e | 2,6767 | 2,6875 | 2,6955 | 2,6946 | 2,6767—2,6955 |
| o | 2,6721 | 2,6911 | 2,6955 | 2,6477 | 2,6477—2,6955 |
| a | 2,9721 | 2,9518 | 2,9420 | 2,9689 | 2,9420—2,9721 |

Ряд исследователей предлагает выражать величину того или иного признака с использованием десятичных логарифмов, так как это значительно упростит вычисление и будет отражать восприятие частоты ухом⁶. Для определения компактности — некомпактности мы использовали формулу $x = \lg F_1$ и получили следующие значения (здесь, как и всюду ниже,

⁶ См. W. J a s s e m, A phonologie and acoustic classification of polish vowels, ZPh, XI, 4, 1958, стр. 370—376.

брались средние значения для каждого диктора, а также площадь рассеивания этих средних значений для 4 дикторов) (см. табл. 3).

Как видно из табл. 3, примерный порог, равный 2,7500, может быть порогом неперекрывающихся оппозиций, а звук *a* определяется как компактный в противоположность всем остальным звукам. Поскольку свойством компактности обладает только звук *a*, то для его опознавания достаточно одного этого признака. Первую ступень опознавания, для наглядности изображенную графически, см. на табл. 6.

2. Признак низкая тональность — высокая тональность (гравис — акут). В основе этого признака лежит значение второй форманты. Высокая вторая форманта определяет звук как высокий, а низкая — как низкий. Для определения тональности мы использовали формулу $x = \lg F2$ и получили следующие значения:

Таблица 4

| Гласные | Дикторы | | | | Площадь рассеивания значений |
|----------|---------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
| <i>i</i> | 3,3778 | 3,5050 | 3,5353 | 3,6450 | 3,3778—3,6450 |
| <i>e</i> | 3,3012 | 3,3534 | 3,4099 | 3,3854 | 3,3012—3,4099 |
| <i>u</i> | 2,9430 | 2,9340 | 2,8932 | 2,9025 | 2,8932—2,9430 |
| <i>o</i> | 2,9538 | 2,9708 | 2,9528 | 2,9689 | 2,9528—2,9708 |

Итак, порогом неперекрывающихся оппозиций по признаку тональности может быть примерно значение 3,1000, выше которого лежат высокие звуки, а ниже — низкие. К высоким звукам относятся *i* и *e*, к низким — *o* и *u*. Это видно и на рис. 2, где зоны встречаемости этих двух пар звуков не перекрываются. Результаты анализа см. на табл. 6 (1-я и 2-я ступени).

3. Признак диффузности — недиффузности. Как видно из рис. 1 и 2, для разграничения звуков *o* — *u* и *e* — *i* недостаточно значения $F1$ или $F2$. Более устойчивую идентификацию звуков дает отношение $F2$ к $F1$. Но в тех случаях, когда эти пары звуков совпадают по значению первой и второй форманты, не помогает и их отношение. И тут на помощь приходит интенсивность формант (см. выше). При определении признака диффузности — недиффузности мы брали произведение отношений $F2$ к $F1$ и $A1$ к $A2$, что при логарифмическом исчислении соответствует формуле $x = \lg F2 - \lg F1 + \lg \frac{A1}{A2}$, и получили следующие результаты:

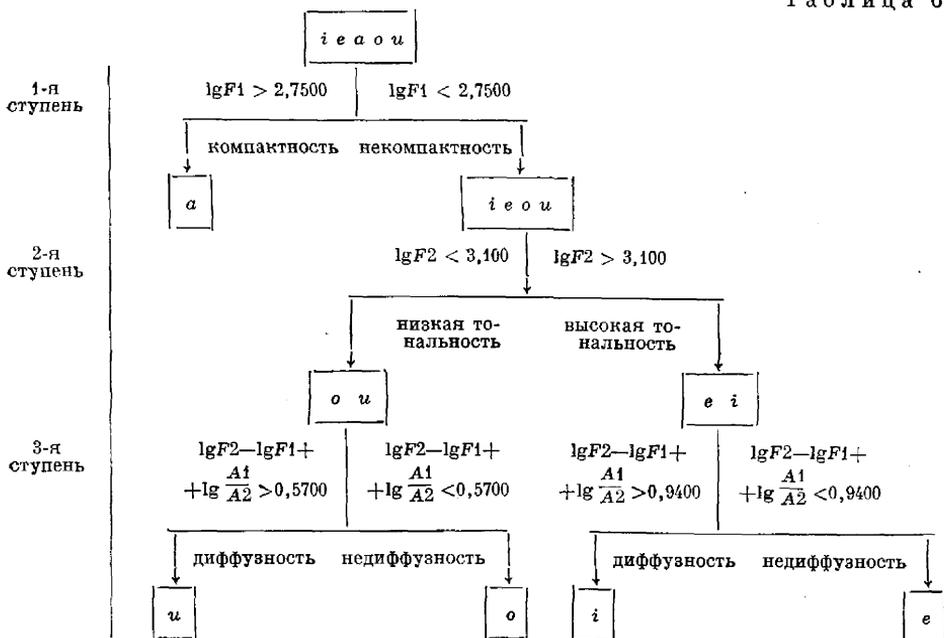
Таблица 5

| Гласные | Дикторы | | | | Площадь рассеивания значений |
|----------|---------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
| <i>i</i> | 1,1072 | 1,1972 | 1,1941 | 1,3248 | 1,1072—1,3248 |
| <i>e</i> | 0,6659 | 0,7073 | 0,7548 | 0,7322 | 0,6659—0,7548 |
| <i>u</i> | 0,7947 | 0,8020 | 0,7161 | 0,7304 | 0,7161—0,8020 |
| <i>o</i> | 0,4056 | 0,3936 | 0,3712 | 0,4354 | 0,3712—0,4354 |

Таким образом, удается различить и противопоставить члены пар *i* — *e* и *u* — *o*, причем для каждой из этих пар порог будет различным. В паре *i* — *e* таким порогом будет значение 0,9400, выше которого будут находиться диффузные звуки, а ниже — недиффузные. В паре же *u* — *o* пороговым будет значение 0,5700, выше которого будут находиться диффузные звуки, а ниже — недиффузные.

В результате трехступенчатой каскадной пороговой классификации мы можем опознать все гласные звуки новогреческого языка. Сама эта классификация в целом может быть представлена на таблице 6.

Таблица 6



Итак, действительно оказалось достаточно трех пар дифференциальных признаков, чтобы описать систему фонологических противопоставлений (вводить другие признаки было бы неэкономично, так как желательно использовать минимальное количество дифференциальных признаков). Поскольку исследуется только система ударных гласных, признак ударности здесь излишний. Систему дифференциальных признаков можно изобразить в таблице 7.

Таблица 7

| Компактность | Некомпактность | |
|---------------|--------------------|---------------------|
| | низкая тональность | высокая тональность |
| a | | |
| Диффузность | u | i |
| Недиффузность | o | e |

Или иначе: если изобразить дифференциальные признаки один под другим, знаком + обозначить положительный член оппозиции, знаком — отрицательный и знаком 0 несущественность данного признака, то система будет выглядеть, как это представлено на табл. 8.

Таблица 8

| Дифференциальный признак | Гласные | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| | a | u | o | e | i |
| Компактность/некомпактность | + | — | — | — | — |
| Низкая тональность/высокая тональность | 0 | + | + | — | — |
| Диффузность/недиффузность | 0 | +(0)* | -(0)* | -(0)* | +(0)* |

* Польш в скобках обозначает, что в некоторых (но не во всех) оппозициях признак диффузности для данной гласной избыточен (например, в оппозициях u — e и o — i).

Весьма наглядно можно изобразить процесс трехступенчатой каскадной идентификации гласных геометрически.

0-я ступень (рис. 3). Пять кружков изображают пять равновероятных ответов на вопрос, какую гласную кружок изображает.

1-я ступень (рис. 4). Между кружками устанавливается отношение компактности. Гласный *a* опознается как компактный и противопоставляется всем остальным гласным как некомпактным (ответ в остальных четырех кружках не определен).

2-я ступень (рис. 5). Между четырьмя кружками устанавливается отношение тональности. Характерно, что на этом этапе можно увеличить вдвое вероятность правильного опознавания, но точное место ни одной из четырех гласных не определено.

3-я ступень (рис. 6). Между парами кружков устанавливается отношение диффузности. На этом этапе происходит полное опознавание всех гласных. Каждый гласный занимает определенный кружок.

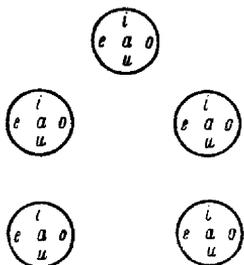
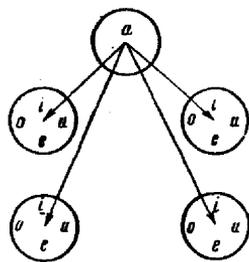
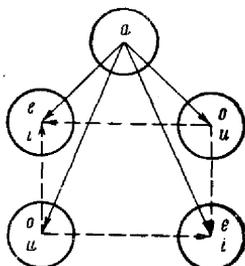


Рис. 3. Нулевая ступень идентификации новогреческих гласных.



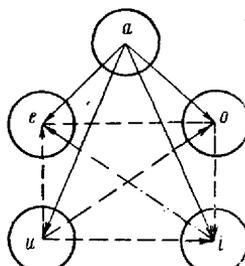
Отношение компактности; стрелка указывает на отрицательный член оппозиции.

Рис. 4. 1-я ступень идентификации новогреческих гласных



Отношение тональности

Рис. 5. 2-я ступень идентификации новогреческих гласных



Отношение диффузности

Рис. 6. 3-я ступень идентификации новогреческих гласных

В результате процесса идентификации получена пирамида, грани и диагонали основания которой символизируют дифференциальные признаки, а углы — пересечения, пучки их бинарных значений, т. е. фонемы. При указанном расположении гласных в углах основания видно, что по признаку тональности все некомпактные гласные противопоставлены друг другу, а по признаку диффузности — только пары *u* — *o* и *i* — *e*. Таким образом, получается 10 оппозиций, которые соответствуют максимальному числу

опозиций по формуле $x = \frac{n(n-1)}{2}$. Чтобы показать акустическую устойчивость найденных оппозиций, можно вычислить ту величину различия, которой они определяются. Эта величина измеряется различием в значении дифференциальных признаков, а именно вычитанием логарифмических значений, характеризующих данный признак противопоставленных гласных. Полученные данные представлены в табл. 9.

Таблица 9

| Дифференциальный признак | Оппозиция | Величина различия | | | | | Площадь рассеивания значений |
|--|------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------|------------------------------|
| | | Дикторы | | | | | |
| | | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | | |
| Компактность — некомпактность | <i>a/i</i> | 0,4182 | 0,3607 | 0,3085 | 0,3654 | 0,3085—0,4182 | |
| | <i>a/u</i> | 0,3614 | 0,3574 | 0,3025 | 0,3364 | 0,3025—0,3614 | |
| | <i>a/e</i> | 0,2954 | 0,2643 | 0,2465 | 0,2743 | 0,2465—0,2954 | |
| | <i>a/o</i> | 0,3000 | 0,2607 | 0,2465 | 0,3212 | 0,2465—0,3212 | |
| Низкая тональность — высокая тональность | <i>u/i</i> | 0,4348 | 0,5710 | 0,6421 | 0,7425 | 0,4348—0,7425 | |
| | <i>u/e</i> | 0,3582 | 0,4194 | 0,5167 | 0,4829 | 0,3582—0,5167 | |
| | <i>o/i</i> | 0,4240 | 0,5342 | 0,5825 | 0,6761 | 0,4240—0,6761 | |
| | <i>o/e</i> | 0,3474 | 0,3826 | 0,4571 | 0,4165 | 0,3474—0,4571 | |
| Диффузность — недиффузность | <i>u/o</i> | 0,3891 | 0,4084 | 0,3449 | 0,2950 | 0,2950—0,4084 | |
| | <i>i/e</i> | 0,4419 | 0,4899 | 0,4393 | 0,6226 | 0,4393—0,6226 | |

Как видно из таблицы, минимальным различием характеризуются некоторые оппозиции по признаку компактности — некомпактности (0,2465), тем не менее и этого различия вполне достаточно для того, чтобы отличить звук *a* по первой форманте от всех других звуков. Поэтому большее различие указывает лишь на большую дифференциацию положительного и отрицательного компонентов бинарного противопоставления.

Все приведенные выше данные показывают, что указанные три дифференциальных признака необходимы и достаточны для описания фонологической системы гласных новогреческого языка.

ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ *

Вопрос № 9: «Какого характера должен быть вопросник по синтаксису?...»

Синтаксический вопросник относится, по-видимому, к числу тех разделов программы для общеславянского лингвистического атласа, составление которых представляет наибольшие трудности: диалектный синтаксис славянских языков в настоящее время изучен еще совершенно недостаточно, и поэтому составители синтаксического вопросника не располагают сколько-нибудь полным инвентарем различительных для диалектов славянских языков синтаксических черт — необходимой базой для правильного отбора явлений в вопросник.

При настоящих условиях для того, чтобы показать в атласе синтаксические различия диалектов славянских языков так же полно, как, вероятно, могут быть показаны фонетические и морфологические различия, потребовался бы вопросник, рассчитанный на выявление еще не определенных в науке различий, т. е. на обследование всего синтаксического строя диалектов. Однако обследование диалектного синтаксиса по такому вопроснику выходит за пределы возможностей работы по атласу: сколько-нибудь полное обследование синтаксического строя говора не может быть проведено одновременно со сбором материала по другим разделам программы за сравнительно небольшой срок пребывания в населенном пункте. При составлении вопросника приходится считаться с тем, что сбор материала по синтаксису, при котором в принципе совершенно исключен метод прямого опроса, представляет для собирателя материала значительные трудности. Синтаксический вопросник для общеславянского атласа должен поэтому, как нам кажется, состоять из вопросов, касающихся явлений, заведомо различительных для диалектов славянских языков, причем отбор явлений должен быть проведен так, чтобы вопросник не был слишком большого объема.

Мы считали бы целесообразным при отборе явлений для вопросника принимать во внимание не только важность того или иного явления для генетического или типологического изучения синтаксиса славянских языков, но и то, в какой мере возможно его изучение методами лингвистической географии. Ограниченность применения методов лингвистической географии к изучению синтаксических различий связана с двумя основными моментами:

1) условия сбора материала для атласа (когда необходимо за ограниченный промежуток времени выявить и определить большое количество разнообразных диалектных явлений) мало подходят для изучения тех синтаксических особенностей, которые требуют длительного специального наблюдения (их лучше изучать монографически);

2) для картографирования необходимо, чтобы данные обследованных говоров составляли ряд четко соотнесенных между собой в том или ином отношении величин, поэтому методы лингвистической географии нецелесообразно применять в тех случаях, когда различия между говорами по какому-то признаку не являются достаточно четкими (например, по

* Продолжение публикации ответов на анкету, помещенную в № 5 за 1960 г. (стр. 45—46).

функции некоторых союзов, по относительной частоте употребления каких-либо синонимичных конструкций) или не могут быть в настоящий момент выявлены с надлежащей полнотой и определенностью — в силу неизученности существа явления и связанной с этим невозможности достаточно четко и расчлененно сформулировать вопрос в программе.

Названными обстоятельствами (как условиями сбора материала, так и условиями его картографирования) объясняется тот факт, что лингвогеографические методы оказываются обычно более применимыми при изучении различий, связанных со структурой каких-либо синтаксических единиц — словосочетаний или предложений, — чем при изучении различий в их значении и употреблении.

Общая направленность синтаксического вопросника, как и других вопросников, обусловлена конечными целями общеславянского лингвистического атласа. В соответствии с тем, что первой задачей атласа будет, по-видимому, — дать материал для решения вопросов генетического и сравнительно-исторического характера, синтаксический вопросник должен быть ориентирован, как нам кажется, прежде всего на выяснение судьбы древних конструкций в разных диалектах. Но при этом наиболее желательными были бы вопросы, посвященные таким древним синтаксическим конструкциям, которые, употребляясь в том же или измененном виде, оказываются живыми элементами грамматического строя хотя бы части современных славянских диалектов: собранный по этим вопросам материал будет одновременно и материалом для типологической характеристики синтаксического строя диалектов славянских языков (таковы, например, конструкции с некоторыми древними предлогами или конструкция дательного принадлежности). В программу могли бы быть включены и вопросы, преследующие чисто типологические цели, но они должны занимать здесь меньшее место.

Мы бы считали, что вопросы в синтаксическом вопроснике для общеславянского лингвистического атласа могут быть следующих основных четырех типов:

1. Вопросы, имеющие целью выяснить, употребляется ли в говоре какая-либо определенная конструкция (например, конструкция двойного винительного или предложения с главным членом — страдательным причастием на *-но*, *-то*). Такие вопросы могут касаться как древних славянских конструкций, так и новообразований.

2. Вопросы, направленные на то, чтобы определить, употребляется ли в говоре та или иная древняя славянская конструкция в своей старой форме или она подверглась модификации (например, в каком падеже — винительном или родительном — выступает имя в пространственной конструкции с предлогом *мимо*?; употребляется ли частица *не* при сказуемом в отрицательных предложениях с отрицательным местоимением или наречием?).

3. Вопросы, целью которых является выяснение форм выражения каких-либо определенных синтаксических отношений в разных диалектах славянских языков [например, способ обозначения лица или предмета, с которым кто-либо (что-либо) сравнивается в оборотах с прилагательным или наречием сравнительной степени: *старше меня*, *старше за меня*, *staršíj víd мене*, *starší než já...*, или лица (предмета), к которому направлено действие: *пришел к нам*, *прийшов до нас...*]. Такого рода вопросы в программе (предполагающие путь от значения к форме выражения) правомерны в тех случаях, когда само значение может быть сформулировано настолько четко и определенно, что исключается возможность получить в ответах несопоставимые данные, т. е. конструкции, близкие, но не вполне совпадающие по значению.

4. Вопросы, предполагающие установление различий в значении и употреблении каких-либо синтаксических структур (например, род. падежа прямого объекта или составного сказуемого с именной частью, выра-

женной формой твор. падежа). Количество таких вопросов в программе должно быть минимальным в связи с тем, что изучение синтаксических различий этого рода методами лингвистической географии представляет значительные трудности, как уже отмечалось выше.

Среди явлений, различительных для диалектов славянских языков, есть такие, которые представляют собой, с одной стороны, синтаксическое различие, с другой — морфологическое или лексическое. Так, например, деепричастия, употребляющиеся в качестве сказуемого, могут рассматриваться и как факт синтаксический — как форма выражения сказуемого с особым оттенком значения, отличным от значения, выражаемого в этих диалектах глагольными формами на *-л*, и как факт морфологический — деепричастие входит здесь в систему форм времени глагола. Употребление необщераспространенных предлогов (главным образом новообразований) и союзов представляет собой, с одной стороны, факт лексический (различие в словарном составе), с другой — синтаксический, поскольку предлоги и союзы являются элементами определенных синтаксических конструкций. Каждому из явлений такого рода должен быть посвящен в программе только один вопрос, при формулировке которого следует предусмотреть все стороны явления. Кроме того, известная экономия при составлении программы возможна за счет того, что материал по некоторым синтаксическим явлениям может быть получен в ответах на вопросы чисто морфологического характера, конечно, при внесении в формулировку вопроса некоторых дополнительных условий (так, например, сбор материала по предложным конструкциям мог бы быть предусмотрен в вопросах, касающихся падежных форм имени).

И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко (Москва)

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. В. ШЕВОРОШКИН

КАРИЙСКИЙ ВОПРОС

Один из древних языков западной части Малой Азии — карийский — представлен небольшим количеством (около ста) надписей, частью сильно поврежденных и в целом насчитывающих около 2000 знаков¹. Известно, кроме того, несколько карийских слов в греческой передаче; из греческих же и отчасти латинских источников известна и карийская топонимика (характеризующаяся в основном общемалоазийскими элементами)². Большинство карийских надписей найдено в Египте (они относятся к VII — V вв. до н. э.) — это в основном граффити, принадлежащие «перу» карийских наемников, служивших в египетском войске; именно на материалах этих надписей проводились первые исследования по карийскому языку³. Наиболее длинные надписи обнаружены на территории древней Карики

¹ Эти надписи собраны в следующих изданиях: J. F r i e d r i c h, Kleinasiatische Sprachdenkmäler, Berlin, 1932, стр. 90 и сл.; O. M a s s o n, J. Y o u o t t e, Objets pharaoniques à inscription carienne, le Caire, 1956 [1957] (где приводятся в основном надписи, содержащиеся в хрестоматии И. Фридриха, но копии которых были самым тщательным образом сверены авторами с подлинниками, в результате чего были сделаны некоторые исправления, — под индексом F ниже приводим надписи из хрестоматии И. Фридриха с поправками О. Массона); L. D e r o u, Les inscriptions cariennes de Carie, «L'Antiquité classique», XXIV, 2, 1955 (на эти надписи указывает индекс D). Кроме того, две из карийских надписей, обнаруженных проф. Ж. Лекланом в Египте (на гробнице Монтуемхата), были опубликованы в качестве приложения к статье: J. L e s l a n t, Fouilles et travaux en Égypte, «Orientalia», Nova series, XX, 4, 1954, стр. 474 (далее обозначаются — L 10 и L 11). Ж. Леклан (Страсбург) любезно предоставил в мое распоряжение копии всех найденных им надписей (L 1 — L 11); пользуюсь случаем, чтобы выразить ему свою искреннюю признательность. Я весьма признателен также проф. А. Хойбеку (Нюрнберг), проф. О. Массону (Париж), проф. Ж. Юайотту (Париж) и д-ру Г. Нойману (Геттинген) за присылку ряда материалов, необходимых при дешифровке карийских текстов. Уже после завершения работы над статьёй я познакомился — благодаря любезности д-ра ист. наук И. М. Дьяконова и других сотрудников Государственного Эрмитажа — с двуязычной (карийско-египетской) надписью на статуэтке Исида, хранящейся в Эрмитаже. Эта надпись будет опубликована в ближайшее время.

² См.: J. S u n d w a l l, Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnisse kleinasiatischer Namenstämme, Leipzig, 1913; ег о ж е, Kleinasiatische Nachträge, Helsinki, 1950 (о необходимости критического подхода к материалу, собранному И. Сундвалем, см. O. M a s s o n, Notes d'anthroponymie grecque et asianique, BzNf, X, 2, 1959, стр. 164); W. B r a n d e n s t e i n, Karische Sprache, в кн.: «Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», neue Bearbeitung begonnen von G. Wissowa, hrsg. von W. Kroll, Suppl.-Bd. VI, Stuttgart, 1935, стр. 140 и сл.; V. G e o r g i e v, Der indoeuropäische Charakter der karischen Sprache, «Archiv orientální», XXVIII, 4, 1960; G. N e u m a n n, Untersuchungen zum Weiterleben hethitischen und luwischen Sprachgutes in hellenistischer und römischer Zeit, Wiesbaden, 1961, стр. 76—79. Анализ карийских имен в греческой передаче см. также в двух монографиях А. Хойбека (A. H e u b e c k, Lydiaka. Untersuchungen zu Schrift, Sprache und Götternamen der Lyder, Erlangen, 1959; ег о ж е, Praegraeca. Sprachliche Untersuchungen zum vorgriechisch-indogermanischen Substrat, Erlangen, 1961).

³ Сбором и изучением карийских граффити из Египта на протяжении многих лет занимался первый исследователь карийского языка английский египтолог А. Г. Сейс; в 1962 г. исполняется 90 лет с тех пор, как этот ученый приступил к своей первой работе по карийскому языку (см. A. H. S a u s e, The Karian inscriptions, «Transactions of the Royal society of literature», London, 1874); первые копии карийских граффити выполнены Р. Лепспусом в 1844 г. (с этих граффити, относящихся, видимо, к 591 г. до н. э., проф. А. Бернан снял в 1956 г. новые копии; при этом было обнаружено

на западе Малой Азии; они относятся, очевидно, к IV — III вв. до н. э.⁴ В окрестностях Афин в 1953 г. была найдена греческо-карийская билингва, относящаяся к VI в. до н. э. и сохранившаяся, к сожалению, лишь частично; попытки дешифровки карийской версии этой билингвы закончились полной неудачей⁵. В целом неудачными были вообще все предпринимавшиеся до сих пор попытки прочесть карийские надписи⁶; причем, как ни странно, опыт первых исследователей, имевших в своем распоряжении очень скудный материал, отличается гораздо большим реализмом, чем все последующие попытки, начиная с неудачной работы Ф. Борка, пытавшегося, вопреки фактам, трактовать карийскую письменность как результат смешения буквенных (греческих) и слоговых (кипрских) знаков⁷. Собственно, эту ошибку допустил еще А. Сейс, постулировавший слоговой характер (типа «согласный + гласный») некоторых знаков⁸.

Следует отметить, что большинство ученых сходится в трактовке ряда знаков, соответствующих греческим буквам А, О, V, F, P, Λ, N, ⊕, T, Δ, M (= Σ). Тем не менее существует тенденция, идущая от А. Менца, наделять карийские знаки, имеющие формальные параллели в восточно-греческих алфавитах, звуковым значением, резко отличным от значений несколько ранее неизвестных карийских надписей, — ср. ниже, примеч. 16, 19, 20 и 26).

⁴ Факсимиле самой большой — Кавнской — надписи, обнаруженной в 1949 г., см., в частности, в кн.: И. Ф р и д р и х, Дешифровка забытых письменностей и языков, М., 1961, стр. 164. В этой надписи, сильно поврежденной по краям, сохранилось свыше 230 знаков. На основании того, что в такой большой надписи используется всего 27 разных знаков, Х. Т. Боссерт пришел к выводу о буквенном характере карийской письменности. Эту точку зрения поддержал позднее А. Хойбек, сопоставивший это число с относительно небольшим количеством разных знаков (32), встретившихся в надписях, исследованных в упомянутой выше книге О. Массона и Ж. Юайотта. А. Хойбек писал по этому поводу: «Метод классификации знаков, на котором настаивает Массон, ... несомненно показал бы, что число знаков, использованных на ограниченной территории в ограниченный период времени, всякий раз соответствовало репертуару знаков, предполагаемому для буквенного письма; так, в большой Кавнской надписи, в отношении которой особенно ясно, что в ней использована особая разновидность карийской письменности, можно обнаружить всего лишь 27 различных знаков; сверх того в кавнской разновидности карийской письменности, вероятно, имелись еще один-два знака» (A. H e u b e r k, [рец. на кн.:] O. Masson, J. Yoyotte, Objets pharaoniques... «Gnomon», XXXI, 4, 1959, стр. 336).

⁵ М. Трой (которого поддержал П. Кречмер) исходил из неверной предпосылки, что четыре последовательных знака карийской версии соответствуют греческим буквам σ, κ, ν, λ (в имени Σκλ[α]μος), очевидно, содержащемся в греческой версии). См. M. T r o y, Eine griechisch-karische Bilingue und ihre Bedeutung für die Geschichte der karischen Schrift, «Glotta», XXXIV, 1/2, 1954. Ср. P. K r e t s c h m e r, Zu der karischen Zeile der Σῆμα-Inschrift aus Athen, там же, стр. 160, где Кречмер в генетическом отношении сопоставляет карийский язык с хиналугским (который, по его мнению, является «истинно хеттским»), исходя, в частности, из неверного чтения карийск. MA- (ma, по Трою и Кречмеру), интерпретируемого как местоимение «я» (ср. хиналуг. энклитику ma). Не менее фантастичны построения Ф. Штейнгера, неверно отождествившего знак А со знаком P (см. F. S t e i n h e r r, Der karische Apollon, «Die Welt des Orients», II, 2, 1955, стр. 190); следует отметить, что Ф. Штейнгер вообще склонен видеть в надписях те знаки, которые соответствуют его построениям, так, SG он трактует как «оборотное» P ([t] в его интерпретации) и т. д.

⁶ О состоянии исследований по карийскому языку см.: J. F r i e d r i c h, указ. соч., стр. 163 и сл.; А. Н е у б е р к, указ. рецензия, стр. 333 (там же приводится основная литература); В. В. Ш е в о р о ш к и н, Проблема карийского языка в исследованиях последнего десятилетия, «Этимологический сборник», 1 (в печати). Следует отметить, что ученые, высказывавшие в последнее время наиболее трезвые суждения относительно карийского языка, сами в интерпретации карийских текстов участия не принимали (к числу этих ученых относятся Х. Боссерт, а также А. Хойбек и О. Массон; последний, правда, высказал ряд соображений относительно чтения отдельных знаков, о чем см. ниже; однако в большинстве случаев это были лишь подтверждения наиболее реальных из существующих теорий).

⁷ F. B o r k, Die Schrift der Karer, «Archiv für Schreib- und Buchwesen», 4, 1930; критические замечания О. Массона см.: O. M a s s o n, J. Y o y o t t e, указ. соч., стр. 39.

⁸ См. сводную таблицу в кн.: H. J e n s e n, Die Schrift in der Vergangenheit und Gegenwart, 2. neubearb. und erweiterte Auflage, Berlin, 1958, стр. 452.

соответствующих греческих букв⁹. Во многом сходные с карийским ликийский и лидийский чисто буквенные алфавиты свидетельствуют о том, что такие отклонения хотя и возможны, но в количественном отношении весьма незначительны¹⁰.

*

Детальный структурно-дистрибутивный анализ карийских текстов позволяет отделить в них гласные от согласных¹¹, выделить элементы, принадлежащие локальным алфавитам¹², отделить исключаящие друг друга графические варианты от тех чередующихся элементов (особенно часто встречающихся в надписях карийских наемников), которые, видимо, соответствуют колебаниям в произношении фонетически сходных звуков¹³. Исследование частотных взаимоотношений греческих букв в карийских именах, сохранившихся в греческой передаче, и алфавитных знаков в карийских текстах позволяет определить звуковое значение карийских букв или во всяком случае отнести их к той или иной группе (например, к «группе *e* — *i*», «группе *t*» и т. п.).

Результаты исследования могут быть представлены в виде следующей таблицы соответствий, в которой слева от знака равенства приводятся обозначения карийских букв в традиционной транскрипции¹⁴, а справа — обозначения, во многом еще условные, принятые в настоящей работе:

Гласные: $he=e$, $va=\varepsilon$, $he=i$, $e=E$ ¹⁵
 $o=o$, $ja=\ddot{u}$ ¹⁶, $u=u$, $t=\delta$ ¹⁷
 $a=a$

Согласные: $me=m$, $r=r$, $l=l$; $re=\lambda$; $n=n$; vu (2-й вариант) = v
 $p=p$ ($b? = b$), $vu=w$, $v=v$; Φ (только в Карию) = ϕ (?)
 $\ddot{z}=\ddot{t}$, $vo=\theta$; $no=\vartheta$, $ti=\tau$; $t=T$, $d=\Delta$ ¹⁸;
 k , $k'=k$ ¹⁹, $g=g$; ra , $ro=q$ (?)²⁰;
 $h=h$, $jo=h$ (?), $s=s$, $se=s$ (?), $z=z$ (?)

Сопоставление карийской письменности с ликийской и лидийской позволяет выявить некоторые черты, свойственные всем трем языкам: от-

⁹ См. A. Me n t z, *Schrift und Sprache der Karer*, IF, LVII, 3, 1940, где А. Менц трактует Δ как j , θ как δ , M как a , один из вариантов Λ как Π , старую форму Π как l . Ср. таблицу в книге Г. Йенсена, стр. 451; там же, стр. 452 — критические замечания Йенсена по поводу транскрипции Менца; о некоторых сомнительных интерпретациях Ф. Штейнгера см. в моем упомянутом выше обзоре.

¹⁰ См. таблицу, приводимую Г. Хо й б е к о м, в его «*Lydiaka*», ср. также J. Friedric h, указ. соч., стр. 112.

¹¹ А методике идентификации гласных и согласных на основе текстов в фонетической или буквенной записи см. в моей статье «О структуре звуковых цепей», публикуемой в сб. «Проблемы структурной лингвистики» (в печати).

¹² Важно отметить, что ни один из этих алфавитов не содержал более 30 знаков, что еще раз подтверждает буквенный характер карийской письменности (или, вернее, ее разновидностей).

¹³ Таковы колебания между $e - i - \varepsilon$, $a - e$, $t - \theta$, $k - g$, $k - h$, $\Delta - \lambda$.

¹⁴ См. таблицу в кн.: O. M a s s o n, J. Y o u o t t e, указ. соч., стр. 67, а также см.: H. J e n s e n, указ. соч., стр. 450—452; J. F r i e d r i c h, указ. соч., раздел «*Karische Texte*».

¹⁵ Графическим вариантом этого знака, редко использовавшегося в Египте и часто встречавшегося в Карию, видимо, является частый в надписях на гробнице Монтумхата знак Π (ri в традиционной транскрипции). В Кавиской надписи, в которой отсутствуют знаки для \ddot{u} и ε , звук i передается через R . На принадлежность карийских e , ε , i , \ddot{u} к гласным указывал еще А. Г. Сейс (см. сводную таблицу: H. J e n s e n, указ. соч., стр. 452).

¹⁶ В текстах Египта дважды встречается вариант знака для \ddot{u} (прямоугольник со штрихом сверху), причем один раз в консонантной записи $kmvdhsu\ddot{u}$ (граффити на статуе Рамсеса II из Абу-Симбела). В настоящей работе этот вариант оставлен без интерпретации. Исключены из рассмотрения и некоторые другие редкие знаки, в частности Ω (встречается только в Карию) и pe (в традиционной транскрипции; отмечен только в Египте).

¹⁷ В качестве знака для δ выступали лишь некоторые омонимы t , как это известно, в частности, из дистрибуции знаков этого типа в граффити на гробнице Монтумхата.

¹⁸ Соотношение знаков T и Δ в Кавиской надписи в принципе может рассматриваться как фонологическая корреляция по глухости — звонкости. Знаку T

сутствие фиксации редуцированных, а иногда и просто безударных гласных (ср. карийск. *msna-*: *mesna-*, *wvse-*: *wuvse-*), употребление различных букв для обозначения фонетически близких звуков (как правило, это разные фонемы: ср. различие трех вариантов *i* и трех вариантов *a* в лидийском²¹ и карийск. *ə*, *e*, *i*, *E* (Ш); *o*, *ù*, *u*); разветвленная система дентальных (ср. лидийские *t*, *d*, *đ*, *τ*; лидийские *t*, *d*, *θ*, *τ*); наличие целого ряда спирантов и т. д.

Можно отметить и черты, общие карийскому и «хеттским» языкам в целом: наличие лабиовелярных; смещение близких в фонетическом отношении звуков (прежде всего, смычных; возможно, это явление свидетельствует о смене фонологических корреляций²²); специфическое произношение этимологически глухих звуков [ср. карийск. (в текстах из Египта) *t* (⊕, не Т), *k* (Ψ, не К) и хет. *-tt-*, *-kk-*; ср. также чередование *k* : *h*: ноль в карийском (F 13а, F 13б, F 14 и F 15) и «хеттских» (в частности, лидийском) языках]; обилие дентальных суффиксальных элементов²³; употребление именного суффикса *-sa* (хет. *-šša*).

в некоторых текстах из Карию соответствует исключаящий его знак ↑ (τ в принятой здесь транскрипции). В текстах из Египта, где, как показали исследования последних лет, Т не встречается, τ употребляется слишком редко для того, чтобы можно было говорить о корреляции τ : Δ = /t : d/. Этимологическое *t представлено в карийских текстах из Египта, в частности, знаком ⊕, чередующимся с θ (см. ниже). Чередование Δ : λ, обнаруживаемое в текстах из Египта, в более поздних текстах из Карию не наблюдается; с другой стороны, в текстах из Карию резко возрастает употребление λ. Все это свидетельствует о невозможности в ряде случаев установления однозначного соответствия между начертанием знака и его звуковым значением, что обусловлено хронологическими и географическими расхождениями. Подобная знаковая полисемия особенно характерна для дентальных, в связи с чем некоторые карийские буквы оставлены здесь без транскрипции.

¹⁹ Об идентичности знаков, передающихся в традиционной транскрипции посредством *k* и *h*, свидетельствуют копии, снятые с карийских граффити из Абу-Симбела (статуя Рамсеса II) проф. А. Бернаном (эти копии хранятся в Каирском Центре документации и изучения истории, искусства и цивилизации древнего Египта). Сопоставление граффити из Абу-Симбела с надписями на гробнице Монтумехата подтверждает вывод о том, что повернутый на 180° знак Ψ представляет всего лишь графический вариант этого последнего (то же можно сказать и о знаках Ш и М, но не о знаках Λ и Δ).

²⁰ Транскрипция *g*, принятая Г. Штольтенбергом (см. таблицу в работе: H. Stoltzenberg, Eine neue Lesung der karischen Schrift, «Die Sprache», IV, 1958), возможно, отражает истинное положение вещей; в карийских алфавитах, безусловно, существовал знак для лабиовелярного, передававшегося в греческой транслитерации карийских имен через *ko-*, *hou-*, *ko-*, *ko-*, *ka-*. Во многом условна принятая Штольтенбергом и сохраненная в настоящей работе транскрипция *š* (видимо, наряду с *z*, карийское *š* употреблялось в суффиксах, передававшихся греками в виде *σ* (σ), *ττ*, *ζ*, *ξ*). Посредством *h* здесь передается знак, один раз употребленный вместо *χ* в греческой надписи из Абу-Симбела; в этих надписях, как и в граффити из Абу-Симбела, выполненных греческими солдатами (эти граффити были обнаружены по соседству с карийскими), употреблялись на месте греческих и другие карийские знаки; см., в частности: A. Bernand, O. Masson, Les inscriptions grecques d'Abou-Simbel, REG, LXX, 329—330, 1957, стр. 11—12.

²¹ См. А. Нейцек, Praegraeca, стр. 28—29.

²² О возможной смене корреляций и связанном с этим процессом колебании смычных в хеттском и других древних анатолийских языках см. H. Kronasser, Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen, Heidelberg, 1956, стр. 58.

²³ См. карийский патронимический суффикс (или падежное окончание): *-(a)-θ* [например, F 37, F 8 *m(e)sna-θ-q*; F 69, F 70 *msna-θ-w*; L 9 *msna-θ*; F 48 *mavna-θ*; ср. также D 2]. Вторичный суффикс *-θ*, соединяясь с первичным суффиксом *-v*, давал контаминации типа *-vθ*. Элемент *-θ*, видимо, широко использовался в карийском и при образовании энклитик. Иногда на месте *-θ* мог появиться сходный с ним звук *-t* (F 74 *θuḫzeθ* : F 46 *θuḫzet*), или наоборот (F 25 *ra-əget*: F 72 *mav-əgeθ*). Дентальные суффиксальные элементы и прежде всего суффикс *-θ-*, представленный в карийском в различных формах — *-iθi-*, *-əθ-*, *-ade-*, *-əde-* [F 10 *mgul-iθi-* (при F 65 *mgul-a*); F 6 *meinaθ*; F 19, F 47, F 49 *it(u)ade-*; F 47 *deulaθe-*; D 7 *omeθe-*], находит многочисленные соответствия в малоазийских языках; ср. хет. *-atta-*, *-adda-*, *-ada-*, *-atti-*, *-itti-*, *-iti-*, лидийск. *-atte-* (*-attt-* в греческой передаче), лидийск. *-iti* и т. п. (хеттские и лидийские соответствия см.: E. Lagroche, Recueil d'onomastique hittite, Paris, 1951, стр. 133, 137, 140). Участвовал в суффиксальных образованиях и эле-

Некоторые черты позволяют сблизить карийский язык с лидийским. К таким особенностям относятся: наличие в обоих языках специфического звука λ , отличного от l (ср. карийское чередование L 8, L 10 $n\Delta a-k\dot{u}$: F 40 $n\lambda a-k\dot{u}$ и лидийское $antola: an\lambda ola$)²⁴; наличие специального знака для лабиовелярных; отсутствие p (p в карийском встречается только в текстах из Египта); разветвленная система основ, оканчивающихся на гласные²⁵ [ср. карийск. F 1 *meseve*; F 47b, F 57 *wuvse-alq* (ср. *-alq* в L 10), F 40 *rav-qle-on* (ср. *-on* в F 37), F 8a *ukove*, F 47 *iilafe-* и т. п. (*e*-основы); F 54 *evasa*, F 46 *mava*, F 65 *mgula*, F 69 *msna*, D 10 *slara*, F 46 *sava* (*a*-основы)]; наличие также \dot{i} -основ, u -основ, i -основ и, кроме того, таких вторичных распространений, как D 1 *akvlel-e-a*, F 15 *kik-u-i*, F 75 $\Pi\Delta e-a-i$ (*i*-падежный элемент?) и др.

Как в карийском, так и в лидийском языках широко представлен суффиксальный и падежный элемент *-i*. Можно, наконец, выделить ряд особенностей, сближающих карийский с основными языками хетто-лувийской группы [ср. хеттский и карийский (F 69) суффикс *-(a)lka*; образование обозначений лиц от существительных на *-ul* (хет. *\dot{u}ast-ul-a-*; карийск. F 65 *mg-ul-a*, F 47 *\Delta e-ul-a-*, F 19 *i\dot{u}-ul-a-*); аналогичное хеттскому образованию некоторых глагольных форм²⁶ и т. д.].

Можно привести также ряд лексических соответствий, свидетельствующих о тесной близости карийского и других малоазийских языков.

1. Карийск. *\dot{l}\dot{u}leki*: хет. *lulap\dot{h}i*, лувийск. *lulap\dot{h}i*. В лидийском и лидийском языках хет. \dot{h} (\dot{h}) могло передаваться, в частности, через \dot{h} в греческих надписях. Доказательством того, что аналогичное явление имело место и в карийском, служит соответствие хет. *tar\dot{h}u*: карийск. (в греческой передаче) $\tau\alpha\rho\chi o-$, $\tau\rho\chi o-$.

В грецизованной форме $\Lambda\epsilon\lambda\epsilon\chi\epsilon\varsigma$, возможно, содержится то же слово (карийцев иногда отождествляют с делегами). Частый в карийском суффикс *-i* выделяется и в слове *\dot{l}\dot{u}leki* (ср. L 7 *\dot{l}\dot{u}lk*). Странный знак, стоящий перед словом *\dot{l}\dot{u}leki* в F 55, возможно, представляет собой дестерминатив.

2. Карийск. *mesna*: малоазийск. *mašna*. Тождество карийск. *m(e)sna-* в надписях и первого компонента топонима карийск. $\text{M}\alpha\sigma\chi\alpha\upsilon\omicron\rho\alpha\delta\alpha$ уста-

мент Δ ($-\omicron\Delta$, $-\omicron\Delta o$ и др.); элемент τ , видимо, употреблялся в окончаниях (см. D 7: 1. $q\lambda i\theta\text{-}omeve\text{-}m\dot{u}susot$, 2. $no\Delta\rho nsot\text{-}e\Delta avnet$); впрочем на данном этапе исследования не удается провести четкую грань между суффиксами, окончаниями и энклитиками (в карийском, как и в других анатолийских языках и прежде всего в лидийском, видимо, имелись падежные формы, оканчивающиеся на дентальный). Разнобой в греческих передачах карийского τ [ср. F 483 *taw-o-u* (при F 3 *raw-o*): карийск. (в греческих надписях) $\Theta\alpha\beta\text{-}\omicron\upsilon$, $\Delta\alpha\beta\text{-}\eta$, $\tau\alpha\beta/\pi\text{-}\alpha$ и т. д.] указывает на произношение, не свойственное греческому языку (ср. трактовку этого знака у Массона: O. Masson, J. Yoyotte, указ. соч., стр. 33).

²⁴ В более общем виде карийское чередование Δ : λ соответствует «хеттскому» (по терминологии Хойбека) чередованию d/t : r/l ; о существовании особо карийского звука (или звуков), воспринимавшегося греками как нечто среднее между [d] и [l], явственно свидетельствуют, в частности, такие параллельно употреблявшиеся пары, как карийск. $\Upsilon\omicron\sigma\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\mu\omicron\varsigma$: $\Upsilon\omicron\sigma\acute{\alpha}\lambda\delta\omega\mu\omicron\varsigma$; $\tau\rho\alpha\lambda\lambda\epsilon\iota\varsigma$: $\tau\rho\alpha\lambda\delta\epsilon\iota\varsigma$; $K\dot{u}\lambda\lambda\alpha\rho\epsilon\iota\varsigma$: $K\dot{u}\lambda\delta\alpha\rho\epsilon\iota\varsigma$. Интересно, что в этом чередовании могло участвовать n : $m\lambda$: $\mu\lambda$ (ср. карийск. D 10 *m\lambda a-*); в лидийском имелся особый звук ν , отличный от n ; все это позволяет реконструировать лежащую в основе этих чередований оптимальную корреляцию особых звуков ν : (τ): δ : λ : ρ , сопоставимую в типологическом отношении с индоарийской корреляцией церебральных.

²⁵ В сущности эта черта свойственна всем «хеттским» языкам, в том числе «минойскому» и «мицйскому» (по терминологии Хойбека; см. А. Нейбек, Праегресса, стр. 31—48).

²⁶ См., в частности, D 3 Θas , D 19 $\Theta\acute{s}as$, F 25 $l(?)ses$; D 16 *Ther*, (*u*)*Tler*, *Daer*. Следует, однако, иметь в виду, что слово *spes* (D 14), сходное в структурном отношении с подобного рода образованиями, возможно, представляет собой собственное имя, ср. D 14 *spes:slasa-s*: *msu\theta o\theta*: $na\Delta\Theta$: $nko\theta$ и D 15 $to\Omega onu\text{-}slasa\text{-}s\text{-}k\theta\text{-}io\lambda u\dot{u}\nu\theta\text{-}sl\text{-}nko\theta\text{-}$, где в качестве глагольной формы, видимо, выступает *slasa-s* ($nko\theta$ скорее всего входит в ряд «генитивов»: ср. именные конструкции типа $X + Y\text{-}\Theta + Z\text{-}\Theta$ в карийских эпитафиях Египта).

новил более полувека тому назад И. Сундваль, сблизивший с этой основой ликийск. *mahāina* (< **masana*, по Сундвалю) и отметивший существование других образований от основы *mas(a)*²⁷. Г. Кронассер, подытожив результаты исследований последних лет, сопоставил карийск. *Μασχωρδα* с малоазийск. *mašna*, *maššana* «бог»²⁸. Компонент *m(e)sna-* содержится, кроме того, в F 31 *mesnabə* (F 46 *msnb* в консонантной записи), аналогичном малоазийскому *mašnari* (собственное имя в Угарите)²⁹.

В карийских текстах имеется ряд имен, содержащих корень *m(e)s*: D 14 *ms-uθoz* (при F 72 *rav-uθoz*, F 29 *uθoz*); F 1 *mes-eve*; F 37 *msəra-eket-*; карийские имена, содержащие корень *Μασ-*, представлены в греческих передачах³⁰. Видимо, эпицентр распространения имен, производных от **mas*, находился в районе Карии или соседних с ней районах (на основании одних только карийских примеров можно реконструировать древний гетероклитический ряд *mes* : *mes-r* : *mes-n*)³¹.

3. Карийск. *mat-*: малоазийск. *tav-*. К аналогичным выводам приводит анализ широко представленного в карийском корня *mat-* (ср. F 45 *mata-*, *mave-*; F 43 *mat-na-θ*, а также D 2, D 6 *mat-ū-əs-*; ср. также карийск. *Μασ(σ)ωλ(λ)ος* — Маввол, *Καμμς* < **Kiva-mav-s* и т. д.). Карийск. *mata-*, видимо, идентично имени малоазийской богини **Maqa* (в сочетании Γέφυ-μαχα «мать-земля»; ср. *Δημήτηρ*, где Δη- из γέφυ- «земля»); ср. также лидийск. **Mavš* (имя божества); **maclis* > *μαβλις*³². Карийск. *tavna* образовано по типу карийск. *mesna* (малоазийск. *mašna*), хет. *šūna*, лидийск. *šūna* и т. д. и входит в группу названий божеств, образованных от имен божеств, представленных первичной (нередко корневой) основой (с возможными исходными значениями «небо», «свет», «месяц» и т. д.).

4. Карийск. *kave-*: лидийск. *kave*. Карийский корень *kav-* содержится в обозначении лица *kave-a-θ*, в котором *e*-основа *kave*, видимо, идентична лидийской *e*-основе *kave* (≥ *καβης*) «жрец». Образованная от того же корня *n*-основа представлена в карийск. *Καμν-ος* — Кавни. Если верно предположение, что малоазийск. (лидийск.) *kav-* представляет *o*-ступень того же корня (ср. *καβς*, *καβης* «жрец»), то с карийск. *kav-* можно

²⁷ См. его блестящее, но незаслуженно забытое исследование «Zu den karischen Inschriften und den darin vorkommenden Namen» («Klio», 11, 1911, стр. 478). В этой же работе Сундваль предположил, что знак *θ* (и один из вариантов знака *θ* употреблялись для обозначения дентальных (стр. 478 и 475). Ошибки Сундвали в трактовке другого графического варианта этого знака как *κ*, некритическое следование за Сейсом в интерпретации знака для *λ* (*re*, по Сейсу и Сундвалю) объясняются прежде всего скудостью имеющегося в его распоряжении материала. В своих работах по карийскому языку Массон высоко оценил исследования Сейса, Сундвали и Торпа, верно определивших звуковой характер ряда карийских букв (см. O. Masson, J. Yoyotte, указ. соч., стр. 5, примеч. 1; стр. 38, примеч. 3; стр. 39, примеч. 1).

²⁸ Н. Kronasser, Das hethitische Wort für «Gott», «Die Sprache», V, 1959, стр. 68—69. — К выводу о связи указанной малоазийской основы карийск. *m(e)sna-* пришел недавно д-р Г. Нойман.

²⁹ Если только О. Массон и Ж. Юайотт не ошибаются в своей реконструкции этих надписей; в факсимиле А. Бернана (кстати, просмотренном Ж. Юайоттом) вместо *mesnabə* содержится *mesnarg*.

³⁰ *msəra* можно отождествить с сидетск. *mašara* (ср. карийск. *Μασχαρις* и *Μασσαραβις* = *maššarapi*), если только сопоставление *msəra-eket-*: F 25 *ra-əget* [əra-əget] (при F 72 *mat-əgeθ*; ср. лидийск. *Μαχατ-ης*) не указывает на исходное *m(e)s* + [ə] *ra*; в карийском, как и в других «хетских» языках, чистое начальное [r-], видимо, не встречалось; элемент *ə* в *msəra* свидетельствовал бы в таком случае о призвуке *ə*-перед *r*, отраженном на письме в этой специфической позиции. Если карийск. F 37 *lar* соответствует основе *Δετρ-*, *Δατρ-*, *Δοτρ-* и т. д., то разницей в греческих передачах может явиться свидетельством специфического характера карийского *ə*.

³¹ Следует отметить, что в нумидийских текстах начальное *mas-* в сложных именах обладало значением «владыка, господин». — Проф. А. Хойбек в частном письме ко мне высказал мысль о связи сидетск. *mašara* с ликийск. *mahāna* (*masana*) и лидийск. *Μαχαβης*.

³² См. А. Heubeck, Graegtaesa, стр. 76. Уточнение значения ликийского глагола *tava-ti* позволит выяснить вопрос, не являются ли некоторые карийские образования от основы *mat(a)* формами глагола.

сопоставить ряд образований, имеющих в своем составе карийск. *kov-* и содержащихся, в частности, в формулах надгробных надписей.

5. Карийск. *tavs-*: лидийск. *tavš-*. Видимо, лидийское прилагательное *tavšas* со значением «великий, мощный» (ср. глоссеу Гесихия ταῦς μέγας, πολύς) находит свое соответствие в основе карийского имени *tavseθ*, идентичного карийск. *Ταβσθδ-³³. Соотношение *kav-*: *kov-*, аналогичное соотношению *sav-* (в F 46 *sava*; ср. карийск. *mava*): *sev-tav-*: *tov-*, позволяет сопоставить с *tav-s-* карийское имя *tovl* (F 74) (в отношении основообразования его можно сравнить с лидийской основой -δαύλ- в Κηυδαύλης и догреч.-сидил. TVFA; ср. также карийск. D 18 *atgv(?)l-eθ*; возможно, конечное -l придавало всем этим именным образованиям значение активного деятеля). Надо заметить, что образования с корневым вокализмом -ο- были неотделимы от их квазимонимов с вокализмом -υ-: карийск. *sov*: *sova* (**suva*); карийск. *tovl*: лидийск. Τοαλις; малоазийск. Τουης (**Tuva*), карийск. *θυvl-*; карийск. *kov-*: -χοας; малоазийск. **Kuva*³⁴. В каких именно случаях карийско-малоазийскому ο/υ-вокализму синхронно соответствовал в карийском вокализме -α-, пока неясно, однако сопоставления корней этого типа по схеме *sava*: *sov*: **suva*; *mava*: **mov*: *muva*; *kave*: *kov*: **kuva*; *tav-*: *tov-*: **tuva* и т. д. могут служить достаточно четким свидетельством в пользу древней апофевы. Формально сходные корни на -υ были близки и в семантическом отношении, о чем свидетельствует их широкое распространение в культовой лексике и, как следствие этого, — в топонимике.

Наконец, следует указать на формальный и, очевидно, семантический параллелизм форм с -v и без -v (ср. известный малоазийский параллелизм -υ-: ноль); так, наряду с карийск. *eva-v-s-e* существует форма *eva-sa* (очевидно, с именным суффиксом -sa), в сходных конструкциях употребляются карийские именные основы *rav-* и *ra-* (в греческой передаче 'Αρα-?); одно и то же значение предполагается для малоазийских (в частности, карийских) форм *Mav(s)* и *Ma*; можно отметить и такую яркую параллель, как сосуществование в лидийском (и, очевидно, в карийском) форм **ermavš* (при *ermavliš*) и *erma-* (ср. 'Ερμαv-: 'Ερμα- в греческой передаче), входящих в ту же семантическую группу имен, что и *mes*, *mav(s)*, и т. д. Характерно, что формы на -v часто сопровождаются гетероклитическим -s (ср. карийск. *sav-wv-oz-* и *w(ι)v-s-e*; в карийском образовании на -s- представлены, как правило, е-основами).

Из приведенных примеров следует, что карийский язык сохранил и развил древнейшую индоевропейскую категорию гетероклитических основ на -s, -r, -l, -n³⁵, как это имело место в «хетских» языках, в частности, в соседнем карийскому лидийском. Интересно отметить, что в ряде этих языков сохранилось и древнее гетероклитическое противопоставление ноль: n (типа хет. *šiu*: *šiuṇi*, лидийск. *div-š*: *divv-ali*³⁶); ср. карийск. *mes*: *mesn-*, *kav-*: *Kavv-*, *mav-*: *mavn-*.

³³ Массон сопоставил с Ταβσ-αδός лишь основу *tavs-* указанного карийского слова (см. O. Masson, J. Yoyotte, указ. соч., стр. 34—35). Видимо, карийск. *tavseθ* было е-основой, как это следует из сопоставления этого слова с другими карийскими именами, содержащими -(v)s-: F 47 bis *wuvse-θ* (при F 57 *wuvse-αlq*); F 26, F 69 *ev(α)vse-θ*.

³⁴ О соотношении ο ~ υ в малоазийских языках см. G. Neumann, указ. соч., стр. 75—76.

³⁵ Ср. *tav-s*, **mav-s*, *evav-s*, *wuv-s*, *maΔ-s*, *kr-s* (-ῆ); **kav-r*, 'Ιδ-ρ (при 'Ιδo), υδ-ρ, *mak-r*, **mas-r*; *tov-l*, *θυvl-*; *av-n* (в *avnok*), *Kav-v*, *mav-n*, *mes-n* при наличии перичных (в большинстве случаев корневых) основ: *rav-* (в *rav-mi-*, *rav-uθoz*, *rav-ql-*), *mav* (в *mava/e*, *mav-ῆ*), *sav* (в *sava*, *sav-ke-*), *sov*, *kov* (например, в *us-kov-e*), *hav-ῆ*, 'ῆ (и 'ῆη); ср. ШД-е-а), *mes-*, *Mac-*, 'ῆδ-η (ср. υθ-oz).

³⁶ Этот тип основ получил развитие в лидийск. εῖς-: εῖ-v-av, «хет.» Γορτυς: Γορτυνος и т. д.; о значении хетских гетероклитических чередований см.: В я ч. В. И л а н о в, О методах изучения истории индоевропейского праязыка и его диалектов, сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», М., 1960, стр. 135—136; е т о ж е, Хетское словообразование в сравнительно-исто-

Если большинство фактов, указывающих на связь между карийским и другими «хеттскими» языками, можно при желании истолковать как свидетельство существования языкового союза, то древние гетероклитические чередования указывают, видимо, на тесное родство карийского с известными индоевропейскими языками Малой Азии. Исследование фонетических, грамматических и прежде всего лексических особенностей «хеттских» (лучше: хетто-минойских) языков и прежде всего языков западной части Малой Азии представляется в совершенно новом свете в настоящее время, когда тесная связь этих языков с недешифрованным языком, представленным документами линейного письма А, становится все более очевидной. Без обращения к данным известных «хеттских» языков не может быть окончательно разрешен и карийский вопрос. С другой стороны, одно лишь декларирование необходимости такого обращения, свойственное некоторым современным исследователям карийского языка, естественно, ведет к негативным результатам.

рическом освещении, М., 1960 («Доклады делегации СССР [на XXV Международном конгрессе востоковедов]»), стр. 2—5. О развитии этого древнего противопоставления в тохарском см.: Вяч. И в а н о в, Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков, в кн.: «Тохарские языки. Сб. статей», М., 1959, стр. 24. Следует отметить, что для тохарских и хеттских языков характерен целый ряд изоглосс, многие из которых свойственны и славянским языкам. На основе этих изоглосс можно с достаточной точностью установить направление движения носителей «хеттских» языков до их прихода «к себе».

А. М. КОНДРАТОВ

ЭВОЛЮЦИЯ РИТМИКИ В. В. МАЯКОВСКОГО

Одним из центральных и дискутируемых вопросов творчества В. В. Маяковского является вопрос его «поэтического мастерства», в частности ритмики его стиха. Часть исследователей (Е. И. Наумов, Л. И. Тимофеев) считает, что Маяковский создал новую, основанную на «тоническом» народном стихе систему стихосложения, отличную от классической силлабо-тоники. Существует и полностью противоположная точка зрения, выдвинутая в 20-х годах Г. А. Шенгели и поддержанная затем в 1952 г. В. А. Назаренко. Согласно этой точке зрения, Маяковский не создал новой системы стихосложения, а писал классическими размерами, которые зачастую деформировал, оставаясь тем не менее, как правило, в рамках классической силлабо-тоники. Для разрешения этого спора не хватало объективного количественного изучения ритмики Маяковского. Доказательства ограничивались подбором цитат. Лишь в 1958 г. В. А. Никонов в статье «Ритмика Маяковского»¹ предпринял первую попытку изучения ритмики Маяковского на основе статистического исследования текстов². Однако и объем приводимых данных, и количество ритмических характеристик (лишь среднее количество ударений на строку и среднее от него отклонение), приводимые в статье В. А. Никонова, недостаточны для обобщающих выводов о характере ритмики Маяковского.

Настоящая работа представляет собой попытку продолжить начатые количественные исследования на большем материале и по большему числу ритмических характеристик стиха. Для анализа были взяты ранние произведения Маяковского 1912—1913 гг., начиная со стихотворения «Ночь», стихи и поэмы 1914—1916 гг., стихи и поэмы 1919—1930 гг. — общим объемом около двух с половиной тысяч строк. Для анализа поэм бралась выборка в 200 строк, как правило, по 100 строк из разных частей поэмы. Вычислялись следующие характеристики ритма: 1) количество слогов в строке (средняя величина и среднее отклонение от нее); 2) количество ударений в строке (средняя величина ударений в одной строке и среднее отклонение от этой средней величины); 3) количество строк, написанных классическими размерами силлабо-тоники (в процентном отношении к общему количеству стихов), и соотношение строк двухсложных (ямб, хорей) и трехсложных (анapest, амфибрахий, дактиль) размеров. На том же материале было подсчитано количество строк, организованных в 2, 3, 4, 5 и 6-стишия. Для четверостиший, составляющих почти 90% всех стихов, была высчитана средняя величина ударения для каждой из четырех строк.

Подсчет количества слогов в строке и процент классических строк однозначен и не может иметь различных вариантов. Более спорным является вопрос о подсчете ударений. Для силлабо-тоники он сравнительно прост: местоимения, союзы и другие служебные слова считаются ударными, когда они стоят на сильных местах метрической схемы, и безудар-

¹ «Вопросы литературы», 1958, 7.^а

² Статистика, приводимая Л. И. Тимофеевым в книге «Теория стиха» (М., 1939), вряд ли может быть признана убедительной. Верные и тонкие замечания Р. О. Якобсона, В. М. Жирмунского, Б. В. Томашевского о стихе Маяковского, к сожалению, не являются результатом систематических исследований.

ными, когда они стоят на слабых. Так, в ямбической строке слова «Еще ты...» будут иметь следующее распределение ударений:

Еще ты дремлешь, друг прелестный...

○ — | ○ | — | ○ | — | ○ — ○,

а в анапесте:

Еще ты не проснулась, родимая...

○○ | — | ○ ○ — ○ | ○ — ○ ○

В разбивке прозаического текста существуют две методики: Б. В. Томашевского и Г. А. Шенгели (последней придерживаются в своих работах по количественному анализу стиха А. Н. Колмогоров и Н. Г. Рычкова). По Томашевскому, во фразе «Еще он увидел его...» имеется три ударения: ○ — | ○ | ○ — | ○ — | ○ —, а по Шенгели — четыре: ○ — | — | ○ — | ○ — | ○ —.

Статистика Томашевского, где служебные слова обычно «поглощаются» знаменательными, дает 7—8% односложных слов в прозаическом тексте. Статистика Шенгели, где делается более мелкое дробление и служебные слова по возможности признаются ударными, дает 13—16% односложных слов, т. е. в два раза больше. Метод Шенгели пригоден для прозаической речи, но не подходит для стихотворной, будь это тоническая или силлабо-тоническая система стихосложения. Во всякой стихотворной речи существует как ритмическое «поглощение» служебных слов, так и их ритмическое «усиление» в зависимости от места метрического ударения.

В настоящей работе разбивка стихов Маяковского на ударные «значимые» слова производилась по методике Томашевского; учитывается возможность «поглощения» служебных слов. Ударными считались лишь те слова, которые поэт выделял специально с целью подчеркнуть их ударность. Так, в стихе

Я тащу вас.

Удивляйтесь, конечно?

слово я считалось безударным, а в стихе

Я

златоустейший,

чье каждое слово...

слово я считалось ударным, ибо поэт сознательно выделил его.

При «сплошном» статистическом подсчете не учитываются различные метры, входящие в стихотворение или поэму, и неизбежно происходит некоторое усреднение результатов³.

*

Ритмика ранних стихов Маяковского, созданных в 1912—1913 гг., полностью подчиняется правилам классического стихосложения; большинство из них («Уличное», «Театры», «А вы могли бы?», «Порт» и др.) написаны популярнейшим в русской поэзии размером — четырехстопным ямбом (причем не особенно богатым ритмическими вариантами). Даже такие экспериментальные стихотворения, как «Утро» или «Из улицы в улицу», написаны первое — ямбом, второе — дактилем. Классическая строфика здесь нарушается необычной рифмовкой, но силлабо-тонический ритм сохраняется.

Средняя величина отклонения от количества ударений и слогов в строке почти во всех стихах Маяковского 1912—1913 гг. соответствует

³ В силу выраженной структурности ритма произведений Маяковского (особенно поэм), складывающегося из нескольких типов метра [А. Н. Колмогоров выделяет четыре типа: 1) классические силлабо-тонические размеры; 2) дольники; 3) акцентный (ударный) стих; 4) акцентный стих, включающий большое число классических строк, подверженных воздействию и чисто тонических закономерностей], при дальнейшем изучении ритмики произведений Маяковского целесообразно было бы учитывать основные типы ритмической организации стиха.

средним значениям этих величин для классического стиха. Отклонение от среднего количества слогов в строке не превышает 0,5 слога; величина вызываемого пиррихиями и спондеями отклонения от среднего количества ударений также незначительна (см. табл. 1). Существенную ломку претерпевает ритм в цикле «Я», однако и в нем эта ломка касается в большей мере длины строки, а не ее ритма — 70% написано классическими размерами.

Подлинная акцентизация ритма стиха Маяковского происходит в 1914—1915 гг. Возможно, что при этом большую роль сыграла «разговорная» трагедия «В. В. Маяковский», написанная в 1913 г. Особенно широко принципы акцентного стиха были воплощены в поэме «Облако в штанах». Хотя около четверти всех строк этой поэмы подчиняются законам силлабо-тоники, эти строки не связаны между собою в строфе (две-три-четыре строки ямба или анапеста, следующие непосредственно один за другим, в поэме почти не встречаются); преобладания двухсложных и трехсложных размеров выявить не удается — они равноправны (см. табл. 2). Это может свидетельствовать о том, что силлабо-тонические строки возникают в поэме автоматически, а не вследствие сознательной тенденции автора к употреблению классических метров.

Ударный или акцентный стих Маяковского отличается от классического двумя признаками. Прежде всего — неподчинением метрической схеме, требующей обязательного соблюдения числа безударных слогов между ударными. Пропуски метрических ударений и внесхемные ударения встречаются и в классическом стихе, однако при соблюдении общей схемы. В стихе же Маяковского классический метр нарушается полностью. В междударных промежутках нет закономерности: в одном и том же стихотворении, в одной и той же строке они могут быть длиной и в 6 и в 0 слогов; количество ударений в строке также разное. Это отличает акцентный (ударный) стих от дольника, где количество ударений в строке урегулировано. В ударном стихе Маяковского может быть 6 или даже 8 ударений в строке, а в следующей за ней — 2 или 1 (ср. хотя бы поэму «150 000 000»).

Вторым признаком, отличающим акцентный стих от классического и народного (фольклорного), является разная значимость слогов стиха. В классическом стихосложении ударный слог был равноценен безударному (в декламации это достигалось скандированием, чтением нараспев; при этом разница между «длинным» ударным и «коротким» безударным слогом сглаживалась). В народном тоническом стихосложении существует различие между ударным и безударным слогами по длительности и силе. Количество безударных слогов во внимание не принимается, зато количество ударений в стихе постоянно и стих равноударен (например, былинный стих). В ударном стихе Маяковского, так же как и в тоническом, не учитывается количество безударных слогов между ударными. Различие между этими типами стиха в том, что в ударном стихе не соблюдается одинаковое количество ударений, но ударения различаются по силе.

Маяковский развивает принцип дифференциации ударных и безударных слогов по силе, что приближает его поэтическую речь к живой разговорной речи. Такое приближение тесно связано с поэтической установкой Маяковского на стих «декламаторский», произносимый вслух. Всякий поэтический текст допускает различные фонетические интерпретации при исполнении. Но если в классическом стихосложении они касались громкости и тембра голоса, темпа исполнения, то в акцентном стихе допускается и ритмическая интерпретация текста. Разбивая строку «лесенкой», Маяковский давал графическую запись с своей ритмической интерпретации текста; она принадлежит скорее Маяковскому — чтецу, чем Маяковскому — автору (ср. различные интерпретации «Необычайного происшествия, бывшего с Владимиром Маяковским на даче»).

Средняя длина строки; среднее количество ударений в строке; величины средних отклонений; количество ударений в строке

| Названия произведений | Год | Количество строк в произведении | Среднее количество слогов в строке | Величина среднего отклонения | Среднее количество ударений в строке | Величина среднего отклонения | Распределение строк в произведении по числу ударений | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----|----|-----|----|----|----|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Ночь» | 1912 | 16 | 11,93 | 0,41 | 4,00 | 0,00 | — | — | — | 16 | — | — | — | — |
| «Порт» | 1912 | 8 | 8,50 | 0,50 | 3,75 | 0,37 | — | — | 2 | 6 | — | — | — | — |
| «Уличное» | 1913 | 12 | 8,85 | 0,27 | 3,66 | 0,44 | — | — | 4 | 8 | — | — | — | — |
| «А вы могли бы?» | 1913 | 8 | 8,75 | 0,37 | 3,38 | 0,47 | — | — | 5 | 3 | — | — | — | — |
| «Театры» | 1913 | 12 | 9,00 | 0,00 | 3,08 | 0,10 | — | 1 | 9 | 2 | — | — | — | — |
| «Вывескам» | 1913 | 12 | 8,93 | 0,03 | 3,00 | 0,00 | — | — | 12 | — | — | — | — | — |
| «Н» | 1913 | 24 | 11,14 | 2,40 | 3,70 | 0,98 | — | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | — | — |
| «Война объявлена» | 1914 | 28 | 11,70 | 1,70 | 3,89 | 0,32 | — | — | 5 | 21 | 2 | — | — | — |
| «Мама и убитый немцами вечер» | 1914 | 28 | 10,40 | 1,93 | 3,90 | 0,35 | — | — | 5 | 20 | 3 | — | — | — |
| «Облако в штанах» | 1914—1915 | 200 | 10,65 | 2,03 | 3,68 | 0,55 | см. таблицу 3 | | | | | | | |
| «Гимн судье» | 1915 | 40 | 9,30 | 1,57 | 3,42 | 0,55 | — | 2 | 19 | 19 | — | — | — | — |
| «Гимн ученому» | 1915 | 36 | 13,36 | 1,89 | 3,36 | 0,55 | — | — | 15 | 20 | 1 | — | — | — |
| «Война и мир» | 1915—1916 | 200 | 9,02 | 2,37 | 3,62 | 0,74 | 8 | 23 | 37 | 111 | 16 | 2 | 1 | — |
| «Революция» | 1917 | 129 | 10,38 | 2,06 | 3,67 | 0,64 | 3 | 6 | 19 | 88 | 9 | 3 | 1 | — |
| «150 000 000» | 1919—1920 | 200 | 10,26 | 3,18 | 3,77 | 1,11 | 5 | 40 | 33 | 77 | 22 | 11 | 10 | 2 |
| «Прозаседавшаяся» | 1922 | 40 | 9,85 | 2,42 | 3,62 | 0,62 | 2 | — | 11 | 25 | 2 | — | — | — |
| «Про это» | 1922—1923 | 200 | 9,27 | 1,92 | 3,60 | 0,59 | 6 | 11 | 56 | 111 | 16 | — | — | — |
| «Юбилейное» | 1924 | 132 | 11,13 | 1,40 | 4,16 | 0,69 | 2 | 3 | 19 | 64 | 39 | 3 | 1 | 1 |
| «В. И. Ленин» | 1924 | 200 | 9,75 | 1,90 | 3,70 | 0,60 | 1 | 9 | 64 | 104 | 18 | 4 | — | — |
| «Долг Украине» | 1925 | 44 | 9,60 | 1,38 | 3,32 | 0,60 | — | 2 | 18 | 22 | 2 | — | — | — |
| «Нашему юности» | 1926 | 95 | 9,18 | 0,96 | 3,31 | 0,60 | — | 10 | 42 | 43 | — | — | — | — |
| «Разговор на одесском рейде» | 1926 | 24 | 10,16 | 1,10 | 3,92 | 0,26 | — | — | 4 | 19 | 1 | — | — | — |
| «Товарищу Нетте—пароходу и человеку» | 1926 | 40 | 10,75 | 1,45 | 4,20 | 0,31 | 1 | — | 3 | 22 | 14 | — | — | — |
| «Сергею Есенину» | 1926 | 78 | 10,78 | 1,38 | 3,90 | 0,47 | 1 | 2 | 16 | 53 | 6 | — | — | — |
| «Послание пролетарским поэтам» | 1927 | 80 | 12,00 | 1,50 | 3,92 | 0,22 | — | 1 | 6 | 71 | 2 | — | — | — |
| «Хорошо!» | 1927 | 200 | 9,05 | 2,10 | 3,26 | 0,59 | — | 51 | 50 | 96 | 3 | — | — | — |
| «Стихи о советском паспорте» | 1929 | 49 | 9,60 | 1,06 | 3,24 | 0,60 | — | 8 | 21 | 20 | — | — | — | — |
| «Во весь голос» | 1930 | 111 | 11,39 | 1,72 | 3,73 | 0,56 | 1 | 1 | 37 | 60 | 12 | — | — | — |

Процент силлабо-тонических строк; строфика и ударная структура четверостиший

| Названия произведений | Год | Количество строк в произведении ¹ | Процент силлабо-тонических строк | | | Строфика | | | | | | Структура четверостиший (число ударений на строку) | | | |
|--|-----------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|--|------|------|--|
| | | | всего | двух-сложных | трех-сложных | дву-сти-шия | трех-сти-шия | четыре-сти-шия | пяти-сти-шия | шести-сти-шия | строки | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | |
| «Ночь» | 1912 | 16 | 100 | — | 100 ² | — | — | 16 | — | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| «Порт» | 1912 | 8 | 100 | 100 ³ | — | — | — | 8 | — | — | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | |
| «Уличное» | 1913 | 12 | 100 | 100 ³ | — | — | — | 12 | — | — | 4,00 | 4,00 | 3,67 | 3,00 | |
| «А вы могли бы?» | 1913 | 8 | 100 | 100 ³ | — | — | — | 8 | — | — | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| «Театры» | 1913 | 12 | 100 | 100 ³ | — | — | — | 12 | — | — | 2,67 | 3,33 | 3,33 | 3,00 | |
| «Вывескам» | 1913 | 12 | 100 | — | 100 ⁴ | — | — | 12 | — | — | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| «Я» | 1913 | 24 | 70 | 25 | 45 | — | — | 12 | — | 12 | 4,33 | 5,00 | 4,33 | 3,67 | |
| «Война объявлена» | 1914 | 28 | 20 | 12 | 8 | — | — | 28 | — | — | 3,86 | 3,71 | 4,00 | 4,00 | |
| «Мама и убитый немцами вечер» | 1914 | 28 | 25 | 8 | 17 | — | — | 28 | — | — | 4,14 | 3,91 | 4,14 | 3,91 | |
| «Облако в штанах» | 1914—1915 | 200 | 25 | 13 | 12 | — | — | 196 | 5 | — | см. таблицу 3 | | | | |
| «Гимн судьбе» | 1915 | 40 | 38 | 13 | 25 | — | — | 40 | — | — | 4,00 | 3,00 | 3,96 | 2,80 | |
| «Гимн ученому» | 1915 | 36 | 18 | 9 | 9 | — | — | 36 | — | — | 3,89 | 3,78 | 3,64 | 3,33 | |
| «Война и мир» | 1915—1916 | 200 | 20 | 10,5 | 9,5 | — | 3 | 160 | 10 | 30 | 3,72 | 3,44 | 3,72 | 3,20 | |
| «Революция» | 1917 | 129 | 18 | 12 | 6 | 2 | — | 116 | 5 | 6 | 4,38 | 3,75 | 3,69 | 3,51 | |
| «150 000 000» | 1919—1920 | 200 | 26 | 12 | 14 | 16 | 3 | 156 | 10 | 12 | 4,05 | 3,41 | 3,62 | 3,40 | |
| «Прозаседавшиеся» | 1922 | 40 | 13 | 6 | 7 | — | — | 40 | — | — | 3,90 | 3,40 | 4,00 | 3,40 | |
| «Про это» | 1922—1923 | 200 | 28 | 8 | 20 | 38 | — | 156 | — | 6 | 4,20 | 3,75 | 4,05 | 3,63 | |
| «Юбилейное» | 1924 | 132 | 95 | 93 | 2 | — | — | 132 | — | — | 4,79 | 4,09 | 4,19 | 3,49 | |
| «В. И. Ленин» | 1924 | 200 | 65 | 62 | 3 | 10 | — | 192 | — | — | 3,96 | 3,89 | 3,83 | 3,55 | |
| «Долг Украине» | 1925 | 44 | 55 | 42 | 13 | 8 | — | 36 | — | — | (по данным В. А. Никонова) | | | | |
| «Нашему юношеству» | 1926 | 95 | 33 | 6 | 27 | — | 3 | 92 | — | — | 3,78 | 3,56 | 3,77 | 3,56 | |
| «Разговор на одесском рейде» | 1926 | 24 | 92 | 92 ⁵ | — | — | — | 24 | — | — | 3,96 | 3,00 | 3,95 | 2,42 | |
| «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» | 1926 | 40 | 100 | 100 ⁵ | — | — | — | 40 | — | — | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 4,00 | |
| «Сергею Есенину» | 1926 | 78 | 90 | 88,8 ⁵ | 1,2 | 6 | — | 72 | — | — | 4,30 | 4,10 | 4,30 | 4,10 | |
| «Послание пролетарским поэтам» | 1927 | 80 | 25 | 10 | 15 | — | — | 80 | — | — | 3,94 | 4,11 | 3,88 | 3,38 | |
| «Хорошо!» | 1927 | 200 | 50 | 38 | 12 | 20 | — | 180 | — | — | 4,00 | 4,00 | 3,85 | 3,85 | |
| «Стихи о советском паспорте» | 1929 | 49 | 55 | 38 | 12 | — | — | 44 | 5 | — | 3,68 | 3,28 | 3,52 | 3,12 | |
| «Во весь голос» | 1930 | 111 | 92 | 86 | 6 | 2 | — | 84 | 25 | — | 3,78 | 2,73 | 3,99 | 2,60 | |
| | | | | | | | | | | | 3,85 | 3,71 | 3,85 | 3,57 | |

¹ Стихотворения анализировались полностью, из poem бралась выборка в 200 строк. ² Четырехстопный амфибрахий. ³ Четырехстопный ямб. ⁴ Трехстопный амфибрахий. ⁵ Вольный хорей.

«Лесенки» Маяковского не обязательны. Строку из поэмы «Владимир Ильич Ленин»

Товáры
растúт,
меж нйщими вйсьясъ
(трехдольная концепция Маяковского)

МОЖНО ЧИТАТЬ И КАК:

Товáры растúт,
меж нйщими вйсьясъ
(двухдольная концепция)

И КАК:

Товáры
растúт,
меж нйщими
вйсьясъ
(четырёхдольная концепция)

Задачи анализа и классификации ударений по силе, анализа пауз различной длительности не входили в круг данной работы. Мы ограничиваемся статистическим исследованием текста без учета более сильных и более слабых ударений. Такое упрощение неизбежно на первом этапе статистического анализа ритмики; дальнейшие исследования помогут выявить слабые и сильные ударения в стихе, что потребует анализа синтаксических отношений внутри фразовой группы, а также учета различных декламаторских интерпретаций одного стихотворного текста.

Таблица 3

Количество ударений в строке и ударная структура четверостиший поэмы «Облако в штанах»

| Части поэмы | Количество строк | Распределение строк по числу ударений | | | | | | | | | Структура четверостиший (число ударений на строку) | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------------------|---|----|----|----|---|---|---|---|--|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | строки | | | |
| | | | | | | | | | | | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я |
| Пролог | 24 | — | — | 6 | 16 | 2 | — | — | — | — | 4,17 | 3,63 | 4,00 | 3,50 |
| Первая часть | 109 | 6 | 4 | 38 | 59 | 2 | — | — | — | — | 3,99 | 3,63 | 3,19 | 3,00 |
| Вторая часть | 105 | 2 | 2 | 28 | 67 | 6 | — | — | — | — | 3,96 | 3,72 | 3,80 | 3,20 |
| Третья часть | 112 | 1 | 4 | 42 | 62 | 2 | — | — | — | — | 3,86 | 3,32 | 3,68 | 3,25 |
| Начало четвертой части | 63 | 5 | 7 | 10 | 17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4,75 | 4,38 | 4,50 | 4,50 |
| Конец четвертой части | 56 | — | 4 | 17 | 35 | — | — | — | — | — | 3,71 | 3,28 | 3,93 | 3,35 |

Образцом акцентного стиха Маяковского являются произведения военных лет (например, «Мама и убитый немцами вечер») и поэма «Облако в штанах». Количество слогов в безударных промежутках здесь колеблется от 0 до 6, количество ударений в строке — от 1 до 5—6 (а в четвертой части «Облака в штанах» оно даже достигает 7, 8 и даже 9 ударений). Начало четвертой части поэмы написано чистым акцентным стихом, три остальные части и конец поэмы тяготеют к четырехударному дольнику (ср. табл. 3). Среднее отклонение количества слогов в строке достигает в «Облаке» 2,03, в стихотворении «Мама и убитый немцами вечер» — 1,93,

в то время как в классических размерах это отклонение равно, как правило, 0,5 (за счет чередования мужских и женских рифм). Еще более существенная характеристика ритма — среднее отклонение количества ударений на стих — достигает в «Облаке в штанах» величины 0,55.

Дальнейшая эволюция ритмики Маяковского идет по линии все большей «акцентизации» стиха. Среднее отклонение длины стиха и количества ударений в поэме «Война и мир» достигает соответственно величин 2,37 и 0,74, причем, в отличие от «Облака», тяготеющего к 4-ударности, в стихах «Войны и мира» большая вариация ударений (см. табл. 1). Вершиною акцентного стиха Маяковского является поэма «150 000 000»; здесь самые большие величины среднего количества слогов (3, 18) и ударений (1, 11) на строку и самая большая вариация ударений (значительное число 5, 6, 7-ударных строк). В поэме «150 000 000» наблюдается тенденция, впервые проявившаяся в поэме «Человек»; акцентный стих прерывается строфами классического размера (ямб в «Человеке», трехсложные размеры, большей частью — дактиль в «150 000 000»). Как и в «Облаке в штанах», примерно четверть строк поэмы «150 000 000» написана классическими размерами. Но в «Облаке» эти строки разрозненны, не сгруппированы в строфы. В «150 000 000» классические строки идут сгруппированно, как бы цитируются; простое перемножение вероятностей доказывает, что случайно последовательность из четырех-шести классических строк возникнуть не могла и, следовательно, налицо сознательная тенденция автора.

В последующие годы ритмика Маяковского все более сближается с классическим силлабо-тоническим стихом, однако сохраняя при этом акцентное, декламаторское различие ударений по силе (что подчеркивается написанием стихов «лесенкой»). Так, величины отклонений в «Про это» падают до 0,59 ударения и 1,92 слога на строку, а написанная примерно в то же время поэма «Люблю» представляет собой (за исключением едва ли не одного стиха) урегулированный четырехдольник. В поэме «В. И. Ленин» эти средние величины отклонений равны 0,60 ударения и 1,90 слога на строку.

Поэма «В. И. Ленин» и написанное в том же году стихотворение «Юбилейное» характерны широким применением двухсложных размеров. Значительная часть поэмы «В. И. Ленин» (особенно начало ее) написана чистым хореем, а стихотворение «Юбилейное» почти целиком (на 93%) — хореем и ямбом.

Двухсложными размерами написано стихотворение «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», на 92% — стихотворение «Разговор на одесском рейде» и почти на 90% — «Сергею Есенину»; в последнем произведении за исключением одной цитаты — строки трехстопного амфибрахия («Ни слова, о друг мой, ни вздо-о-о-ха...») — все классические строки представляют собой хорей. (Это не удивительно, так как последние стихи Есенина были написаны хореем.) Двухсложные размеры начинают играть все большую роль в позднем творчестве Маяковского. Ими написана треть поэмы «Хорошо!» и многие стихотворения, а ритм вступления в поэму «Во весь голос» представляет собой на 90% вольный ямб.

Значительно возрастает и доля трехсложных классических размеров в общем количестве строк стиха. Так, знаменитые «Стихи о советском паспорте» почти на 50% написаны ими. Стихи об Америке, «Нашему юношеству» и многие другие представляют собой урегулированный дольник, как правило, построенный по схеме 4—3—4—3 (американский цикл) или 4—4—4—4.

Данные табл. 1 и 2 показывают, что начиная с двадцатых годов Маяковский синтезирует акцентный стих с классическим. Именно на основе такого синтеза формируется ритм поэм и стихов «Хорошо!», «Юбилейное», «В. И. Ленин», «Сергею Есенину» и др. Акцентная, декламаторски-разговорная интерпретация силлабо-тоники придает ямбу поэмы

«Во весь голос» живое, разговорное звучание. В акцентных ямбах и хорях Маяковского существует градация ударений по силе, как и в обыденной речи. Таким путем достигается большая по сравнению с силлаботоникой естественность звучания поэтической речи при сохранении ее упорядоченности.

В заключение приведем некоторые наблюдения над строфической. Почти 90% анализируемых стихов написаны четверостишиями (2012 стихов). Двустопными написаны 102 строки, трехстишиями — 9, пятистишиями — 60 (25 из них принадлежат поэме «Во весь голос»), шестистишиями — 66 стихов. Структура четверостиший характеризуется средним количеством ударений на каждую из строк четверостишия (см. табл. 2 и 3). В большинстве стихотворений, а также в поэмах «Во весь голос», «Хорошо!», «Про это», «Облако в штанах» наблюдается следующая закономерность: первая строка четверостишия, наиболее «тяжелая», имеет максимальное число ударений. Вторая строка заметно «легче». Третья — более «тяжелая», чем вторая, но «легче» первой. И, наконец, самой «легкой» является последняя строка (преимущественно за счет концовок типа *трезвость* в стихотворении «Сергею Есенину»). Такая структура распределения ударений не является всеобщей. В некоторых стихах и в поэмах «В. И. Ленин» и «Война и мир» характер изменения «тяжести» ударений по строкам четверостишия несколько иной. Вторая строка или равна, или даже «тяжелее» третьей, и, таким образом, «тяжесть» строк непрерывно убывает от первой к четвертой строке.

Более тонкие вопросы «ритмического течения ударений» (термин В. А. Никонова), неразрывно связанные с анализом поэтического синтаксиса и «семантического течения» стиха, еще ждут своего исследования. Можно было бы произвести подсчеты различных видов четверостиший, количество которых для акцентного стиха может вообще равняться 4094. Для поэмы «В. И. Ленин» В. А. Никонов делает такие подсчеты: 279 четверостиший поэмы составляют лишь 60 различных видов, причем 8 видами написано больше двух третей поэмы. Изучение строфики других поэмы поможет выяснить особенности строфики Маяковского.

М. Д. ФРИДМАН

О МОРФЕМНОМ ХАРАКТЕРЕ АРТИКЛЯ

Все еще не решен вопрос о том, является ли артикль морфемой слова или отдельным словом. Для одних (Ж. Вандриес) артикль является морфемой существительного; другие (А. И. Смирницкий, О. С. Ахманова и др.) считают артикль отдельным присубстантивным служебным словом; третьи (П. Кристоферсен, Б. А. Ильиш и др.) колеблются между этими крайними точками зрения. Наконец, особенно у советских романистов (Л. А. Илия, Е. Б. Ройзенблит и др.), выдвигается своего рода компромисс: сочетание «артикль + существительное» объясняется как «аналитическая форма слова». Это связано с тем, что еще не закончен спор о том, что такое морфема и что такое отдельное слово.

Г. Шавес де Мелу, ссылаясь на Вандриеса, делит словарный состав каждого языка на «лексикографические» и «грамматические» слова¹. Противоположной точки зрения придерживается О. С. Ахманова, считающая, что «грамматических слов вообще быть не может». Нам кажется, что Г. Шавес де Мелу неправильно понял Вандриеса. Вандриес вообще не признает слов грамматических, относя служебные элементы любого языка к разряду морфем. В этом отношении во взглядах О. С. Ахмановой есть много общего с высказываниями Вандриеса, так как и О. С. Ахманова отрицает наличие грамматических слов, с той только существенной разницей, что для О. С. Ахмановой эти элементы (союзы, предлоги, вспомогательные глаголы, артикли) являются словами, но не грамматическими, а лексическими единицами. Грамматическую единицу как выражающую отношение О. С. Ахманова противопоставляет лексическим единицам, выражающим такое же отношение. Категория лица, например, выраженная морфемой *-ем* в слове *работаем*, в *мы работали* выражается лексически словом *мы*. Разница между отношением, выраженным грамматически, т. е. морфемой, — делает вывод О. С. Ахманова, — и тем же отношением, выраженным лексически, т. е. отдельным словом (между морфемой *-ем* и словом *мы*), состоит в том, что грамматически выраженное отношение является основным.

По мнению О. С. Ахмановой, для грамматических единиц внутренней стороной является выражаемое ими значение отношения не самими словами как таковыми, а какими-либо дополнительными к словам средствами. Существенной, на наш взгляд, ошибкой О. С. Ахмановой является то, что у нее разный подход к категории отношения, выраженной морфемой, и к той же категории, выраженной отдельным словом.

Если считать *мы* в *мы работали* отдельным словом лишь на основании того, что его значение является дополнительным или основным, неизбежен вывод об отсутствии функциональной разницы между словом, выражающим отношение, и морфемой с тем же значением отношения. И в аффиксе *-ем*, и в слове *мы* имеется и лексическое, и грамматическое значение. И в морфеме *-ем*, и в слове *мы* (когда оно не эмфатично) доминирующим является грамматическое значение отношения, т. е. значение лица как дополнительное к значению действия. Если рассматривать *мы* в связи с языковой единицей, с которой оно соотносится (*работали*), то *мы* окажется таким же дополнительным, второстепенным к значению *работали*,

¹ G. Chaves de Melo, A linguagem de Brazil, Rio de Janeiro, 1946, стр. 120.

как *-ем* к значению корневой морфемы *работа*. И, наоборот, если рассмотреть значение окончания *-ем* само по себе, как это делает О. С. Ахманова для слова *мы*, то значение этой морфемы не может быть дополнительным к самому себе.

Если сравнить русское *мы работали* с равнозначимым латинским *laboravimus*, то ясно, что значение латинского окончания *-mus* полностью совпадает со значением русского личного местоимения *мы*. Если же утверждать, что значение латинского *-mus* грамматическое, а значение русского *мы* лексическое, то придется поставить знак равенства между значением отношения, выраженным грамматически, и тем же значением, выраженным лексически, что было бы в корне неверно.

Значение притяжательности, выраженное в семитских языках суффиксом, полностью совпадает с этим же значением в индоевропейских языках, где эта притяжательность выражается особым притяжательным местоимением (ср. русск. *мой ребенок*, англ. *my child*, нем. *mein Kind*, франц. *mon enfant*, исп. *mi niño*, итал. *il mio bambino*, лат. *puer meus*, греч. τὸ ἐμὸν τέκνον с араб. / ѱалидй /). Таким образом, одни и те же значения отношения, выраженные в одних языках аффиксом, в других — словом, в третьих — нулевым показателем (например, англ. *Father works at a factory*, где отсутствие артикля и местоимения перед словом *father* равносильно употреблению притяжательного местоимения *my* или *our*), равным образом являются второстепенными, дополнительными, т. е. грамматическими.

Во всех этих случаях мы имеем дело с тем, что Г. Гугенем удачно называет «*servitude grammaticale*»², т. е. со случаем, когда мы не можем не употреблять именно этих (в зависимости от языка) языковых единиц, слова ли они или морфемы, не нарушая структуры предложения, не искажая языка. Следовательно, если мы хотим считать такие языковые единицы, как личные, притяжательные местоимения, предлоги, союзы, артикли, чтобы отличать их от нецельнооформленных морфем, то мы не должны употреблять термин «грамматические слова». Но мы должны будем согласиться с тем, что они отличаются от морфем только формой, которой они выражают связь с другими, лексическими, единицами предложения, но не отличаются сущностью этих отношений.

Эти грамматические слова становятся лексическими тогда, когда они перестают быть грамматической неизбежностью, как в *мы работаем* в русском языке, *nos laboramus* в латинском языке и т. д., и приобретают большую степень лексичности в эмфатическом употреблении: *мы работаем*. Во французском *nous travaillons*, в английском *we work* слова *nous* и *we* выступают такими же дополнительными к *travaillons* и *work*, как русск. *-ем* или лат. *-mus*. Без *nous* или *we travaillons* и *work* были бы в первом случае первым лицом мн. числа повелительного наклонения, во втором случае — вторым лицом того же наклонения. Особенно ярко выступает грамматичность глаголов, имеющих в самостоятельном употреблении значение *иметь* и *быть* и теряющих это значение в сочетании с причастием прошедшего времени другого глагола.

Из сказанного можно сделать вывод, что грамматичность и лексичность выражения отношения зависит не от того, выражено ли данное отношение отдельным словом, отдельной словоформой или аффиксом, и, наоборот, словоформа не является лексическим выражением отношения, если она «*servitude grammaticale*». Поэтому мы можем сказать, что некоторая, пусть иногда весьма незначительная, лексичность имеется и в грамматических морфемах, как и в грамматических словах. Критерием для установления большей или меньшей степени лексичности данной грамматической единицы служит возможность выделить ее значение. Это можно делать по-разному

² G. G u g e n h e i m, *Système grammatical de la langue française*, Paris, 1939, стр. 99.

в разных языках: изменением порядка слов, эмфатическим ударением или заменой другим словом.

В англ. *I work, I worked*, в нем. *ich arbeite, ich arbeitete*, в русск. *я работаю* значение лица становится значением лексическим, когда на личные местоимения *I, ich, я* падает эмфатическое ударение. Во французском языке значение лица выражено лексически при помощи дублирования местоимения *je* и других местоимением *moi* и др.: *moi, je travaille*. В исп. *yo trabajo*, португ. *eu trabalho*, итал. *io lavoro*, русск. *я работаю* местоимения *yo, eu, io, я* являются словами лексическими, так как они дублируют окончания, выражающие то же лицо; следовательно, их употребление не вызвано грамматической необходимостью («servitude grammaticale»).

Такой «servitude grammaticale» является артикль в тех языках, где он имеется. Его отсутствие там, где его ожидают, искажало бы значение всего высказывания. Так, если сказать *book was criticized* вместо *the book was criticized*, существительное *book* было бы воспринято как собственное имя: «Некий по фамилии Бук был раскритикован читателями». То же самое относится к любому современному языку, в котором имеется артикль, что еще раз опровергает (хотя в таком опровержении уже давно нет нужды) утверждение Гримма и его последователей о том, будто артикль является ненужным балластом в языке. Но это также доказывает несостоятельность точки зрения О. С. Ахмановой о том, что если данные единицы являются словами (О. С. Ахманова, как и все представители школы А. И. Смирницкого, считает артикль в западноевропейских языках отдельным словом), то эти единицы лексические. Артикль, будет ли он истолкован как отдельное слово или как морфема слова, является единицей грамматической, т. е. второстепенной, дополнительной. Но и артикли, как и большинство других грамматических элементов языка (безразлично, морфемы ли они или отдельные слова), могут в редких случаях в большей или меньшей степени лексикализироваться, например: «This title translated into modern speech, would be THE BOSS. Elected by the nation. That suited me. And it was a pretty high title. There were very few THE's and I was one of them» (M. Twain, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court) «Этот титул в переводе на современный язык был The Boss (хозяин). Избранный народом. Это было мне по душе. И это был довольно высокий титул. Существовало очень мало THE, и я был одним из них».

Но если слово и морфема отличаются не грамматичностью или лексичностью своего значения, если грамматические слова и грамматические морфемы по значению равны, то чем же все-таки отличаются слова от морфем? А. И. Смирницкий и его последователи считают основным признаком отдельного слова его цельнооформленность, т. е. тот факт, что данная языковая единица входит в определенную парадигму, имеет различные грамматические формы. Согласиться с этим мнением А. И. Смирницкого никак нельзя. Если, как пишет А. А. Реформатский, «система — это единство однородных взаимообусловленных элементов», то нельзя считать неизменяемые слова, имеющие только одну форму, членами парадигмы, системы форм, так как, если «остается один элемент, то данная система ликвидируется»³. Таким образом, например, к английским прилагательным, не входящим в парадигму, не может относиться морфологическая цельнооформленность как признак отдельного слова.

К этому надо добавить, что во французском местоимения *lequel, laquelle, lesquels*, в немецком *derselbe, dieselbe* и др., *le, la, les, der, die* являются морфемами, хотя они цельнооформлены. Цельнооформлен также суффиксированный артикль в норвежском языке в тех редких случаях, когда и он, и существительное, суффиксом которого артикль является, сохраняют формы род. падежа, например *av alle livsens* (вместо *livets*) *h'refter* «изо всех сил», *du er d'fdsens* (вместо *d'fdens*) «ты погибший человек»

³ А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 24, 25.

и т. д.⁴ Также цельнооформлен суффиксированный болгарский артикль, так как он изменяется по числам и родам параллельно с изменениями существительного или прилагательного, суффиксом которого он является, например, *масата* «сто», *масите* «стола». Следовательно, морфологическая цельнооформленность не может еще служить признаком отдельного слова.

Вторым критерием, выдвигаемым А. И. Смирницким для признания языковой единицы отдельным словом, является определенная свобода передвижения данной единицы в предложении. Действительно, грамматические морфемы — личные, падежные, родовые окончания — не могут оторваться от корневых морфем, ибо являются посетителями грамматических категорий и форм слова. Лексические же, словообразовательные приставки и суффиксы нередко отрываются от корневой морфемы, с которой они связаны, и присоединяются к последнему звену цепи однородных членов предложения, например, немецкие приставки, испанский и португальский суффикс *-mente*, образующий наречия: ср. нем. *Ein- und Ausgang* «вход и выход», *hin- und herlaufen* «бежать вперед и назад», исп. «Surgía impetuosa en el corazón del pueblo el ansia de defender su tierra, su hogar, su libertad, que *justa e intuitivamente* sentía ligados a la existencia de la República y de la democracia» (D. Ibarruri) «Неудержимо возникло в сердце народа стремление защитить свою землю, свой очаг, свою свободу, которые (это им правильно подсказывали чувства и интуиция) были связаны с существованием Республики и демократии». То же можно сказать о немецких и шведских глагольных приставках.

Что касается грамматических аффиксов, то подобный отрыв от корневой морфемы встречается довольно редко, но все же бывает, например в случаях притяжат. падежа в английском языке (*The king of England's death* «смерть английского короля») или же в окончаниях род. падежа в скандинавских языках, например в норвежском языке, где часто флексия род. падежа имеется только у последнего звена в цепи однородных существительных: *for gud i himmelens skyld* «ради бога», *høst og vinters lange netter* «длинные ночи осени и зимы»⁵.

Сама возможность отрыва окончания притяжат. падежа в английском языке или род. падежа в скандинавских языках говорит о том, что под свободным передвижением грамматических слов следует понимать не свободу отрываться от того слова, с которым эта грамматическая единица логически связана, а свободу отделяться от всей синтагмы, в которую входит данная грамматическая единица, свободу грамматической единицы не составлять со словом, с которым она логически связана, синтагму. Такой свободой, например, пользуются в русском языке местоимения-прилагательные, личные местоимения и др. Так, мы можем сказать *Я вчера брата видел твоего*. Личное местоимение *я* может оторваться от глагола *видел*, притяж. местоимение *твоего* может оторваться от существительного *брата*.

Если считать, что свобода передвижения внутри синтагмы является признаком отдельного слова, тогда мы должны, безусловно, признать английское окончание *'s* отдельным словом. Если же считать, наоборот, признаком отдельного слова только свободу передвижения во всем предложении, то нам придется признать и предлоги морфемами, как это делает Вандриес.

Нам представляется, что грань между отдельным словом и морфемой слова нужно проводить не в зависимости от возможностей данной единицы отделяться от логически связанного с ней слова, а в зависимости от того, может ли данная грамматическая единица сама быть эллиптическим предложением. В русском языке многие предлоги, все местоимения являются

⁴ См. М. И. Стеблин-Каменский, Грамматика норвежского языка, М., 1957, стр. 42.

⁵ М. И. Стеблин-Каменский, указ. соч., стр. 41.

отдельными словами, поскольку они могут сами быть эллиптическими предложениями, например: *Вы голосуете за или против этой резолюции?* — *За*; *Вы поедете в Ленинград с женой или без нее?* — *Без*; *Эта ваша дочь?* — *Наша*. Однако не все предлоги могут быть отдельными словами. Предлоги *с, к, в*, никогда не могут стоять в предложении без существительного.

Здесь не входит в нашу задачу освещение всех служебных грамматических единиц в различных языках. Наша задача состоит в том, чтобы установить, является ли артикль отдельным словом или морфемой. На наш взгляд, не подлежит сомнению, что артикль в любом без исключения языке может быть только м о р ф е м о й. Артикль не может существовать без слова-опоры. В примере из Марка Твена *There are very few The's and I was one of them — the* является не артиклем, а существительным. Но если это так, если артикль не отдельное слово, а морфема, то необходимо установить, является ли он морфемой только существительного или же он может быть также морфемой прилагательного в атрибутивном сочетании.

Если обратиться к семитским языкам, то мы обнаружим примеры употребления определенного артикля как однозначного (перед одним прилагательным), так и многозначного (перед существительным или перед прилагательным или прилагательными); вследствие этого сочетание «артикль + прилагательное» в семитских языках — это не что иное, как членная форма прилагательного. Собственно говоря, мы имеем здесь дело с явлением, аналогичным членной форме прилагательного в старославянском и балтийских языках. Тот факт, что в семитских языках эта категория определенности выражена префиксально, в то время как в славянском она выражена суффиксально, не имеет, конечно, принципиального значения.

В германских языках мы встречаемся с таким же явлением, что и в славяно-балтийских языках. Определенность и неопределенность существительного выражена слабой и сильной формами прилагательного. Разница между славяно-балтийскими и германскими прилагательными состоит только в том, что в германских языках местоименный тип склонения выражает неопределенную форму, а именной тип — определенную форму. Но от этого не меняется тот факт, что в атрибутивном комплексе в германских языках определенность и неопределенность существительного выражается формой прилагательного.

Факт появления отдельного артикля (например, *ein, eine, der, die, das* в немецком) вызван тем, что во многих случаях дифференциация определенной и неопределенной, слабой и сильной форм прилагательных становилась недостаточно четкой. Так, в беглой разговорной речи современного немецкого языка мы не различаем *guten Bruder* и *gutem Bruder, guten Mann* и *gutem Mann, guten Vater* и *gutem Vater, guten Partner* и *gutem Partner*. О падеже догадываемся чаще всего по содержанию всего высказывания. А определенность и неопределенность нам, следовательно, нужно выразить другим способом. Таким средством является артикль.

Следовательно, появление артикля в германских языках не является просто результатом изменения структуры языка, перехода языка от синтетического строя в аналитический. Во всяком случае появление артикля связано не с изменением структуры существительного. Как сейчас, так и раньше существительное в германских языках не нуждалось в каком-либо признаке. Появление артикля и все большее расширение сферы его употребления связано с изменением структуры прилагательного в связи с постепенным стиранием различия между членным и нечленным прилагательным.

Приадективный определенный артикль мы находим также в румынском и болгарском языках. В обоих этих языках артикль является суффиксом. В зависимости от того, находится ли прилагательное впереди атрибутивного сочетания или существительного, артикль будет приадективным или присубстантивным суффиксом. Так, в *otul bun* «хороший человек»

артиклъ является суффиксом существительного *от* «человек», а в *vinil ot* этот же артиклъ является суффиксом прилагательного *vin* «хороший»; в болгарском языке в *нашата майка* «наша мать» артиклъ (суффикс *ta*) стоит с прилагательным (в данном случае — притяжательным местоимением), а в *майката наша* — с существительным *майка* «мать». Разница между этими двумя языками состоит в том, что в румынском языке самым распространенным является порядок «существительное — прилагательное», а в болгарском, наоборот, «прилагательное — существительное». Однако и в болгарском, и в румынском языках допускается и первая, и вторая последовательности.

В румынском (как и в датском) существительное, определяемое прилагательным, теряет артиклъ. Этот артиклъ (в датском языке в измененной форме) переходит к прилагательному. От этого, однако, существительное не теряет своей субстантивности, и прилагательное никакой субстантивности не приобретает. В болгарском языке связь артикла с прилагательным более прочна, чем в румынском. Во-первых, в болгарском языке обычной является последовательность «прилагательное с артиклем + существительное». Во-вторых, болгарский артиклъ согласуется с существительным в роде и числе, но не образует с ним одной цельнооформленной морфологической единицы.

Если действительно первая функция артикла — служить признаком существительного, то, казалось бы, что именно в романских атрибутивных сочетаниях артиклъ может лучше всего выполнять эту роль. В романских языках артиклъ фонетически присоединяется то к существительному, то к прилагательному, как это имеет место в румынском. Параллель с румынским языком особенно заметна во французском языке, где артиклъ часто является единственным носителем грамматических категорий существительного. В западнороманских языках артиклъ не может служить субстантивирующим элементом в атрибутивном сочетании, поскольку в атрибутивном сочетании существительное и прилагательное могут меняться местами, в то время как артиклъ остается впереди сочетания. Артиклъ в западнороманских языках может, следовательно, быть как присубстантивным, так и приадективным, как в семитских, скандинавских, румынском, болгарском языках, хотя эта присубстантивность оформлена в каждом из этих языков по-своему.

КОНСУЛЬТАЦИИ

В. И. ГРИГОРЬЕВ

О ФОРМАНТАХ И ФОРМАНТНОЙ СТРУКТУРЕ

Понятие «форманты» вошло в употребление в литературе, посвященной акустическим исследованиям речи, лишь в последние два-три десятилетия в связи с развитием методов спектрального анализа речи; оно тесно связано с резонансными свойствами полостей речевого тракта. В акустике резонансом называется свойство полых тел и других устройств, передающих звуковую энергию, избирательно усиливать или ослаблять интенсивность звуковых колебаний, поступающих от какого-либо источника, в зависимости от частоты этих звуковых колебаний. Классическим примером резонирующей полости является так называемый резонатор Гельмгольца, представляющий собой сосуд сферической или иной формы с выходным отверстием в виде горла (рис. 1). Если возбуждать такой резонатор тонами разной частоты, то можно установить, что на некоторой частоте, определяемой объемом полости и поперечным сечением и длиной горла, отдача звуковой энергии резонатором достигает максимального значения, а при уходе от этой частоты интенсивность излучаемых резонатором звуковых колебаний все более ослабевает. Частота максимальной отдачи называется собственной или резонансной частотой резонатора, а кривая, изображающая зависимость интенсивности излучаемых резонатором колебаний от частоты, — его резонансной характеристикой. Пример резонансной характеристики приведен на графике рис. 2, где по горизонтальной оси отложена частота, измеряемая числом герц, т. е. числом колебаний в секунду, а по вертикали — величина коэффициента передачи, т. е. величина усиления или ослабления, которому подвергаются возбуждающие полость звуковые колебания. Резонансная характеристика однозначно определяется частотой резонанса и шириной полосы, обычно измеряемой расстоянием в герцах между точками кривой, равными 0,7 величины коэффициента передачи на частоте резонанса. При этом шириной полосы характеризуются потери энергии звуковых колебаний в резонаторе вследствие трения, поглощения стенками полости и других факторов. Чем уже ширина полосы, тем острее резонансный пик и тем резче спад резонансной характеристики ниже и выше частоты резонанса.

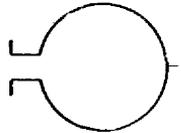


Рис. 1. Резонатор Гельмгольца

По форме резонансной характеристики мы можем заранее предсказать, каким образом будут переданы резонатором звуковые колебания любой сложной формы, если нам известен спектр этих колебаний, т. е. частоты и амплитуды составляющих его простых синусоидальных колебаний. Так, если возбуждать резонатор Гельмгольца равномерным гармоническим спектром, составляющие которого размещены с равными интервалами по частоте и имеют одинаковую амплитуду, то в излучаемых резонатором звуковых колебаниях составляющие, лежащие вблизи резонанса, будут переданы резонатором и излучены в окружающее пространство с максимальным усилением, а более дальние составляющие будут иметь меньшую амплитуду. В результате спектр возбуждающего источника преобразуется резонатором, причем преобразуется в соответствии с резонансной характеристикой, как показано на рис. 2. Применительно к речи такое отображение резонансной характеристики полости на спектр возбуждающего источника и называется формантой. Соединив амплитуды составляющих спектра плавной линией, мы получим кривую, называемую огибающей спектра, которая по своей форме приближается к резонансной характеристике, причем это приближение будет тем более точным, чем регулярнее спектр источника и чем меньше расстояние между составляющими спектра, т. е. чем ниже частота основного тона. Аналогичные соотношения между резонансной характеристикой и формантой наблюдаются и при возбуждении полости шумовым спектром, который характеризуется случайным и беспорядочно меняющимся распределением составляющих по частоте.

Так же, как резонансная характеристика, форманта характеризуется частотой, обычно измеряемой по максимуму огибающей, и шириной полосы. Кроме того, в акустических исследованиях речи используется третье измерение — амплитуда или уровень форманты, которое является избыточным с точки зрения резонансной характе-

ристики, но учет которого представляется важным, поскольку форманта определяется не только резонансной характеристикой, но и характеристикой источника возбуждения.

Рассмотренный процесс возбуждения резонатора звуковыми колебаниями со сложным спектром уже в некотором, хотя и весьма приближенном смысле описывает механизм образования звуков речи. При произнесении звуков речи полость речевого тракта возбуждается почти гармоническим спектром голосовых связок (или шумовым спектром), формирует этот спектр в соответствии со своими резонансными свойствами и излучает его уже в преобразованном виде через губы (или нос) в окружающую воздушную среду. Однако полость речевого тракта имеет очень сложную форму, изменяющуюся от звука к звуку, и, естественно, не может быть представлена простой моделью в виде единичного резонатора Гельмгольца. С большей степенью приближения полость речевого тракта описывает так называемая двухрезонаторная модель, которая является акустической системой из двух соединенных вместе резонаторов Гельмгольца и, соответственно, имеет две резонансные частоты, определяемые параметра-

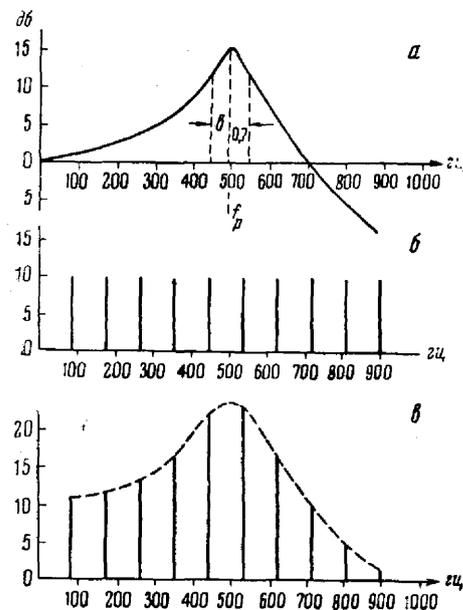


Рис. 2. Отображение единичного резонанса на спектр возбуждающего источника: а) резонансная характеристика; f_p — частота резонанса, $b_{0,7}$ — ширина полосы по уровню 0,7 ($=3$ дБ) относительно усиления на частоте резонанса; б) равномерный гармонический спектр идеализированного источника возбуждения; в) форманта

ми резонаторов и величиной связи между ними. Однако и эта модель имеет для речи лишь ограниченное значение.

Обобщенной акустической моделью речевого тракта может служить модель деформируемой акустической трубы. В своей исходной форме эта модель представляет собой однородную акустическую трубу цилиндрического сечения, закрытую с одного конца, с которого она возбуждается источником (рис. 3). Такая труба характеризуется бесконечным числом резонансов, из которых самый нижний — основной резонанс является четвертьволновым резонансом трубы, т. е. по длине трубы укладывается четверть длины волны звуковых колебаний с частотой резонанса. Остальные резонансы размещены по частоте с одинаковыми интервалами, равными удвоенной частоте основного резонанса. Таким образом, длина трубы является параметром, определяющим все ее резонансные частоты. Например, при длине трубы 17,5 см, равной средней длине надставной трубы от голосовых связок до губ для мужчины, частота первого основного резонанса будет равна 500 гц, второго — 1500 гц, третьего — 2500 гц, четвертого — 3500 гц и так далее через каждые тысячу герц. Накладываясь друг на друга, резонансные характеристики отдельных резонансов образуют единую частотную характеристику трубы с бесконечным множеством резонансных максимумов, из которых с точки зрения процесса речеобразования существенное значение имеют лишь первые четыре резонанса. Пример частотной характеристики для трубы длиной 17,5 см приведен на рис. 4 (а).

При возбуждении однородной акустической трубы резонансы ее частотной характеристики отображаются на спектр возбуждающего источника в виде некоторой совокупности формант, образующих формантную структуру. Формантная структура характеризуется частотами, амплитудами и значениями ширины полосы составляющих ее формант, которые нумеруются в порядке возрастания их частоты и обозначаются латинским заглавным F с индексами, соответствующими номеру форманты (1, 2, 3 и т. д.). При этом, как и в случае единичной форманты, амплитудные характеристики формантной структуры являются избыточными с точки зрения резонансных свойств акустической системы, и необходимость их учета связана с вхождением в формантную структуру в качестве одного из определяющих факторов характеристик возбуждающего источника, которые могут быть самыми различными.

На рис. 4 приведены два примера отображения частотной характеристики акустической трубы на спектр возбуждающего источника. В первом примере спектр

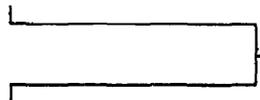


Рис. 3. Однородная акустическая труба

источника равномерный и форманты имеют одинаковую амплитуду. Во втором примере спектр возбуждающего источника имеет спад к верхним частотам, равный 6 децибелам на октаву (т. е. с увеличением в два раза частоты в два раза уменьшаются амплитуды составляющих спектра). В результате получается формантная структура с убывающими уровнями формант. Спектр со спадом 6 дБ на октаву является среднестатистическим спектром голосовых связок с учетом условий излучения через губы. Однако отклонения от этого стандартного спектра голосовых связок для разных дикторов и в речи одного диктора бывают очень большими. Следовательно, одна и та же

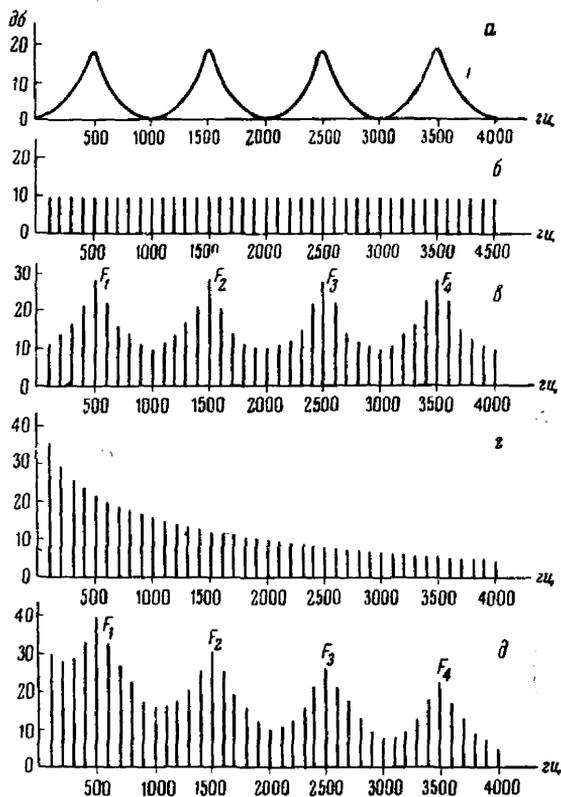


Рис. 4. Отображение частотной характеристики однородной акустической трубы на спектр возбуждающего источника: а) частотная характеристика однородной акустической трубы длиной 17,5 см; б) равномерный гармонический спектр идеализированного источника возбуждения; в) формантная структура однородной акустической трубы при равномерном гармоническом спектре источника возбуждения; г) спектр стандартного источника возбуждения со спадом 6 дБ на октаву; д) формантная структура однородной акустической трубы для стандартного источника возбуждения

частотная характеристика может отображаться на множество формантных структур, объединенных этим общим отношением к порождающей их частотной характеристике и различных по характеру источника возбуждения. Амплитудные соотношения между формантами позволяют сделать некоторое заключение о характере возбуждающего источника с тем, чтобы устранить его из рассмотрения и подойти к частотной характеристике акустической системы, которая определяет инвариантные признаки формантной структуры. Для формантной структуры однородной акустической трубы инвариантным признаком, не зависящим от источника возбуждения, является равномерное распределение формант по частоте и, следовательно, уравновешенное или сбалансированное распределение усиления по формантным областям спектра в том смы-

сле, что линия, соединяющая вершины формант, может быть описана простой линейной зависимостью амплитудных значений от частоты форманты.

Формантная структура однородной акустической трубы является исходной формантной структурой с точки зрения анализа речи. В процессе речи она обнаруживает себя как среднестатистическая формантная структура гласных, произносимых диктором, средняя длина падающей трубы которого равна длине акустической модели. Все иные встречающиеся в речи формантные структуры могут быть поняты и описаны

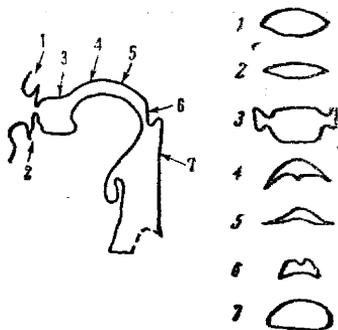


Рис. 5. Продольный разрез речевого тракта при произнесении гласного /ы/ и формы поперечного сечения по длине речевого тракта в точках, отмеченных стрелками 1—7

как результаты преобразования исходной формантной структуры вследствие различного рода деформаций однородной акустической трубы. Следует, однако, иметь в виду, что не все деформации однородной акустической трубы существенны с точки зрения формантной структуры. Например, к несущественным деформациям относятся деформации изгиба и деформации формы поперечного сечения. Как это видно из рис. 5, речевой тракт человека имеет своеобразную изогнутую форму с поперечными сечениями самого различного вида. Однако эти особенности речевого тракта не влияют существенным образом на формантную структуру и могут быть устранены из рассмотрения путем приведения речевого тракта к нормальной форме с прямолинейной продольной осью и с цилиндрическими поперечными сечениями, площадь которых равна площади поперечных сечений реального речевого тракта.

Несколько более сложным является вопрос о роли деформаций, заключающихся в изменении длины исходной акустической модели, которые сопряжены с пропорциональными перемещениями всех формантных частот по спектру источника, как показано на рис. 6, где по горизонтали отложена длина трубы в сантиметрах, а по вертикали — частота форманты в герцах.

Особенностью деформаций длины является то, что относительные расстояния между формантными частотами остаются при этом неизменными. Этот факт в общем предоставляет нам возможность считать деформации длины несущественными и устранить их из рассмотрения, для чего достаточно лишь определить формантную структуру не частотами формант F_1, F_2, F_3, F_4 и т. д., а отношениями между формантными частотами $F_2 : F_1, F_3 : F_1, F_4 : F_1$ и так далее, которые для данного вида деформации остаются и в а р и а н т ы м и. Серьезным основанием для такого подхода к формантной структуре является факт наличия значительных различий в длине речевого тракта между отдельными людьми и особенно между мужчинами, женщинами и детьми. В среднем длина речевого тракта женщин на 15% меньше длины речевого тракта мужчин. Для детей эта величина составляет 25%. На графике рис. 6 проведены вертикальные линии, соответствующие средним длинам речевого тракта для мужчин, женщин и детей. Пересечением этих вертикальных линий с формантными линиями определяются средние формантные частоты, которые, таким образом, для женских голосов должны быть выше на 17,6%, а для детских голосов — на 33% по сравнению со средними частотами мужских голосов. Вместе с тем из литературных данных известно, что в реальных спектрах речи формантные частоты для женских голосов в среднем на 17% выше формантных частот для мужских голосов, что в общем свидетельствует о достаточно хорошем совпадении между артикуляционными и акустическими данными. Нужно, однако, иметь в виду, что длина речевого тракта значительно изменяется при переходе от звука к звуку в речи одного диктора. Значение этих деформаций длины для распознавания звуков речи пока остается неясным и подлежит дополнительному исследованию.

Особо важную роль в преобразованиях формантной структуры играют деформации площади поперечного сечения. Деформации этого вида не просто смещают положение формант на шкале частот, но и самым заметным образом изменяют соотношения между формантными частотами и тем самым нарушают баланс усиления, характерный для исходной формантной структуры, что приводит к образованию новых формантных структур с иным распределением усиления по формантным областям спектра. Общее представление о характере возможных деформаций площади поперечного сечения речевого тракта можно получить из сопоставления однородной акустической трубы с конфигурациями речевого тракта (приведенного к нормальному виду), характерными для русских гласных /а, и, ы, у/, которые даны на рис. 7. Нужно ска-

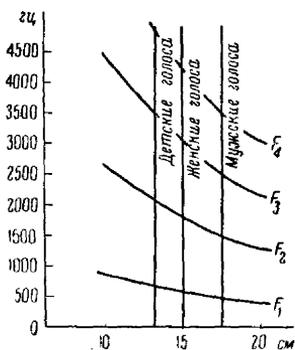


Рис. 6. Зависимость резонансных частот от эффективной длины однородной акустической трубы

зять, что современная акустика располагает средствами моделирования изменений площади поперечного сечения на сколь угодно малых отрезках продольной оси речевого тракта, что позволяет исследовать влияние любых деформаций площади поперечного сечения на формантную структуру звуков речи. Результаты такого детального исследования особенностей формантной структуры в зависимости от площади поперечного сечения излагаются, в частности, в работе Г. Фанта «Акустическая теория речеобразования». Однако для общего понимания закономерностей в преобразованиях формантной структуры важное значение имеют более грубые модели деформаций, отражающие лишь общие и наиболее существенные черты речеобразовательного процесса. В рамках консультации мы, естественно, не можем рассмотреть всех моделей деформации однородной акустической трубы, которые читатель найдет в книге Г. Фанта, и остановимся лишь на отдельных примерах, существенных для понимания механизма образования гласных.

При рассмотрении моделей речевого тракта для гласных /а, и, ы, у/ можно обнаружить некоторые деформации общего характера, которыми в основном определяется конфигурация речевого тракта для того или иного гласного. Одной из деформаций такого общего вида является плавное расширение или плавное сужение речевого тракта от гортани к губам, как в случае гласных /а/ и /и/, артикуляционные модели которых даны на рис. 7. Этот вид деформации площади поперечного сечения может быть промоделирован на однородной акустической трубе, если плавно расширить и сужать ее диаметр и переводить ее то в форму прямого, то в форму обратного рупора, изображенных на рис. 8. Наблюдая при этом за формантной структурой, можно установить, что деформации типа рупора по существу не влияют на положение верхних формант, но резко меняют частоту первой форманты, которая смещается вверх, когда труба принимает форму прямого рупора, и наоборот, опускается вниз при переходе трубы к обратному рупору. Если повторно изменить конфигурацию трубы, которая, естественно, должна при этом обладать эластичными свойствами, то первая формантная линия будет во времени описывать периодическую кривую вокруг своего исходного или нейтрального положения, а линии верхних формант практически при этом не будут смещаться — они образуют статичную часть формантной структуры (это схематически изображено на рис. 9).

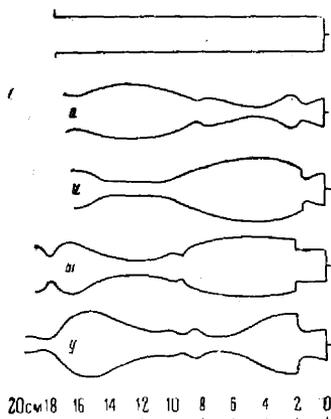


Рис. 7. Однородная акустическая труба и модели речевого тракта, приведенного к нормальному виду для гласных /а, и, ы, у/

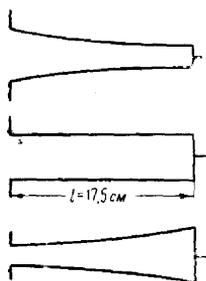


Рис. 8. Однородная акустическая труба и прямой (вверху) и обратный (внизу) рупоры

В большей мере затрагивают формантную структуру деформации, заключающиеся в образовании местных сужений по продольной оси речевого тракта, и, в особенности образование сужений между языком и верхним сводом речевого тракта и между губами. Эти сужения как бы делят полость речевого тракта на две полости — переднюю и заднюю, которые по своим резонансным свойствам близки к резонаторам Гельмгольца. Передняя и задняя полости захватывают ту или иную форманту, частота которой близка к собственной частоте полости, и при изменении своих параметров, например в результате перемещения сужения по продольной оси тракта, ведут эту форманту за собой до тех пор, пока влияние другой полости или других частей речевого тракта не пересилит влияния ведущей полости. Для качественного анализа влияния местных сужений речевого тракта на формантную структуру большое значение имеет так называемая трехпараметровая модель речевого тракта, в которой сужение между языком и небом моделируется путем введения в однородную акустическую трубу и перемещения по ее оси в виде поршня цилиндрической секции меньшего сечения, а сужение между губами — при помощи специальной выходной секции (рис. 10). В приближенном смысле можно сказать, что трехпараметровая модель имитирует соотношения, характерные для классического артикуляционного треугольника гласных, а именно: подъем языка — величиной диаметра суженной секции, признак ряда — положением суженной секции на оси трубы и величиной огрубления — диаметром и длиной выходной секции. Изменение этих трех параметров модели приводит к закономерным преобразованиям формантной структуры, существо которых состоит в следующем.

При перемещении суженной секции от заднего положения примерно до середины трубы передняя полость, объем которой уменьшается при соответственном возрастании

частоты резонанса, захватывает вторую форманту и перемещает ее из положения, близкого к первой форманте, вверх. Одновременно навстречу второй форманте движется третья форманта, ведомая задней полостью, объем которой увеличивается и, соответственно, резонансная частота понижается.

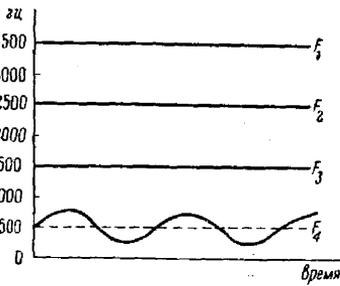


Рис. 9. Схема преобразований формантной структуры в результате деформаций типа рупора (пунктиром обозначено нейтральное положение первой форманты)

Поправка. На рисунке справа (сверху вниз) следует читать: F_4, F_3, F_2, F_1 .

Характерная особенность этого цикла преобразований состоит в том, что при этом попеременно в нижней, в средней и в верхней части формантной структуры образуются группировки из двух формант, которые создают преобладание по усилению в этих областях спектра, поскольку при сближении форманты усиливают друг друга, а при их совмещении коэффициенты усиления отображаемых формантами резонансных характеристик перемножаются. Поэтому и весь описываемый моделью цикл преобразований формантной структуры может быть определен как цикл перемещения преобладания. Основным фактором в этих преобразованиях является линия форманты, ведомой передней полостью, или линия переднего резонанса, поскольку перемещение форманты, ведомой задней полостью, происходит в более узком диапазоне, и, кроме того, в реальной речи влияние задней полости на формантную структуру ослабляется дополнительными артикуляционными факторами. Изменение других параметров модели не меняет качественной картины преобразования. В частности, изменение диаметра суженной секции лишь меняет диапазон перемещения формант, поскольку с увеличением диаметра модель в конечном итоге вырождается в однородную акустическую трубу, а форманты возвращаются в

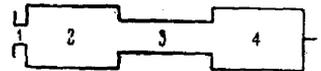


Рис. 10. Трехпараметровая модель речевого тракта: 1) выходное отверстие; 2) передняя полость; 3) суженная секция; 4) задняя полость

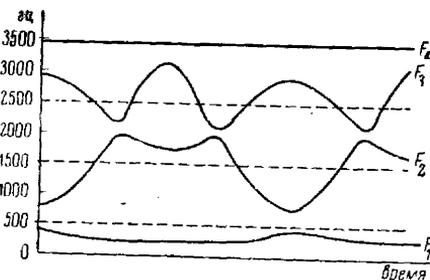


Рис. 11. Схема преобразований формантной структуры в результате цикла деформаций типа местных сужений, моделируемых трехпараметровой моделью речевого тракта (пунктиром обозначены нейтральные положения формант)

свои исходные положения. Уменьшение выходного отверстия приводит к понижению всех формант, из которых наибольшее смещение получает форманта, ведомая передней полостью.

Рассмотренные модели деформации однородной акустической трубы далеко не исчерпывают всей сложности соотношений между артикуляционными и акустическими фактами и приведены здесь скорее в порядке иллюстрации того, как вообще может быть получен конечный акустический эффект — определенные преобразования формантной структуры, играющие, кстати говоря, решающую роль в системе русских гласных. В самом деле, как показывает анализ спектров речи, качество гласного в русском языке, без учета вариантных особенностей, определяется совокупным действием преобразований формантной структуры двоякого типа:

1. Относительным смещением первой форманты, которая занимает крайнее нижнее положение для гласных /у, ы, и/, среднее, близкое к нейтральному положение для /о, е/ и верхнее положение для /а/.

2. Перемещением преобладания, которое может быть нижним для /а, о, у/, средним для /ы, е/ и верхним для /и/. Гласные /а/ и /и/ занимают крайние позиции в этой системе преобразований формантной структуры, что с очевидностью вытекает из рассмотрения видеограммы последовательности /аиаи/, приведенной на рис. 12.

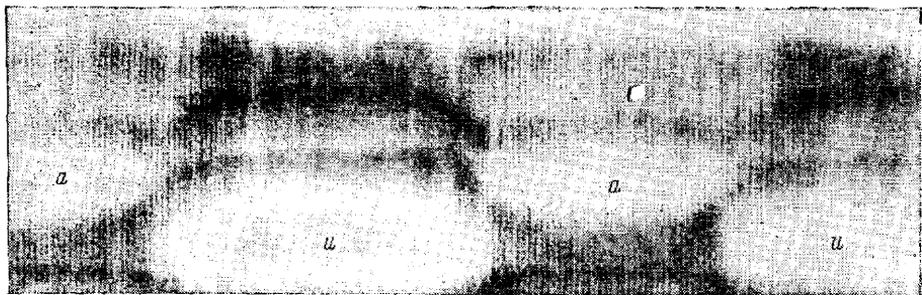


Рис. 12. Видеогрaмма последовательности гласных /аиаи/; ширина полосы анализирующего фильтра = 300 гц

на которой колебания первой форманты совмещаются с переходом преобладания из нижнего в верхнее положение.

Кроме деформаций площади поперечного сечения, большое значение с точки зрения формантной структуры имеют деформации ответвлений и деформации, сопряженные с перенесением источника по продольной оси речевого тракта. Эти деформации связаны с рядом осложняющих обстоятельств, которые будут рассмотрены в следующей консультации, посвященной механизму образования согласных.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. Г л и с о н, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959.
2. G. F a n t, Acoustic theory of speech production, 's-Gravenhage, 1960.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ «ПРАСЛАВЯНСКОЙ ГРАММАТИКИ» Г. А. ИЛЬИНСКОГО

В Архиве АН СССР (фонд 18, опись 1, №345) хранится корректура «Введения» ко второму изданию «Праславянской грамматики» члена-корр. АН СССР Г. А. Ильинского, которая должна была выйти в серии «Энциклопедия славянской филологии» (сокр. ЭСФ). «Праславянский язык» давно входил в планы ЭСФ, издававшейся ОРЯС Академии наук. Как известно, инициатор и редактор этого издания акад. И. В. Ягич предложил написать «Общеславянский язык» акад. Ф. Ф. Фортунатову, но последний отказался. Тогда к работе приступил А. Мейе. Публикация его труда в связи с событиями военных лет задержалась. Позже А. Мейе выпустил свою книгу в ином издании¹.

Осенью 1927 г. акад. Е. Ф. Карский от имени Второго отделения АН СССР предложил Г. А. Ильинскому составить для отдельного тома ЭСФ «Праславянскую грамматику». Это предложение не было случайным — праславянский язык был в центре научных интересов Г. А. Ильинского² с первых шагов его научной деятельности.

К 1927 г. в активе Г. А. Ильинского, кроме ряда статей и монографий по праславянскому языку, было первое издание «Праславянской грамматики», вышедшей в 1916 г. в Нежине³. Это издание сразу стало библиографической редкостью и сохранилось в единичных экземплярах. Возможно, что при благоприятных условиях распространения «Праславянская грамматика» могла бы сыграть более значительную роль. Она вышла в свет на 8 лет раньше известной книги А. Мейе и была первой обобщающей работой по праславянскому языку — по разделам фонетики и морфологии. В ней Ильинский впервые утвердил праславянскую грамматику как отдельную дисциплину, отличную по своему предмету и методу от сравнительной грамматики славянских языков, от истории отдельных славянских языков и от науки о ст.-сл. языке⁴.

Предложение Академии наук Г. А. Ильинский принял с благодарностью. Десятилетие, прошедшее после выхода первого издания, принесло огромное количество новых исследований по праславянскому языку. Это был период интенсивного развития науки о праславянском языке. Сам Ильинский написал несколько новых работ и обширную монографию «Введение в историю русского языка» (рукопись найти не удалось), являющуюся по существу очерком развития праславянского языка, где он, судя по письмам и рецензии на книгу О. Гуйера⁵, пытался рассмотреть праславянские фонетические явления с точки зрения закона открытых слогов. Весьма вероятно, что результаты такого рассмотрения приближались к результатам Н. Ван-Вейка более, чем к положениям первого издания «Праславянской грамматики», где явления, связанные с действием этого закона, разбросаны по отдельным рубрикам.

Работа шла успешно. Меньше чем через год было сдано в печать «Введение» (осень 1928 г.), а летом 1930 г. Е. Ф. Карский получил последние листы, оглавление и список сокращений. Но тут начались издательские трудности, работа часто прерывалась, а затем и вовсе прекратилась⁶. Хлопоты академиков Е. Ф. Карского и Б. М. Ляпунова о продолжении печатания не увенчались успехом. Впоследствии пропала и рукопись. Осталось лишь 96 страниц корректуры «Введения».

Трудно судить в полной мере об отличиях первого издания от второго. Совершенно ясно, однако, хотя бы по «Введению», что они были значительными. Г. А. Ильинский обладал способностью быстро работать, но над вторым изданием «Праславянской грамматики» он работал свыше трех лет, т. е. не меньше, чем над первым. Он стремился к

¹ A. Meillet, *Le slave commun*, Paris, 1924.

² См. монографию Ильинского: В. К. Журавлев, Г. А. Ильинский, М., 1962.

³ В Архиве АН СССР хранится рукопись отзыва А. А. Шахматова на «Праславянскую грамматику» Ильинского (фонд 9, опись 3, № 56 (см. ВЯ, 1962, 6)).

⁴ Не без сожаления приходится заметить, что до сих пор некоторые наши и зарубежные авторы продолжают смешивать эти дисциплины. Положение Ильинского является весьма и весьма актуальным и сегодня. Неразграничение этих научных дисциплин тормозит развитие каждой из них и славянского языкознания в целом.

⁵ Г. А. Ильинский [рец. на кн.:] O. Hujer, *Úvod do dějin jazyka českého*, II vyd., ИОРЯС, XXXI, 1926, стр. 349. Ильинский высказывает мысль о важности построения истории звуков праславянского языка на основе «закона открытых слогов».

⁶ В Архиве АН СССР (фонд 18, опись 2, № 238, л. 195—195 об.) хранится следующая отрицательный отзыв Н. Я. Марра об этой книге (от 12/II 1931 г. № 61—6):

исчерпывающей библиографической полноте, в чем ему помогал Б. М. Ляпунов, учитывал все новые работы, новый материал и новые методологические опыты исследования. Как видно из писем к Ляпунову, в качестве заключительной главы Ильинский предполагал дать обширный очерк о диалектах праславянского языка⁷. По объему второе издание должно было быть в полтора-два раза больше первого. Известно, что осенью 1929 г. — за полгода до полного завершения работы — Ильинский переслал Карскому 1200—1300 страниц рукописи.

Сохранившееся «Введение» по объему в два раза превосходит «Введение» к первому изданию. В отличие от него, здесь дан сжатый очерк развития науки о праславянском языке на фоне развития истории общего и славянского языкознания. Значительно расширены разделы, посвященные проблеме славянской прародины, балто-славянским языковым отношениям. Эти страницы читаются и сейчас с большим интересом. Вдвое увеличена глава «Лексикальные взаимоотношения праславянского языка с другими соседними народами» — своеобразный итог исследований Ильинского как этимолога⁸. Здесь приводятся списки ранних общеславянских заимствований из иранских, кельтских, германских и т. д. языков.

Предлагаемый вниманию читателя § 5 первой главы «Введения» является сжатым очерком истории науки о языке, написанным в эпоху острой полемики со сторонниками «нового учения о языке» Ильинского вместе с Е. Д. Поливановым на диспутах, посвященных проблемам яфетидологии. Ильинский писал Ляпунову: «Ведь П. Г. („Праславянская грамматика“. — В. Ж.) представляет сплошную гимн сравнительному методу и живое отрицание того хаоса, который вносит яфетическая теория...»⁹.

«Взгляд на общий ход изучения праславянского языка» был сделан Г. А. Ильинским сквозь призму традиционных представлений сравнительно-исторической грамматики, характерных для той научной школы 20-х и 30-х годов, которая еще придерживалась основных принципов младограмматизма и была довольно далека от структурно-теоретического подхода. «Взгляд» Г. А. Ильинского интересен как итог большого и важного периода в истории сравнительного славянского языкознания — периода тщательного собирания и каталогизации фактов, строгого и критического, хотя и несколько атомарного, отношения к материалу. «Взгляд» Ильинского — это взгляд современника на путь, пройденный его собратьями по науке и им самим, и потому он является ценным документом истории славянского языкознания¹⁰.

В. К. Журавлев (Минск)

ЯФЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК СССР
В Издательство АН СССР

Отзыв на работу Г. А. Ильинского «Праславянская грамматика».

Указанная работа Г. А. Ильинского, результат его многолетнего труда, не выходит по своему материалу и своим интересам за пределы формально-сравнительной школы языковедения, а методологически стоит целиком на позициях идеалистической лингвистики. Вследствие этого работу Г. Ильинского ни в каком случае нельзя рекомендовать в качестве практического пособия по изучению славянских языков, следовательно, ее незачем и печатать. Однако работа Г. Ильинского представляет значительный интерес в другом отношении. Она с исчерпывающей полнотой подытоживает все высказывания русских и иностранных лингвистов по вопросу о т. наз. «праславянском» языке и представляет читателю громадный библиографический и справочный материал по тому же вопросу. По этой книге читатель не только со специальным интересом к языку, но даже массовый читатель с совершенной наглядностью убедится в бессилии формально-сравнительного метода разрешить важнейшие проблемы языкознания и безнадежности того тупика, в который завел этот метод т. наз. «славяноведение». С этой точки зрения работу Г. Ильинского, в частности «Введение» к ней, следовало бы напечатать, снабдив ее предварительное соответствующим предисловием, раскрывающим методологические установки автора и вышеуказанную цель ее издания. Кроме того, работа Г. Ильинского до своего напечатания нуждается в некоторых «стилистических» поправках (напр., в поправке — «украинский» яз. вместо употребляемого автором термина — «малорусский язык», стр. 39). Приложение: Вышеуказанная работа на 96 стр. Директор ИИ академик Н. Я. Марр

Принятое 13 февраля 1931 г. решение: «закончить издание, выпустив лишь в количестве, необходимом для снабжения Библиотеки Академии (50 экз.) и других библиотек (по одному экземпляру). Оставшиеся ранее отпечатанные листы сдать для использования на бумажную массу» (там же, л. 98), — было заменено окончательным решением от 23 апреля 1931 г. о полном прекращении печатания «Праславянской грамматики»: «Признать печатание в настоящем году нецелесообразным, рукописи вернуть автору, отпечатанные листы обратить в макулатуру» (там же, л. 102).

⁷ Ср. в публикуемом тексте последнее замечание о книге А. Мейе.

⁸ О его этимологических штудиях в последние годы жизни см.: О. Н. Трубачев, Этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского, ВЯ, 1957, 6.

⁹ Письмо от 8 апреля 1931 г., Архив АН СССР, фонд 752, опись 2, № 117.

¹⁰ В привлечении архивных материалов, помогающих воссоздать историю второго

5. Взгляд на общий ход изучения праславянского языка

Хотя славянская лингвистика как специальная система знаний существует уже около 150 лет, наука о праславянском языке выделялась из нее в особую грамматическую дисциплину сравнительно поздно, чуть ли не на глазах двух или трех последних поколений. В этом нет впрочем ничего удивительного. Ведь праславянская грамматика есть родное дитя двух сравнительных грамматик, индоевропейской и славянской, а обе эти дисциплины находились еще в пеленках, когда начал свою научную деятельность отец научного славяноведения И о с и ф Д о б р о в с к и й; последний сосредоточил свои главные усилия на изучении древнецерковнославянского языка, но, хотя он и не смещивал его, подобно многим своим предшественникам, с языком праславянским, но рассматривал его не со сравнительно-исторической точки зрения, а как готовое данное, искусственно сложенное из элементов разновременного и разноместного происхождения. Как показывает его опыт классификации славянских языков,—он делил их на две группы: з а п а д н у ю, состоящую из языков чешского, словацкого, серболужицкого и польского, и в о с т о ч н у ю, обнимающую собой русский язык и все южнославянские,—ему не чужда была идея праязыка или, лучше сказать, того о с н о в н о г о языка (*Grundsprache*), который явился источником всех прочих, но он ничего не сделал для ее разъяснения. Но если бы он и пожелал это сделать, он не мог бы, так как сравнительное изучение языков в его время существовало лишь в зародыше. Правда, в 1816 г. вышел трактат Б о п п а о системе спряжения в индоевропейских языках, но среди них мы напрасно стали бы искать даже древнецерковнославянский; впервые последний был введен Боппом в оборот сравнительно-лингвистических исследований лишь в 1835 г., т. е. тогда, когда Добровского уже давно не было в живых, именно во 2-м выпуске его «Сравнительной грамматики»; но и здесь автор ничего не говорит о праславянском языке. Мало того, даже о родоначальнике индоевропейских языков Бопп выражается очень туманно; он не имеет для него даже постоянного определенного названия и говорит то об «едином» основном языке, то о периоде языкового единства, то о первичной и древнейшей эпохе его развития. Столь же неясны были представления Боппа и о разделении языков, и лишь в своем более позднем труде («Über die Sprache der alten Preussen», 1853) он высказал предположение, что отделение балтийско-славянского языка от «азиатского брата-языка» наступило позднее, чем отделение языков классических, германских и кельтских, но все-таки до распадения азиатской части нашей языковой области на ветвь индийскую и иранскую.

Следовательно, отец сравнительного языковедения не сделал для изучения праславянского языка почти ничего, да иначе не могло и быть, так как все свои сведения о славянских языках он почерпнул из «*Institutiones linguae slavicae dialecti veteris*» Добровского (1822). Между тем двумя годами ранее этого труда вышло «Рассуждение о церковнославянском языке» В о с т о к о в а, который бросил неожиданный свет на физиологическую природу целого ряда гласных и, в частности, блестяще разгадал тайну происхождения церковнославянских юсов как носовых гласных. Так как все эти счастливые открытия были сделаны при помощи сравнения данных одних славянских языков с показаниями других, то можно без всякого преувеличения сказать, что «Рассуждение» Востокова как бы открыло дверь в сравнительную грамматику славянских языков и, в частности, указало путь для восстановления праславянских звуков средствами самих славянских языков. С другой стороны, зная церковнославянский язык по гораздо более древним памятникам, Востоков располагал неизмеримо более надежным критерием при определении относительной древности известных звуков и форм славянских языков, почему и предложенная им триалистическая классификация славянских языков (взамен дуалистической Добровского) изображала взаимоотношение их южной, западной и восточной групп в более верном свете. Идя по стопам Востокова, немало ценных соображений высказал М а к с и м о в и ч («Историко-критическое исследование о русском языке», 1838 и др.)—по вопросу о систематике славянских языков — и К а т к о в («Об элементах и формах славяно-русского языка», 1845) — по разным вопросам славянской фонетики и даже ударения.

Взгляды русских ученых, особенно Востокова, пустил в оборот в западноевропейской лингвистической литературе Ф р. М и к л о ш и ч. Хотя как языковед он принадлежал к школе Боппа, но он очень рано сумел эмансипироваться от ее отрицательных качеств, как это видно из весьма обстоятельного критического разбора главного труда его учителя, который он напечатал в 1844 г. в 105-м томике венских «*Jahrbücher*». А в следующем году он издал в Лейпциге свои замечательные «*Radices linguae slovenicae dialecti veteris*», представлявшие как бы prospect будущего «Этимологического словаря славянских языков». Но, вообще говоря, центр тяжести изучений Миклошича лежал в церковнославянском языке, и этим объясняется, почему в его капитальной «*Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen*», которой первый том, посвященный фонетике, вышел в 1852 г., а второй, посвященный морфологии,— в 1856 г., этот язык занимает первое место. Гораздо важнее были методологические недостатки его иссле-

издания «Праславянской грамматики», большую помощь оказали директор Архива АН СССР Г. А. К н я з е в и научный сотрудник Архива Т. И. Л ы с е н к о.

дований. Не говоря уже о том, что Миклошич сравнительно редко пользуется данными других индоевропейских языков, он в то же время почти совсем игнорирует идею праславянского языка, субституируя его церковнославянским языком; индославянский материал сопоставляется с этим языком чисто механически и по одному шаблону, вследствие чего «Сравнительная грамматика» Миклошича производит впечатление какой-то лингвистической казармы. Но в этой казарме собран и тщательно рассортирован богатейший фактический материал, что делает книгу венского слависта незаменимым справочным пособием, особенно после того, как он переиздал оба тома в переработанном виде в 1870 г. и 1876 г. и дополнил томами, посвященными вопросам славянского словообразования (I т., 1875) и синтаксиса (IV т., 1874).

Работы Миклошича расчистили почву для научной деятельности в области славянских языков одного из величайших лингвистов XIX в. А в г. Шлейхера. Столь любимые Миклошичем коллекционирование материала и более или менее механическая сортировка по известным грамматическим рубрикам глубоко не удовлетворяли пытливый ум Шлейхера, смотревшего на язык как на живой организм, последовательно проходящий все этапы зарождения, расцвета и медленной смерти. С такой точки зрения для Шлейхера особенный интерес представляли первичные стадии эволюции языка, когда последний отличается, по его мнению, наибольшей полнотой звуков и форм. Для него идея «праязыка» не есть абстрактная формула, как для Боппа или Миклошича, — формула, из которой извлекаются недостающие для лингвистических уравнений языки и игреки, — а понятие, исполненное реального содержания. Он видит в праязыке такой этап в историческом развитии известного диалекта, когда последний окончательно отрывается от своего основного ствола и таким образом делается самостоятельным идиомом. С течением времени этот идиом, в свою очередь, пускает от себя новые ростки, которые, при благоприятных условиях, развиваются в самостоятельные лингвистические особи. Так возникла в уме Шлейхера его знаменитая теория разделения языка, по которой вся система индоевропейских языков есть не что иное, как единое многоветвистое дерево, выросшее из одного корня — индоевропейского языка. С точки зрения этой теории и праславянский язык представляет собой лишь одну ветвь этого дерева, но ветвь, выросшую не прямо из его основного ствола, а через посредство, по крайней мере, двух гораздо более мощных ветвей, именно балтийско-славянской и балтийско-славяно-германской.

Этот взгляд на эволюцию праславянского языка Шлейхер попытался в 1858 г. даже подробно обосновать в специальной статье «Kurzer Abriss der Geschichte der slavischen Sprache» (Beitr. I, 1 sq.), впоследствии в несколько распространенном виде вышедшей на русском языке под названием «Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индоевропейских языков» (СПб., 1865). В этой работе в первый раз была сделана довольно подробная характеристика звукового и формального строя праславянского языка с момента его отделения от балтийского языка и до разделения его на современные славянские наречия. Само собой разумеется, что при тогдашнем уровне славянского языкознания он мог начертить лишь общую схему системы праславянского языка, его, так сказать, скелет, но и это одно было его великой заслугой. Несмотря на свой небольшой размер, эту работу Шлейхера в сущности заключал в себе in nuce очерк грамматического строя праславянского языка, и потому указанную дату можно считать годом рождения науки о праславянском языке как самостоятельной лингвистической дисциплины. Богатый материал для восстановления отдельных частей этого языка принес вышедший через три года монументальный «Compendium der vergleichenden Grammatik der idg. Sprachen» Шлейхера. Несмотря на то, что заимствованная у Боппа и развитая под влиянием учения Гегеля теория о двух периодах в жизни языка, доисторическом и историческом, помешала Шлейхеру с таким же вниманием прислушаться к показаниям новых славянских языков, как к древнецерковнославянскому, все же, в сравнении с аналогичным трудом Боппа, труд Шлейхера представлял гигантский шаг вперед. По всей вероятности, указанный недочет его книги был бы с избытком покрыт в подготовлявшейся им к печати «Сравнительной грамматике славянских языков», но, к великому сожалению, смерть помешала ему осуществить его грандиозный замысел.

По счастью, дело Шлейхера перешло в надежные руки его учеников Шмидта и Лескина. Ни тот, ни другой, правда, не написали ни славянской сравнительной грамматики, ни праславянской, тем не менее оба они сильно подвинули изучение славянского праязыка в трех отношениях.

Во-первых, был с новых точек зрения пересмотрен вопрос о классификации славянских языков. Выставленная Шмидтом «теория волн» изобразила постепенное распадение праязыка как медленный, но неуклонный процесс его дифференциации — процесс, в продолжении которого одни и те же изменения, хотя и на различной ступени развития, повторяются на разных участках его территории. Вследствие этого и возникающие на ней различные говоры не имеют строго определенных границ, но незаметно переходят один в другой, как волна передвигается в волну. Поэтому и происшедшие из этих говоров языки в большинстве случаев представляют непрерывную цепь идиомов, из которых один служит как бы мостом к другому. Применения эту теорию волн к праславянскому языку, Шмидт поставил его посередине между балтийской группой

языков и иранской. Хотя, как показала потом критика Лескина, теория воля не исключает теории родословного древа, поскольку из цепи языков могло выпасть какое-либо ее звено вследствие выселения его народа-носителя, тем не менее гипотеза Шмида сыграла в изучении праславянского языка весьма благотворную роль, подчеркнув его органическую связь, с одной стороны, с балтийской семьей, а с другой, с арийской и доказав полную невозможность изучать его историю вне связи с судьбами его ближайших родственников.

Во-вторых, и Шмидт и Лескин собранный Шлейхером (в упомянутом Abriss'e) скелет праславянского языка первые начали облекать плотью и кровью, т. е. облежать в специальных монографиях разные части его фонетического и морфологического строя. Так, первый — в принципе совершенно верно — объяснил сложный комплекс явлений, связанных с происхождением так называемого полногласия («Zur Geschichte des idg. Vokalismus», II, 1875), а второй восстановил в общих чертах систему праславянского склонения («Die Deklination im Slav[isch]-Lit[auischen] und Germ[anischen]», 1876), причем попутно навсегда похоронил теорию своего учителя о германо-славяно-балтийском языке. Эти исследования послужили образцами для многих других этюдов в области славянского сравнительного языкознания, но как ни разнообразны были их темы и как ни талантливы были их авторы, все же они представляли собой лишь начало великой работы воссоздания праславянского языка; для его будущего здания не было заложено еще даже фундамента.

Лескин понял это и потому с тем большей энергией стал изучать древнецерковнославянский язык как сохранивший наиболее полно праславянское наследство. Плодом его работ в этой области явился его классический «Handbuch der altbulgarischen Sprache», на шести изданиях которого (1871—1922) воспитались целые поколения славянских и западноевропейских ученых. Несмотря на преобладание в этом учебнике описательного метода, все же праславянский элемент в нем был довольно точно отграничен от собственно церковнославянского, благодаря чему начинающие адепты славистики очень скоро отвыкли смотреть на древнецерковнославянский язык как на alter ego праславянского.

Главы работы Шмида и Лескина вышли в ту эпоху, когда на смену «органического» направления Шлейхера прилетели новые птицы и запели новые песни. Это было так называемое «нео- или младограмматическое» направление. Во главе его стали три молодых ученых, почти одновременно выступившие в середине 70-х годов на научно-литературную арену: Б р у г м а н, О с т г о ф и П а у л ь; позже к ним примкнули, хотя и не без оговорок, упомянутые Ш м и д т и Л е с к и н в Германии, Б о д у э н д е Куртенэ в Польше и России, Ф о р т у н а т о в и С о б о л е в с к и й в России, Ф. де Соссюр и Брeаль во Франции.

Новая школа написала на своем знамени следующие девизы:

1. Центр тяжести лингвистических изысканий должен лежать не в изучении мертвых языков, но в наблюдениях над процессами, происходящими в современных живых языках, и притом не только в литературных, но и в народных говорах; ведь здесь яснее выступают такие стороны, которые в письме или совсем не выражаются, или выражаются неполно и несовершенно.

2. Самый язык как произведение народного духа не может быть изучаем вне индивидуальной и национальной психики, ибо его история есть не что иное, как «история психологических организмов» (Пауль).

3. И материальная и формальная сторона этих организмов подчинена непреложным, т. е. не допускающим никаких исключений, звуковым и психологическим законам; из них первые коренятся главным образом в физиологических условиях образования звуков и их акустики, а вторые — в условиях возникновения и сочетания связанных с данными формами психических ассоциаций.

4. Языки не разрушаются и не умирают (как учил Шлейхер), а растут и развиваются¹. Рост языка заключается в постоянном увеличении его лексикального, звукового и отчасти формального запаса или капитала, а эволюция в попеременной д и ф ф е р е н ц и а ц и и, т. е. в постепенном расщеплении праязыка на языки, языков — на наречия, наречий — на говоры, и н т е г р а ц и и, т. е. во взаимном влиянии наречий и слиянии их в «культурные языки».

5. В связи с этим явились новые методы реставрации праязыка. Прежде последний восстанавливался, так сказать, с в е р х у в н и з, т. е. сначала реконструировался индоевропейский праязык, а потом последовательно возникавшие из него его потомки. Теперь же, когда более углубленное изучение народных говоров доказало генетическую зависимость мелких их групп от более крупных, явилась возможность реставрировать праязыки с н и з у в в е р х. Например, систематическое сравнение северновеликорусских говоров с южновеликорусскими приводило к воссозданию правеликорусского языка, такое же сравнение особенностей великорусского наречия с белорусским и малорусским — к восстановлению прарусского языка, сопоставление черт последнего с южнославянскими языками — к построению даже юго-восточного

¹ Данное положение раньше (еще в 1874 г.) высказано Потебней в его «Введении» к «Запискам по русской грамматике». (Эта сноска сделана акад. Б. М. Ляпуновым, который, по просьбе Г. А. Ильинского, вносил и уточнял библиографические справки, пропущенные Г. А. Ильинским.— В. Ж.)

славянского праязыка и т. д. Хотя при такого рода операциях и не обходилось без грубых методологических и других промахов, все же они значительно углубили содержание понятия «праязыка» вообще и «праславянского» в частности. Другим благодетельным последствием успешного роста диалектологии было открытие той истины, что народные юморы, рядом с многочисленными возникшими уже на глазах истории новообразованиями, таят в себе и множество архаизмов, и притом нередко таких, которые уже давно исчезли со страниц даже древнейших памятников данного языка. Таким образом, наука, неожиданно для себя самой, получила новый, почти неисчерпаемый источник для восстановления звуков, форм и в особенности словаря праязыка. Впрочем лексика последнего не менее интенсивно обогащалась и с другой стороны. Благодаря провозглашенной неограмматики непреложности звуковых законов, этимология, еще недавно руководившаяся в своих изысканиях чисто внешним, случайным созвучием слов и потому представлявшая скорее научную игрушку, чем серьезное исследование, превратилась в самостоятельную лингвистическую дисциплину, излагающую биографию каждого отдельного слова по всем правилам данного языка и даже связывающую ее важнейшие моменты с общими культурно-историческими условиями жизни народа — носителя языка. При таком осторожном и истинно научном подходе являлась возможность более точно, чем раньше, определять возраст слова, его туземное или иноземное происхождение и, главное, его первоначальный звуковой и формальный состав. Все это, конечно, не могло не принести громадной пользы при изучении лексического запаса известного праязыка как в качественном, так и количественном отношении.

Таковы были главные постулаты неограмматического направления. И трудно сказать, где они оказались более плодотворными, в славянской ли сравнительной грамматике или в индоевропейской. С конца 70-х годов прошлого столетия полился непрерывный и все расширяющийся поток всевозможных исследований в области обеих этих наук — изысканий, одно простое перечисление которых, пожалуй, заняло бы целую книгу. Многие из них содержали в себе то более, то менее ценные факты или соображения по разным вопросам праславянского языка; но немного было среди них таких, которые приносили с собой гениальные открытия, вроде, например, тех, которые сделали в области праславянской интонации и ударения, независимо друг от друга, де Соссюр и Фортунатов и которые вызвали дальнейшие капитальные изыскания Лескина, Лоренца, Кульбакина и др. Как бы то ни было, но фактический материал, касающийся праславянского языка, рос с каждым годом, и это обстоятельство заставляло все более остро чувствовать необходимость выделения его в самостоятельную систему. Но на практике это стремление долгое время выражалось лишь в постепенном расширении праславянского материала в церковнославянских грамматиках. Правда, Лескин делал это довольно скупо, и этим, вероятно, объясняется, почему Бругман, для которого труды автора «Die Deklination» были главным источником его славянских знаний, в своем монументальном «Grundriss der vergleichenden Grammatik der idg. Sprachen» (1-е изд. 1886—1892, 2-е изд. 1897—1911) не выделил праславянского языка в особую рубрику, но рассматривает его вместе с балтийским под общей формулой «Baltisch-slavisch»; факты же первого в громадном большинстве случаев субституируются церковнославянскими. То же самое мы находим и в сокращенной переработке «Grundriss»'а «Kurze vergleichende Grammatik der idg. Sprachen» (1904); здесь, впрочем, явления праславянского языка приводятся в рубрике «Slavisch», так как балтийские языки в этой книге не рассматриваются совсем. Но хотя в обоих этих трудах (с полным успехом заменивший собой давно устарелый «Compendium» Шлейхера) праславянский материал втиснут в весьма тесную рамку, однако, по существу, дело от этого мало пострадало благодарному, что Бругман обычно приводит лишь такие церковнославянские примеры, которые действительно являются точными копиями праславянского. Во всяком случае, в отношении праславянского языка гораздо шире был горизонт Фортунатова, который в своих глубоко продуманных и тщательно обработанных лекциях по фонетике старославянского и индоевропейского языков (оба эти труда вышли из печати уже после его смерти в 1919 г. и 1922 г.) значительное место уделил фактам праславянского языка. Я скажу даже более — в первом труде автор под фирмой «старославянского языка» изучает на самом деле почти исключительно «общеславянские», по его терминологии, явления.

Глубокий интерес к «общеславянскому» языку унаследовал от своего учителя его талантливый ученик Шахматов, который в своих многочисленных трудах посвящал много места явлениям праславянской эпохи, особенно той, которая непосредственно предшествовала образованию самостоятельных славянских языков. Правда, реконструкция «общеславянских» явлений во всех ее редакциях, не исключая позднейшей и самой полной в «Очерке древнейшего периода русского языка» (1915), производилась обычно с очень односторонней (ультрафонетической) точки зрения, тем не менее это не помешало Шахматову бросить яркий свет на многие явления праязыка славян. Весьма важное место занимал праславянский язык также в исследованиях другого старшего ученика Фортунатова — Соболевского, который, впрочем, очень рано эмансипировался от влияния своего учителя и пошел собственным и, надо признать, очень счастливым путем. Объяснив очень удачно в своих «Исследованиях в области русской грамматики» (1881) многие загадки древнерусского языка как факты

праславянского языка, он и в своих «Лекциях по истории русского языка» (с 1-го изд. 1888 г. до 4-го 1907 г.) и в «Древнецерковнославянском языке» (1891) тщательно разграничил процессы обоих языков, а в последнем труде он даже посвятил особую главу «общеславянским изменениям звуков». Это одно ставит «Фонетику» Соболевского в методическом отношении гораздо выше «*Altkirchenslavische Grammatik*» В о н д р а к а в обоих ее изданиях (1900 и 1912). Автор последней возводит церковнославянские звуки и формы непосредственно к индоевропейскому языку, так сказать, через голову праславянского языка, хотя, конечно, он делает это осторожно, не смешивая явлений, возникших на церковнославянской почве, с праславянскими. Напротив, подобающее место праславянскому языку отведено в «*Vergleichende slavische Grammatik*» того же ученого (1906—1908). Хотя во введении к этому труду мы напрасно стали бы искать даже краткой общей х а р а к т е р и с т и к и праславянского языка, все же в главной части автор сначала рассматривает вкратце происхождение каждого отдельного праславянского звука, потом изучает его изменения на праславянской почве, чтобы затем перейти к подробному обзору его судеб на территории современных славянских языков. Таким образом, если угодно, в этом труде дан очерк праславянской грамматики, поскольку она должна служить предверием к славянской сравнительной грамматике в строгом смысле слова. По такому же плану написан труд Вондрака и во втором, значительно расширенном издании (I—II, 1924—1928). Впрочем в этом последнем, в отличие от первого издания, автор не забыл дать общую характеристику не только праславянского языка, но и балтийско-славянского. Но еще раньше, чем вышла эта книга, Лескин выпустил совершенно новую переработку своего «*Handbuch*»'а под названием «*Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache*» (1909). Хотя здесь явления праславянского языка рассматриваются вместе с церковнославянскими, все же, в отличие от церковнославянской грамматики Вондрака, отдельные звуки и формы церковнославянского языка возводятся сначала к соответствующим праславянским, а эти последние — к индоевропейским. В методологическом отношении такой прием составляет большой плюс. Но еще последовательнее и рациональнее поступил К у л ь б а к и н во всех изданиях и редакциях своего «Древнецерковнославянского языка» (1911, 1913, 1915, 1917, 1928, 1929)²: праславянская фонетика и морфология или изложены в специальных главах, являющихся как бы введением к центральной части книги, что дает им право на признание праславянской грамматики в миниатюре, или изъяты совершенно.

Таким образом, по мере расширения фактического содержания праславянского отдела сравнительной грамматики и связанного с ним умножения специальных исследований отдельных его проблем, в научной литературе все более возрастает стремление рассматривать явления праславянского языка отдельно от церковнославянского. И это было вполне естественно: чем успешнее развивалось изучение отдельных, живых и мертвых славянских языков и чем грандиознее были завоевания сравнительной грамматики как славянской, так и индоевропейской, тем очевиднее становилась истина, что праславянский и церковнославянский языки, при всей относительной близости своего фонетического и морфологического строя, все-таки далеко не совпадают друг с другом и что церковнославянский язык, отделившись от своего предка, пережил самостоятельно немало таких фонетических и психо-морфологических процессов, изучение которых требует особых, иногда даже не столько лингвистических, сколько филологических методов. Это обстоятельство невольно приводило к мысли о необходимости разгрузить церковнославянскую грамматику от задач, которых она не в состоянии решать одними своими средствами. С другой стороны, быстрые успехи изучения праславянского языка все повелительнее и настоятельнее требовали, чтобы наука о праславянском языке была освобождена от церковнославянского балласта, по крайней мере в его филологическом смысле. Эти два стремления шли навстречу друг другу, и не удивительно, что они, наконец, породили мысль о полной эмансипации праславянского языка как такового от церковнославянского. Ведь уже с начала 90-х годов прошлого столетия обе системы знаний сделали своего рода сиамскими близнецами, которые скорее мешали двигаться друг другу, чем помогали.

Первый из ученых, который попытался на практике прекратить столь неудобный симбиоз двух различных лингвистических дисциплин под одной крышей, был М и к к о л а. В 1913 г. он издал первую часть своей «*Urslavische Grammatik*» (Heidelberg, 1913), посвященную фонетике; обещанное продолжение до сих пор не появилось³. В четырех небольших главах автор успел рассмотреть лишь место праславянского языка, описать в общих чертах произношение славянских звуков, определить отношение праславянских гласных к системе индоевропейского вокализма и охарактеризовать вкратце праславянское ударение. Следовательно, даже консонантизм остался вне поля зрения автора. Само собой разумеется, что на протяжении 146 страничек

² Г. А. Ильинский, видимо, еще не знал в то время о новом, сербском, издании книги (Београд, 1930), хотя с ее автором вел оживленную переписку и книгообмен.— В. Ж.

³ Вторая часть, посвященная консонантизму, вышла в 1942 г., третья часть — морфология — в 1950 г. (J. J. Mikko la, *Urslavische Grammatik*, II — Konsonantismus, Heidelberg, 1942; III — Formenlehre, Heidelberg, 1950).— В. Ж.

Mikkola мог лишь очень неполно использовать богатую литературу своего предмета; избегая всякой полемики, он ограничивается изложением лишь самых существенных элементов праславянского вокализма. Зато он делает это ясным, простым языком, нередко вводит свежий этимологический материал и кое-где позволяет себе высказывать новые гипотезы, впрочем мало удачные.

Примеру финского ученого последовал в 1914 г. П о р ж е з и н с к и й, выпустив в качестве первого выпуска «Сравнительной грамматики славянских языков» «Общеславянский язык в свете данных сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков» (М., 1914); через два года она вышла вторым изданием, дополненная отделом о глаголе (1916). Как показывает самое заглавие, автор освещает данные праславянского языка главным образом с точки зрения индоевропейца, а не слависта, и это, конечно, не является достоинством его книги. Односторонность изложения усугубляется еще тем, что автор как убежденный последователь фортунатовской школы игнорирует исследования, примыкающие к другим научным направлениям.

Менее объемистый, но неизмеримо более содержательный и талантливый очерк праславянского языка представляет собой вышедшая одновременно с работой Поржезинского книжка Г у й е р а «Uvod do dějin jazyka českého» (Прага, 1914, 2-е изд. 1924). Хотя она и носит название «Введение в историю чешского языка», но из 90 страниц последнему посвящено не более 10; весь же остальной текст занят очерком развития праславянского языка, начиная с того момента, когда он еще потенциально находился в недрах индоевропейского языка, и кончая той эпохой, когда на его территории начали появляться первые симптомы диалектической дифференциации. Крайне стесненный местом, Гуйер мог отметить в своем изложении лишь самые важные явления праславянского языка, но зато он сделал все, чтобы выяснит их генезис, а иногда и процесс их развития с максимальной научной акрибией.

В 1924 г. в Париже вышел капитальный труд, посвященный праславянскому языку. Он принадлежал перу самого блестящего не только во Франции, но, может быть, и во всей Европе лингвиста М e i l l e t. Знаменитый автор назначал его первоначально для русской академической «Энциклопедии славянской филологии», но vis maior четырехлетней войны и последовавших за ней русских событий заставила его опубликовать свой труд под названием «Le slave commun» в коллекции учебников парижского «Института славянских изучений». Книга эта имеет ряд крупных достоинств, но не лишена она, к сожалению, и существенных недостатков. К числу первых относятся, во-первых, полнота плана грамматики: в ее состав вошли не только фонетика и морфология праславянского языка, но и некоторые наиболее важные отделы синтаксиса; во-вторых, метод ее: автор как истинный артист пользуется приемами сравнительного языкознания и там, где надо вывести известные процессы праславянского языка из тенденций его индоевропейского предка, он делает это с неподражаемым искусством; в-третьих, точность и фактичность изложения: со свойственной ему ясностью ума автор избегает вычитывать из фактов языка более того, что в них есть, и как враг всяких априорных теорий заботится только об одном: изобразить праславянский язык как «кость от кости и плоть от плоти» индоевропейского языка. Что касается отрицательных сторон труда Meillet, то самой важной является его сравнительно слабое внимание к выводам славянской сравнительной грамматики; автор, по-видимому, недостаточно полно знаком с ее достижениями и, слишком преклоняясь пред авторитетом древнецерковнославянского языка, остался глух ко многим таким показаниям живых славянских языков, без которых невозможно не только определение относительной хронологии целого ряда явлений праславянского языка, но и восстановление его фонетического и формального строя, особенно в позднейшие периоды его жизни. Другим недостатком труда Meillet является его субъективизм. В своем изложении автор крайне редко считается с мнением своих предшественников, никогда не делает справок по истории вопроса и, за редчайшими исключениями, не пользуется выводами даже тех трудов, которые он сам привел на первых страницах своей книги в качестве своих пособий. Наконец, немаловажным дефектом «Праславянской грамматики» французского слависта является отсутствие в ней главы о праславянских диалектах и, как ее итога, научной классификации славянских языков.

Последнюю по времени попытку изложить систему, по крайней мере, праславянской фонетики сделал Б у л а х о в с к и й в своем «Вступ до порівняної граматики слов'янських мов» (Харьков, 1927). Очень мало оригинальная в изложении явлений праславянского вокализма и консонантизма, эта книга не лишена значения стройным и сравнительно очень подробным изложением запутанных проблем праславянской акцентуации.

Таковы главные опыты изложения системы праславянского языка, какие принесли с собой первые три десятилетия текущего столетия. Можно оценивать эти попытки, конечно, самым различным образом, но нельзя отрицать того, что все рассмотренные труды, взятые в совокупности, неопровержимо доказывают, что наука о праславянском языке уже давно нашла себя самое, что она самоопределилась и доказала свое право на отдельное и независимое от древнецерковнославянского языка существование. Этот результат есть одно из самых важных достижений славяноведения вообще и славянской филологии в частности.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

B. Nordhjem. The phonemes of English. An experiment in structural phonemics.—Copenhagen, 1960. 205 стр.

Книга Б. Нордьема имеет подзаголовок «Опыт структурной фонематики» и состоит из «Введения», трех частей (I — «Тезис», II — «Метод», III — «Применение») и «Заключения». Большая часть исследования посвящена теоретическим проблемам, третья часть представляет собой обширную иллюстрацию фонематического анализа английского языка на базе правил и допущений, сформулированных в двух первых частях. Синтезирование основных теоретических результатов и собственно определение фонемы дано в «Заключении». Рецензируемая книга является собой образец исследования, призванного установить новую точку зрения на привычные факты и понятия и новый метод оперирования этими фактами и понятиями. Книга представляет интерес в отношении двух проблем: проблемы значения выражения и проблемы лингвистического описания.

Автор начинает с того, что рассматривает определения фонемы, данные тремя лингвистами, представляющими три различных направления современной фонологии: Э. Фишер-Йоргенсен, Б. Блоком и А. Мартине. Оказывается, что все три определения весьма значительно расходятся не только в терминологии, но и по существу. Методологическая трудность усугубляется трудностями семантического порядка: слово «фонема» употребляется в применении как к целому классу абстрактных единиц, так и к одному члену этого класса. С другой стороны, привычка мыслить в плане «words mean things» и общая неопределенность в лингвистической трактовке значения также влияют на понимание и употребление термина «фонема». Таким образом, автор приходит к выводу, что «мы не можем надеяться дать удовлетворительную теорию фонематики, пока мы не сможем предложить удовлетворительной теории значения и описания» (1.3.3). Решению этой задачи и посвящена первая часть рецензируемой работы.

В лингвистическом употреблении уже стали обычными термины «выражение» и «содержание». Однако понимание их различно, и у самого Л. Ельмслева не дано до конца ясной интерпретации этих терминов. Центральной проблемой в кругу проблем содержания и выражения остается проблема значения. «Проблема значения = проблема языка», — говорит автор (2.3).

Если говорить о логико-философских источниках концепции автора, то следует указать на Л. Витгенштейна, Р. Карнапа и особенно У. Куайна, идейную связь с которым подчеркивает сам автор (1.4). Нордьем различает прежде всего субстанциональное и формальное значение. Такое разграничение делают и другие лингвисты. Однако, говорит Нордьем, здесь кроется серьезный парадокс, если не дать специальной интерпретации этого разграничения. С одной стороны, индивид-говорящий воспринимает высказывания такими, что они имеют отношение к некоей внеязыковой субстанции; например, если *A*, видя стол, говорит: «Это — стол», он уверен, что в высказывании отразился его внеязыковой опыт, т. е. что данное высказывание имеет определенное субстанциональное значение. С другой стороны, говорящий *B*, находясь в отношении восприятия стола и своего собственного высказывания в таком же положении, не имеет, однако, достоверных (эмпирических) данных о том, что и в уме *A* имеется аналогичное восприятие, т. е. что внеязыковой опыт *A* идентичен внеязыковому опыту *B*. Следовательно, *B* не может быть совершенно уверен, что субстанциональное значение данного высказывания для *A* идентично или отлчно от его собственного, а потому субстанциональное значение не может быть передано в сообщении. Отсюда парадокс: субстанциональность значения — это, с одной стороны, фундаментальный факт языка, с другой — ненужное усложнение лингвистики. С традиционной точки зрения решения этого парадокса нет. Поэтому Нордьем отказывается от традиционного подхода и выдвигает переходную точку зрения, призванную подготовить переход к окончательной точке зрения. На основе переходной точки зрения предлагается следующее решение указанного парадокса: должно различать два вида знания — субъективное знание (SK) и общественное или интересубъективное знание (IK)¹. Субъективное знание не выходит за пределы индивидуального разума, общественное знание может передаваться от разума к разуму. Субстанциональное значение принадлежит SK.

¹ SK — subjective knowledge, IK — intersubjective knowledge.

формальное значение — ИК. С переходной точки зрения значение есть прямое отношение между высказываниями (5.2). Таким образом, передаваться и исследоваться может лишь формальное значение. Поскольку была отмечена зависимость определений лингвистических единиц от определения значения и поскольку лингвистическое значение является по характеру формальным, постольку все определения в лингвистике должны носить формальный характер (7.3.1).

Определяются основные семантические отношения (гл. 6); факт, что некоторое выражение может применяться к объекту, есть факт SK; соответствующий факт в ИК должен быть сформулирован следующим образом: «высказывание применяется к другому высказыванию». Чтобы сделать последнее утверждение, мы должны иметь по крайней мере два высказывания: первоначальное и то, согласно которому первоначальное высказывание применяется к объекту. Этот тип отношения называется а п п л и к а ц и е й. Нам представляется, что сказанное может быть изложено следующим образом. Пусть O обозначает объект, E — первоначальное высказывание, T — терм (термин, используемый для обозначения высказывания) и $+$ — знак аппликации. Тогда мы имеем:

(1) O — объект (например, *стол*),

(2) E — первоначальное высказывание (например, *table*).

Мы уверены, что E аппликативно по отношению к O , и выражаем это SK-высказыванием:

$$(3) + (E, O),$$

что значит: «к данному объекту применимо высказывание *table*». Чтобы сделать наш внутренний опыт интересующим, мы должны прибегнуть к двойной аппликации:

$$(4) + (+ (E, O), E),$$

что значит: «к данному высказыванию (2) применимо высказывание (3)». Или, введя понятие термина, мы можем преобразовать (4) в более простую формулу, положив, что $+(E, O) = T'$; $+(T', E)$, или, положив, что (4) = T , мы получим

$$(5) + T.$$

Формула утверждения в ИК может иметь лишь два вида: либо $+T$, либо $-T$, что значит: «данное высказывание апплицируется» и «данное высказывание не апплицируется» (6.1.2). Различие аппликации в SK и аппликации в ИК можно представить в иных терминах. Истинность или ложность высказывания $+(E, O)$ устанавливается из анализа отношений его к факту; истинность высказывания $+T = +(+ (E, O) E)$ устанавливается из анализа отношений между составляющими терминами. Можно, следовательно, определить аппликацию в SK как F -аппликацию, а аппликацию в ИК — как L -аппликацию. Тогда вся процедура перевода высказывания из системы SK в систему ИК может быть определена как перевод экстенциональных высказываний в интенциональные.

Приведенное только что описание отношений аппликации в карнаповских терминах вскрывает серьезное внутреннее противоречие в переходной точке зрения Нордьема. Мы сказали, что логическая валентность (истинность — ложность) высказывания $+(+E, O), E$ определяется из соотношения валентностей $+(E, O)$ и E ; но элементарное высказывание E само по себе не имеет ни H -валентности, ни L -валентности, пока оно не будет соотнесено с объектом (нет образа, истинного априори). Устанавливая в SK аппликацию $+(E, O)$, мы тем самым выделяем два критерия определения валентностей: критерий для E в данной формуле и критерий для всей формулы. Если наш «субстанциональный опыт» дает нам свидетельство к тому, чтобы верить нашему SK-утверждению, то T' , т. е. $+(E, O)$, будет истинно. Но тогда истинно и T , которое равно $+(T', E)$: его валентность оказывается определенной валентностью T' , так как E , как было сказано, самостоятельной валентности не имеет. В T , где T' истинно, E также истинно, в результате чего и T является истинным. Из всего здесь сказанного следуют два вывода: 1) в процессе употребления элементарные высказывания (ι -операторы и λ -операторы), составляющие высказывание, проходят две ступени V -проверки (проверки на валентность): F -проверку (или SK-проверку) и L -проверку (или ИК-проверку), причем L -проверка предполагает, что F -проверка уже сделана; 2) в формальной L -аппликации (ИК-аппликации) L -определение валентности T предполагает, что валентность T' в F -аппликации уже F -определена, а это значит, что в ИК имплицитно содержится SK-обусловленность. Изобразим это следующим образом:

$$(6) T = + (F - H, E) \text{ из } T = + (T', E).$$

E здесь, очевидно, истинно, что вытекает из его отношения к T' , т. е. $E L$ — истинно; тогда $T = + (F - H, L - H)$ или

$$(7) (L - H)_T = (F - H)_{T'} \cdot (L - H)_E.$$

Формула (7) относится к ИК, но содержит $(F - H)_{T'}$, относящееся к SK. Между тем автор принял допущение, что в ИК не может быть ничего от SK. Это противоречие в ходе развития автор переходной точки зрения обнаружил иным (косвенным) образом (см. 9.1.1) и поэтому в итоге данная точка зрения была отвергнута и принята окончательная точка зрения (гл. 9). Но прежде чем говорить о последней, надо отметить еще один важный момент в переходной концепции.

Выше было дано определение семантического отношения аппликации. Вторым основным отношением на семантическом уровне признается импликация (6.2.4). После того как в SK установлена аппликация данного высказывания к данному объекту, говорящий может далее вывести заключение, что аппликация эта возможна потому, что данный объект является членом класса таких объектов, к которым в равной мере можно применить наше вы-

сказывание. Класс объектов, таким образом, имплицитно высказывание. В IK этому будет соответствовать импликация между высказываниями; «класс» здесь предстает как «высказывание» (или серия высказываний).

Пусть, таким образом, C_0 обозначает класс объектов. Исходное высказывание в IK выглядит так: при $T' = + (E, O)$

$$(8) (+ (E, O), \exists e C_0) \supset (C_0 \rightarrow + T') \text{ (в SK)},$$

что значит: «если объект, к которому апплицируется высказывание E , входит в класс подобных объектов, то класс имплицитно апплицирует (в SK)». Отсюда следует:

$$(8') (\exists x) (C_0(x) \rightarrow + T'_{x_1}) \supset (\forall x) (+ (E, x)),$$

что значит: «если класс объектов x имплицитно апплицирует высказывание T' относительно какого-либо x_1 , то он имплицитно апплицирует эту аппликацию относительно любого $x \in C_0(x)$ ».

Обозначим теперь $(C_0 \rightarrow + T')$ как $O' \in C'_0$, к которому апплицируется высказывание E' . Согласно этой формулировке, $(C_0 \rightarrow + T')$, т. е. (E', O') , принимается равным $+T_1$. Тем самым мы переводим всю процедуру импликации в сферу IK : в качестве объекта выступает высказывание, в качестве класса — также высказывание (или серия синонимичных высказываний). Мы можем, следовательно, записать:

$$(9) C'_0 \rightarrow + T_1.$$

Приняв, что $C'_0 \rightarrow + T'_1 = + T_2$, выводим правило: «если мы можем утверждать, что $C'_0 \rightarrow + T'$, то мы можем утверждать, что $C'_0 \rightarrow + T_1$ », или, короче: «если $+T_1$, то $+T_2$ »:

$$(10) +T_1 \rightarrow +T_2.$$

Действительно, импликация $C'_0 \rightarrow +T_1 = = I$, если $T_1 = I$ (условие достаточное и необходимое); истинность T_1 , следовательно, определяет истинность T_2 . Истинность T_2 есть L -истинность, истинность T_1 есть F' -истинность. Следовательно, и здесь мы наблюдаем то же соотношение экстенционального и интенционального, что и в формулах аппликации:

$$(11) (L - I)_{T_2} = (L - I)_{C'_0} \rightarrow (F' - I)_{T_1}.$$

$$(12) (F' - I)_{T_1} = (F - I)_{C_0} \rightarrow (F - I)_{T'}$$

Поскольку для установления истинности импликации валентность антецедентов (C'_0 и C_0) безразлична, мы принимаем ее равной I с соответствующей интерпретацией в зависимости от левой части равенств, т. е. либо в F -, либо в L -показателях.

Выведенная формула (10) принадлежит IK .

Главы 9—10 посвящены обоснованию окончательной точки зрения и формулированию основного тезиса. Автор принимает куайновское определение значения: «значение высказывания есть класс всех высказываний, сино-

нимичных ему»². Однако это определение логически неточно. По-видимому, лучше говорить не о синонимичности, а о субститутивности, как это и делает автор (8.6). При этом подчеркивается, что семантический анализ текста повседневного языка не может базироваться полностью на субститутивности. Поэтому помимо критерия субститутивности могут использоваться дополнительные критерии, например структурное установление окружений, в которых данное высказывание встречается. В настоящее время последний фактор привлекает все большее внимание, причем значение лингвистического знака определяется как «множество условий вероятностей его появления в контексте с другими знаками» (М. Джуж).

Окончательная точка зрения постулируется Нордьеком как точка зрения, встав на которую только и можно устранить все «пеноннаемости» из описания речевой ситуации. Последняя, будучи субстанциональной по характеру, не может, согласно переходной точке зрения, выражаться в IK -опыте и IK -высказываниях. В то же время она должна служить исходным моментом всякого лингвистического описания, как было объявлено автором во «Введении» (1.6). Если же встать на окончательную точку зрения, то оказывается возможным включить в качестве критерия описания и субстанциональный фактор, за что так радуется Базель, и таким образом элиминировать кажущееся противоречие между формальным определением (IK -определением) и включающим в него моментом субстанциональности (SK) (см. выше наши формулы). Смысл окончательной точки зрения Нордьека следующий: поскольку индивид не имеет прямого знания о процессе мышления другого индивида, постольку в описании речевой ситуации необходимо исходить из субъективного восприятия фактов и уже после этого можно пытаться принять во внимание такое допущение: «существует другой разум» (9.3.1).

Если оставить в стороне философскую двусмысленность изложенной точки зрения, стремление автора включить в лингвистическое описание и субстанциональный критерий (речевой поток) не может не вызвать одобрения. В зависимости от целей описания ведущую роль может играть либо субстанциональный, либо формальный критерий; между двумя типами описания существует тесная связь в виде последовательных ступеней структурализации: от ступени наблюдения (с преимущественно субстанциональным описанием) к ступени конструкторов (формальное описание)³, так что необходимость субстанционального знания (вводится вместо SK) и формального знания (вместо IK) диктуется требованиями

² W. Quine, Notes on existence and necessity, «Journ. of philosophy», XL, 1943, стр. 120.

³ См. С. Р. Шаумян, Двухступенчатая теория фолемы и дифференциальных элементов, ВЯ, 1960, 5.

мы полноты и непротиворечивости научно-го описания.

Процедура описания, вытекающая из окончательной точки зрения, сводится к следующим требованиям (10.2.3—5): 1) прежде всего необходимо выработать удовлетворительный набор *E*-термов (выражений), посредством которых можно оперировать лингвистическими феноменами. Самый простой путь — это создать приемлемый фонетический алфавит, который был бы по договору принят всеми лингвистами; 2) имея такой алфавит, необходимо осуществлять регистрацию (транскрибирование) речевых последовательностей. Транскрипция, способная стать основой формального анализа, должна отвечать двум требованиям: а) быть адекватной (т. е. охватывать все секции разговорного текста) и б) быть недвусмысленной. Фактически транскрипция должна давать в распоряжение исследователя серию готовых идентификаций и дифференциаций, на которых могло бы базироваться формальное описание; 3) нужно выработать чисто формальный метаязык, на котором можно объявлять результаты исследования. В качестве такого метаязыка предлагается разновидность текстовых игр, описанная в 8.2. Этот метаязык обеспечивал бы создание формулы аппликации, причем в этом случае транскрипция данного текста может рассматриваться как составная аппликативная формула, применяемая в SK-термах к тексту; 4) необходимо посредством ряда определений и правил первоначальную фонетическую транскрипцию перевести в структурное описание. В соответствии с правилами текстовой игры «определение» есть лишь другое слово для «субститутивности»; 5) необходимо сделать дальнейшие упрощения и формализацию структурного описания.

Таким образом, идея данной процедуры сводится к следующему: полное описание разговорного текста должно начинаться с фонетического уровня (10.3.4). На основании всего сказанного формулируется тезис: первичное описание языка (т. е. описание, которое, чтобы быть осмысленным, не предполагает отличного описания) должно быть: 1) «*с и н т е т и ч е с к и м*» — оно должно отпирываться от кратчайших элементов и показывать, как они встречаются в более сложных организациях, и 2) «*ф о р м а л ь н ы м*» — несмотря на использование *E*-термов, описание должно по возможности избегать обращения к описываемой субстанции; все термины должны определяться формально (10.4).

Такова, по Б. Нордье, сущность лингвистического метода описания, детализация которого дана в следующей части работы. Можно сомневаться в категорической необходимости именно синтетического изучения, на котором настаивает Нордье. Преимущество такого подхода никак не аргументировано; во всяком случае, книга Нордье не убеждает, что дедуктивно-аналитический путь не нужен. Более того, можно настаивать как раз на последнем типе исследования. Нордье предлагает начинать с кратчайших элементов структуры,

а между тем есть основания рассматривать такие индивидуальные элементы как результат сложности структуры, причем степень индивидуальности их (и, следовательно, доступности непосредственному изучению) пропорциональна степени сложности структуры. Кроме того, дедуктивно-аналитический путь позволяет оперировать понятием позиции и вести исследование в более широком плане, рассматривая низший элемент структуры в составе более сложного элемента, что обеспечивает стройность и последовательность всего описания, поскольку в этом случае непосредственно в методе описания соблюдается принцип взаимного сцепления ярусов структуры. Метод Нордье не может служить универсальным типом описания и может быть использован для обратной проверки результатов дедуктивного анализа. Наконец, едва ли возможно в настоящее время резкое разграничение между синтетическим и аналитическим изучением объекта; видимо, вера в фундаментальное различие этих типов описания стала своего рода «догмой эмпиризма» (У. Куайн).

Технику дескриптивного метода Нордье можно в общих чертах характеризовать следующим образом. Прежде всего его описание является чисто дистрибутивным. В этом отношении Нордье имеет немало предшественников, причем особенно много общих моментов между методом Б. Нордье и методом Г. Фогта⁴. Вводит понятие последовательности переменных, т. е. пространственная или временная последовательность различных единиц, которые встречаются в определенных группах. Поскольку первоначальный этап исследования заключается в транскрибировании фонетической последовательности, вся последующая процедура базируется на графической последовательности. Под структурой понимается более экономная транскрипция последовательности переменных. Основной принцип структурализации — экономия. Понятие структуры не идентично понятию описания, так как описание может быть осуществлено и не в терминах структурализации.

Различаются графические и графемные структуры. Графическая структура — это такая структура, которая основана на первоначальной графической последовательности (транскрипции) и представляет реарализованную последнюю. Графемная структура — высший этап структурализации, на котором осуществляется дальнейшее упрощение и формализация графической структуры с указанием основных функций переменных (альтернация и комбинация), т. е. процесс ка-

⁴ См.: Н. V o g t, The structure of Norwegian monosyllables, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XII, Oslo, 1942; Z. S. H a r r i s, From phoneme to morpheme, «Language», XXXI, 2, 1955; ег о ж е, Method in structural linguistics, Chicago, 1951; Н. S p a n g - H a n s s e n, Probability and structural classification in language description, Copenhagen, 1959.

те г о р и з а ц и и. В соответствии с этим различаются «граф» как переменный графическая структура и «графема» как переменный графемическая структура. Термины «фон» и «фонема» признаются соответственно равнозначными терминам «граф» и «графема» (31).

Переход от последовательности к структуре осуществляется посредством введения в действие определенных правил аббревиации. Структура той или иной последовательности может быть представлена как в виде ф о р м у л ы (одномерная структура), например $(x + y)Fz$ (что равно $xFz + yFz$), так и в виде т а б л и ц ы (двухмерная структура). Принцип табулирования — ядро дескриптивного метода Нордьема. Например, формула $((x F_2 y) F_1 z) F_2 v$, где F — функция, может быть преобразована в двухмерную структуру:

| | | |
|-----|-----|-----|
| x | y | |
| | z | v |

Преимущество табличной структуры в том, что она позволяет изобразить запутанную сеть функций при помощи частично перекрывающихся отсеков.

Полученная таким образом н о р м а л ь н а я т а б л и ц а может фиксировать: 1) наибольшее число возможных альтернатив посредством включения альтернатив в одну вертикальную колонку и 2) комбинацию посредством размещения комбинантов в различных колонках (в непересекающихся отсеках). Однако в таблице не отмечаются ни такие альтернативы, которые могут иметь место между переменными в различных колонках, ни спецификации функции между комбинантами. В связи с этим возникает необходимость в дополнениях к таблице в виде категорий. Мы можем,

например, приять, что $\frac{x}{y} = def x/y; x/y = x - y$. Переменные, помещенные в одной колонке, образуют п а р а д и г м у; переменные, помещенные в разных колонках, образуют с и н т а г м у. Дополнения к таблице могут состоять из списка синтагм с обозначением функций и к а т е г о р и й (групп переменных, имеющих функцию к другим переменным).

Техника структурализации сложных последовательностей сводится к следующему: 1) установление двух списков — для начальных пар переменных и для конечных пар; 2) анализ и модификация (по определенным правилам) установленных списков. При этом в каждой группе переменных определяются независимые (медиальные) элементы и зависимые (маргинальные). Анализ последовательности, таким образом, строится по принципу сегментации (разбиение на фразы, по терминологии Нордьема, или слоги, которые и являются основой всей последующей структурализации); 3) табулирование полученных модифицированных списков (каждого в отдельности); 4) объединение таблиц, которые по необходимости сопровождаются дополни-

ниями. Категоризация таблиц (как было описано выше); 5) исследование возможности дальнейших упрощений после получения удовлетворительной таблицы последовательности. Эта ступень структурализации является ступенью построения фонемной (графемной) структуры. Графемная структура покоится на иных принципах, нежели графическая. Экономность ее также понимается несколько иначе⁵ (см. 24.1.2). Основным принципом графемизации состоит в том, что каждая часть графемной последовательности, дедуцируемой из графемной структуры, должна быть переводимой в часть графической последовательности посредством серии правил интерпретации. Осуществляется графемизация при помощи модификаций графической последовательности.

Третья часть книги Б. Нордьема иллюстрирует новый тип описания, техника которого определена в предыдущих главах. Материалом служит литературный английский язык в том виде, как он дан в словаре Д. Джоунза. Все, что не вошло в словарь, рассматривается как «экстрасистемное»; сюда включаются в основном заимствованные слова, не имеющие широкого употребления. Кроме того, из анализа исключаются междометия и собственные имена. Подобные исключения объясняются стремлением автора опираться на наиболее «гомогенный» тип английского языка. В качестве исходной последовательности принимается множество английских текстов, фактических или потенциальных, которые можно рассматривать как «группы». Для целей описания фонемической структуры оказываются возможным исходить не только из целой последовательности, но также из ее части или даже части группы, если эта группа достаточно велика по объему. Такой выбранной последовательностью является *EPD*. Анализ протекает по схеме, описанной выше.

В конечном итоге автор выводит таблицу английских фонем, значительно упорядоченную по сравнению с фонемической таблицей (см. стр. 135).

В первой колонке — знаки ударения: $\grave{y} = [d\grave{y}]$, $\grave{a} = [a\grave{u}]$, $/ : /$ и $/ ' /$ — особые фонемы для обозначения стыковой и позиционной вариации, $+ = [ə]$, $\iota = [e:]$.

В заключение автор суммирует основные положения своей концепции: 1) фонема есть лингвистический звук, 2) фонема есть объективная реальность, 3) фонема не является конструктором, 4) фонемы могут быть определены только формально, 5) в связи с фонемами не возникает никакой специальной онтологической проблемы, 6) фонемическое описание предполагает фонетическое описание, 7) фонемика прямо не относится к языку; она относится к описанию

⁵ Видимо, вряд ли можно говорить о простоте и экономии вообще; принцип экономии имеет смысл лишь тогда, когда определены цели описания в целом и на данном этапе (ср. Н. S p a n g - H a n s s e n, On the simplicity of description, TCLC, V, 1949, стр. 62).

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|--|---|---|---|-------|---|----------------------|
| č ɔ ĝ j v z ʒ | | | | a | z | | | | |
| b d g | | l | | | e | : | ð g ʒ | | |
| h ʃ 0 | | r | | | | | i | + | l b č d ĝ ʃ 0 v z |
| f p t k | | w | | o | , | n | | | m s |
| s | | m n | | | | | u | y | h |
| | | | | ü | | | | | |

языка, 8) фонема — член экономно упорядоченного множества фигур, которые взаимоотношают друг друга их местами в системе. Вся фонемная система определяется посредством соглашения о взаимной субститутивности с другой системой фигур (называемых фонемами), которая менее экономна. Субстанциональная интерпретация этого определения, как и всякого формального определения, свободна.

*

Описанная процедура структурной фонематики представляет значительный интерес как для фонолога, так и для лингвиста любой специальности. Попытка дать описание определенного яруса языка исключительно в терминах отношений и дистрибуции привела автора к созданию достаточно экономной дескриптивной модели. Эта модель не является безукоризненной; целый ряд упреков может быть предъявлен к различным положениям и правилам, принимаемым в описании, однако в общем метод Нордьема кажется вполне применимым.

Вся теория значительно выигрывает от того, что автор оговаривает те серьезные внутренние противоречия, которые могли бы дискредитировать в глазах некоторых его метод, и поэтому нам нет необходимости останавливаться на них. Это касается, например, выбора материала, составления списков, некоторых несоответствий в принципах структурализации и т. д. Исключением автором из рассмотрения фактов, которые он считает мало характерными для языка, не лишено, конечно, известной доли субъективизма и произвольности. Такое исключение не дает, по-видимому, возможности для полного последовательного описания, так как скрывает двух- и более составной характер фонологических моделей⁶. С другой стороны, стремление дать чисто наддиалектную модель языка также может быть оправдано. Нельзя согласиться и с включением в фонематическую структуру просодических признаков (ударения), которые представляют собой не собственно последовательность, а ее тонический рельеф⁷.

⁶ См. Ch. Fries, K. Pike, Co-existent phonemic systems, «Language», XXV, 1, 1949.

⁷ См. R. Jakobson, C. G. Fant, M. Halle, Preliminaries to speech ana-

Заслуживает внимания также методика Нордьема в описании сочетаний фонем. Анализ сегментов последовательности по принципу ядерной структуры⁸ (ядро + сателлит = медиальный + маргинальный) может оказаться полезным в диахронических исследованиях, где нередко приходится использовать в качестве минимальной «таксемы» выражения не фонему, а фонемогруппу⁹, наделенную общими дифференциальными и дистрибутивными признаками.

Вместе с тем анализ фактического материала (английского языка), проведенный по методике Нордьема, не дал существенно новых результатов, и к той фонематической модели, которая получена автором и которая, между прочим, вовсе не идеальна в смысле простоты и экономности, можно, по-видимому, прийти и иным путем, пользуясь менее сложной и более обычной процедурой описания.

Современная фонология оказалась в таком положении, что остро встала необходимость дать логико-лингвистическую экспликацию основных понятий. Если оценивать книгу Нордьема с этой точки зрения, то надо сказать, что автор не сделал попытки в этом направлении. Правда, он элиминировал традиционное понятие фонемы, заменив его чисто операциональным, в результате чего «фонема» сама по себе стала у него эвристической и прагматической фикцией¹⁰, за которой ничего реального, кроме звука, не стоит. Но из того, что «экспликация есть элиминация» (У. Куайн), вовсе не следует, что всякая элими-

lysis («Technical report», № 13 [of the Acoustics laboratory of the Mass. inst. of technology], May, 1952), 2-nd print., [Cambridge], 1955.

⁸ См. R. S. Pittman, Nuclear structures in linguistics, «Language», XXIV, 3, 1948.

⁹ См. В. К. Журавлев, Формирование группового сингармонизма в праславянском языке, ВЯ, 1961, 4.

¹⁰ Между прочим, в последнее время такой подход к различным понятиям структурной лингвистики и, в частности, к понятию фонемы начинает привлекать все больше лингвистов и в известных случаях имеет даже преимущество по сравнению с «фономенологическим» трактованием фонемы.

нация есть экспликация. Намеренное отождествление Нордьема звука и фонемы, приращение фонеме чисто графического, символического значения представляется своего рода анахронизмом и ни в коей мере не способствует преодолению разрыва между экспериментальной и гипотетико-дедуктивной работой, между фонетикой и фонологией и не устраивает, а затупевывает внутреннюю противоречивость традиционного понимания фонемы.

Примером логической экспликации основных фонологических понятий могут служить работы С. К. Шаумяна. Характерно, что у Нордьема имплицитно содержится подтверждение возможности конструктивной интерпретации фонемы (см. его анализ варьирующихся медиальных), хотя сам он категорически заявляет, что фонема не конструкт. Однако из двух теорий фонемы — теории Нордьема и теории Шаумяна — более адекватной и логически безукоризненной выглядит как раз конструктивная (двухступенчатая) теория фонемы. Выводы Нордьема свидетельствуют о чрезмерном упрощении ситуации, фактически имеющейся в фонологическом ярусе языка. И тот факт, что фонема существует объективно, вовсе не противоречит признанию ее конструктом, как это следует из выводов Нордьема. Как раз сам автор противоречит себе: именно вследствие конструктивного характера фонемы она должна определяться формально (ср. выводы 3—4).

Не может не вызвать возражения также заявление автора о том, что дистрибутивный анализ является единственно эффективным ввиду того, что он формален. Как правильно подчеркнул Базель, яacobсоновский анализ по дифференциальным признакам не менее формален, чем дистрибутивный метод Харриса, и выбор того или иного метода обусловлен целями, которые ставит перед собой исследователь, а также характером изучаемых единиц (т. е. возможностью в связи с ними говорить о композиции и дистрибуции или же только о дистрибуции). Вообще надо помнить, что степень применимости и приемлемости той или иной фонологической модели зависит не только от структуры данного языка, но и от целей описания. Так, система, пригодная для анализа звуковой речи, может не годиться для синтеза¹¹.

При дистрибутивном анализе внутреннее сходство двух сопоставляемых элементов считается заданным, что облегчает проведение такого анализа и элиминирует проблему внутренней идентификации, которая до сих пор остается неизбежным итогом всякой фонологической дискуссии. Однако установление внешнего (дистрибутивного) сходства не снимает необходимости анализа композиции сложных дистрибутивов, хотя бы потому, что всякая генерализация в описании (в том числе и генерали-

зация на основе дистрибуционных данных) должна быть доступна верификации, так что должны быть такие критерии, которые позволили бы в конечном счете проверить и исходные допущения, в частности — допущение о заданном сходстве тех или иных групп элементов. Обратная проверка полученных результатов бывает необходима не только для испытания метода, но также для получения новых данных об объекте, которые иногда могут повлиять на интерпретацию первоначальных результатов. Такой обратной проверкой дистрибутивного метода в применении к фонологии может служить метод разложения на дифференциальные признаки (анализ по композиции), позволяющий установить систему фонологических оппозиций, «без чего построить фонематическую модель языка нельзя» (Реформатский). По-видимому, ни тот, ни другой из этих методов не обеспечивает вполне исчерпывающего описания фонологического объекта, и лингвисты должны пользоваться обоими.

В заключение отметим, что метод Нордьема представляется применимым не только к фонологическому ярусу языка. То понимание структуры, которое содержится в рецензируемой книге, весьма удобно в практическом описании языка. Ведь фактически все наши структуры и формулы отражают не реальные объекты, а лишь их возможные взаиморасположения и отношения. Поэтому мы можем как угодно совершенствовать наши структуры, добиваясь максимальной простоты и экономии. Мы можем, например, использовать дихотомический принцип при создании фонологических моделей, если это удобно, хотя реальный объект исследования далеко не всегда дихотомичен. Нордьем строит фонемическую структуру на основе графической последовательности (транскрипции), отвлекаясь от субстанции, так что данная последовательность является формальным содержанием структуры (11.5). При этом вся процедура сводится к построению иерархии структур с последовательным обобщением; одним из основных принципов такой структуры является принцип взаимной разветвляемости моделей (если выразить в терминах Ч. Хоккета). Структура у Нордьема определяется в математическом смысле: это есть частично упорядоченное множество, в котором для любых двух элементов x и y определены их отношения (т. е. либо $x \geq y$, либо $y \geq x$). В такой интерпретации структурализация может применяться и к анализу синтаксических последовательностей.

По-видимому, можно наметить ряд общих моментов в теории Нордьема и трансформационной грамматике Хомского. В частности, структура, получаемая в результате серии трансформаций, примененных к исходной последовательности, может быть представлена не только в виде таблицы, но и в виде дерева. И в том и в другом случае, однако, остается в силе принцип конфигурационности, т. е. возможность в любой момент перейти к исходной последовательности (либо к предыдущей структуре в иерархии структур). Окончательная структура

¹¹ Вяч. В. Иванов, О приемлемости фонологических моделей, сб. «Машинный перевод» («Труды Ин-та точной механики и вычислительной техники АН СССР», 2), М., 1961, стр. 398.

у Нордьема построена именно на этом принципе. Очевидно, метод, описанный автором во второй части книги, может оказаться более эффективным при анализе синтаксических типов, нежели в отношении фонологического яруса. Во всяком случае, попыт-

А. В. Исаченко. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словачким. Морфология, II.— Братислава. Изд-во Словацкой Академии наук, 1960. 577 стр.

Второй том труда проф. А. В. Исаченко, являясь, естественно, продолжением первого¹, представляет собой в то же время вполне самостоятельную работу, характеризующуюся единством и четкой очерченностью темы. Это книга о глаголе. Она отличается теоретической глубиной, смелой и острой постановкой ряда сложных вопросов, ясностью изложения и простотой языка. Семантический анализ глагольных категорий в труде А. В. Исаченко проникнут идеей асимметричности соотносительных грамматических форм и связанным с этой идеей принципом общего значения, охватывающего (как инвариант) значения частные (варианты). Выделение сильного (маркированного) и слабого (немаркированного) членов противопоставления в целом ряде случаев позволило автору хорошо объяснить те семантические отношения, которые при ином подходе остаются неясными. Однако в некоторых случаях материал, как нам кажется, не укладывается в рамки теории асимметричности коррелятивных форм. Тип привативной оппозиции нельзя считать всеобъемлющим. Необходимо учитывать и другие типы противопоставлений².

Большой удачей автора является последовательное и мастерское применение метода сопоставительного анализа. Это применение заключается не только в непосредственных ссылаках на факты словацкого и чешского языков, но и в «скрытом» двояком аспекте рассмотрения русского языкового материала: с точки зрения грамматической системы русского языка и с точки зрения системы словацкой. Многие из того нового, что увидел автор в русском глаголе, связано именно с таким методом анализа.

Работа начинается краткой общей характеристикой глагола как части речи и как системы форм (стр. 7—21). Раздел «Парадигматика глагола» (стр. 21—126) содержит подробно и тщательно разработанную в сопоставительном плане классификацию глагольных форм, которая базируется в основном на схеме С. О. Карцевского³. В разделе, посвященном морфо-

логическим категориям русского глагола, центральное место занимает развернутая характеристика вида, «совершенности» (способа) глагольного действия и залога (стр. 130—406). Из «предикативных глагольных категорий» (противопоставляемых виду и залогу как категориям «собственно глагольным») детально разработаны время (стр. 419—469) и падежность (стр. 470—517). Категория лица (стр. 407—418) освещена кратко. В заключительном разделе «Неличные глагольные формы» довольно подробно освещается проблематика деепричастий и причастий (стр. 518—569) и лишь очень немного сказано об инфинитиве (стр. 569—570), поскольку выражаемые им модальные оттенки отнесены к области синтаксиса.

В краткой рецензии целесообразно сосредоточить основное внимание лишь на некоторых вопросах из круга центральных проблем глагола. Речь идет прежде всего о виде и способе действия.

Вслед за Р. О. Якобсоном⁴ и многими другими учеными А. В. Исаченко рассматривает глагольный вид как противопоставление, содержащее сильный, маркированный член, который характеризуется определенным семантическим признаком, и слабый, немаркированный член, который этим признаком не обладает. Совершенный вид (с/в) представляет действие как целостное, сомкнутое событие—несовершенный (ис/в) лишен этого значения (стр. 130—136)⁵. Соглашаясь с такой общей характеристикой видового противопоставления, следует отметить, что до сих пор в научной литературе, в том числе и в рецензируемой книге, недостаточно выяснены специальные условия, в которых ис/в оказывается способным к имплицитному выражению семантики с/в.

Автор трактует вид как грамматическую категорию, справедливо под-

⁴ R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, сб. «Charisteria Gvilelmo Mathesio... oblata», Praga, 1932, стр. 74—84. Ср. высказывания А. М. Пешковского («Русский синтаксис в научном освещении», М., 1956, стр. 107—110) и А. А. Шахматова («Синтаксис русского языка», Л., 1941, стр. 472).

⁵ Ср. аналогичные по существу определения А. Достала (A. Dostál, Studie o vidovém systému v staroslověnině, Praha, 1954, стр. 15—18) и Ю. С. Маслова («Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление)», сб. «Вопросы грамматики болгарского литературного языка», М., 1959, стр. 309].

¹ См. А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология, I, Братислава, 1954.

² Ср. М. Dokulil, K otázce morfologických protikladů, SaS, XIX, 2, 1958; см. также мою статью «Система глагольных времен в современном русском языке», ВЯ, 1962, 3.

³ S. Karcevski, Système du verbe russe, Prague, 1927, стр. 43—74.

черкивая, что не следует смешивать грамматикализацию видовых значений с принципом парности глаголов разного вида: «Вся система русского глагола охватывается видовой корреляцией в том смысле, что нет глагола, стоящего вне видов. Но далеко не все глаголы представлены видовыми парами» (стр. 139). Следует согласиться с тем, что наличие многих непарных глаголов не может поставить под сомнение универсальность самой категории вида, никак не влияет на «степень обобщенности» этой категории (там же).

Работа А. В. Исаченко — это первый грамматический труд, — учебное пособие по русскому языку, где нашло отражение выдвинутое С. О. Карцевским и развитое Ю. С. Масловым⁶ принципиальное разграничение имперфективации как чисто грамматического процесса, протекающего внутри глагольной лексемы, и перфективации как процесса образования нового лексического значения. Оба члена глагольных пар типа *бросить/бросать*, *открыть/открывать* — грамматические формы одного глагола-лексема (стр. 175—176, 201, 298). Напротив, возникающие путем перфективации глаголы с/в не являются точным видовым соответствием простых глаголов нс/в, а образуют новые, самостоятельные глаголы-лексема (стр. 168—172, 297—298). Учение о «пустых» приставках требует радикального пересмотра (стр. 158). Простые глаголы нс/в типа *кричать*, *читать* представляют собой *imperfectiva tantum* (стр. 172—173). Подвергаются справедливой критике традиционные приемы установления видовых пар (стр. 159—163), дается критический анализ некоторых новейших работ по вопросу о приставках (стр. 163—167). Аргументация автора детальна и убедительна.

Давая в целом отрицательный ответ на вопрос о существовании «пустых» приставок, А. В. Исаченко допускает все же отдельные исключения (типа *делать* — *сделать*, словацк. *robiť* — *urobiť*, чеш. *dělat* — *udělat*) — случаи, в которых лексическое значение приставки «выветрилось». Справедливо подчеркивается, что это лишь частные, притом сравнительно редкие случаи, не типичные для видовой корреляции (стр. 175).

Было бы необходимо, как нам кажется, указать и на некоторые отклонения от основной тенденции к чисто грамматическому видообразованию в области имперфективации. Речь идет не только о редких примерах полного расхождения значений исторически исходного приставочного глагола с/в

⁶ См.: S. K a r c e v s k i, *Études sur le système verbal du russe contemporain*, «Slavia», I, 1922—1923, стр. 495, 508—509; е го же, *Système du verbe russe*, стр. 96, 107—108; Ю. С. М а с л о в, *указ. соч.*, стр. 172—181.

⁷ В статье А. В. Исаченко (А. В. I s a č e n k o, *Slovesný vid, slovesná akce a obecný charakter slovesného děje*, SaS, XXI, 1, 1960) существование в славянских языках «чисто видовых» приставок отрицается без всяких оговорок (стр. 12).

и производного глагола нс/в (ср. *заблудиться* и *заблудяться*), но прежде всего о довольно распространенном среди многозначных глаголов несовпадении части отмечаемых словарями лексических значений у с/в и нс/в. Так, *задаваться* в значении «быть высокомерным; чваниться, важничать»⁸ (простореч.) не находит соответствия в значении с/в *задасться*; у глагола *залиться/залиться* значение «отправиться, удалиться куда-либо» (перен., простореч.) представлено лишь в с/в⁹. Ср. также чеш. *ohnati se/ohněti se*: с/в и нс/в, совпадавая в одном значении («отмахнуться/отмахиваться»), расходятся в двух других¹⁰; *rozběhnouí se/rozběhí se* — значение «простирается» представлено лишь в нс/в; *procedítí/procezo-vati* — только в с/в отмечено значение «пролить (кровь, слезы)» и т. д.

В тех случаях, когда какое-то значение представлено лишь в с/в, мы имеем дело просто с отсутствием имперфективации в данном значении — с явлением, аналогичным видовой дефигурации глаголов с/в. Если же несоотнесенные значения обнаруживаются в нс/в, то речь идет о чисто лексическом процессе развития в производном глаголе таких дополнительных значений, которые в силу своей неопределенности не проникают в сферу с/в. Эти «побочные продукты» имперфективации не меняют ее сущности как грамматического в своей основе процесса¹¹, но все же требуют внесения известных оговорок в такие формулировки, как, например, следующая: «В лексическом отношении члены таких глагольных пар (имеются в виду пары типа *перелисать/перелисывать*, *открыть/открывать*. — А. Б.) абсолютно синонимич-

⁸ Здесь и далее формулировка значений дается по «Словарю современного русского литературного языка» АН СССР, IV, М.—Л., 1955.

⁹ Ср. Б. Н. Г о л о в и н, Соотносительность глагольных основ и вопрос о месте вида в формо- и словообразовании современного русского глагола, «Уч. зап. [Вологодск. гос. пед. ин-та]», XXII — филологический, 1958, стр. 299.

¹⁰ См. «Slovník spisovného jazyka českého», II, Praha, 1961, стр. 353, 357. Ср. также «Příruční slovník jazyka českého», III, vyd. 3, Praha, 1938—1940, стр. 965—966, 977 (здесь несколько иная разработка значений). Дальнейшие примеры основаны на данных этих же словарей, преимущественно последнего.

¹¹ Нельзя признать удачной попытку М. И. М о р о з о в о й («О видовой соотносительности глаголов в русском языке», «Уч. зап. [Вологодск. гос. пед. ин-та]», XXVI — языковедческий, 1961, стр. 6 и сл.) доказать, что между процессами перфективации и имперфективации не существует резкой принципиальной грани: при этом не учитывается, что господствующие при перфективации семантические различия, в частности различия в способе действия, и встречающиеся при имперфективации различия в части лексических значений многозначных глаголов — это совсем не одно и то же.

ны. Можно безоговорочно утверждать, что оба члена глагольной пары представляют собой грамматические формы одного глагола-лексемы» (стр. 176).

А. В. Исаченко считает неудачными попытки объяснить видовую соотносительность/несоотносительность глаголов их общим лексическим значением, хотя и признает, что между общим значением («характером действия») и видообразованием существует внутренняя связь (стр. 303—304). Отмеченные автором трудности, связанные с семантическим объяснением причин видовой дефективности/недефективности, не являясь, однако, непреодолимыми. Так, видовая дефективность синонимов глагола *умереть/умирать* (*skončat'sja*, *prostoret*, *prikažat' dolgo žit'j* и т. п.) может быть объяснена тем, что присутствующая им эмоциональная окрашенность, экспрессивность сосредоточивает внимание на факте в его целостности¹². Сопоставляя словацк. *napodobňovať'*/*napodobniť'* с русск. *подражать*, вряд ли можно безоговорочно утверждать, что это глаголы с одним и тем же значением (стр. 303); существовало уже то, что словацкий глагол в отличие от русского является переходным. Случаи несоответствия дефективности/недефективности глаголов «с одним и тем же значением» в родственных языках нередки. Ср., например: чеш. *přetvařovat' se* (только ис/в) и русск. *притвориться/притворяться*; чеш. *snímat' v* значении «*rořizovat' snímek fotografický, filmový, zvukový, televizní*» (с/в это значение не отмечено)¹³ и русск. *снять/снимать* и т. п. В таких случаях всегда возможны тонкие различия в значениях, существенные для предельного или непредельного восприятия действия. Следует учитывать также, что дефективность некоторых глаголов ис/в может быть вызвана не абсолютной их неопредельностью (неспособностью к предельному осмыслению), а как бы склонностью к подчеркнутому изображению действия как ненаправленного на внутренний предел.

О глаголах типа *нести*, *лечь*, *тащиться*, а также *носить*, *лазить*, *таскаться* говорится, что они «имеют бесспорно „курсивное“ значение, но не образуют чисто видовых форм совершенного вида» (стр. 303). По-видимому, в данном случае выдвигаемое А. В. Исаченко понятие курсивности (значение «протекания процесса по временной оси») отличается от понятия «линейности» Ю. С. Маслова. Во всяком случае, трактовка с точки зрения предельности/непредельности будет иной. Упомянутые неопределенные глаголы движения явно непре-

дельны. Что же касается определенных глаголов, то они могут выступать то в неопредельном, то в предельном значении¹⁵. С этим вполне согласуется характеристика таких глаголов как относительных имперфектива *tantum*¹⁶. Тот же подход правомерен и по отношению к другим глаголам, приведенным А. В. Исаченко (*боронить*, *давить*, *делать* и др.).

В объяснении дефективности/недефективности глаголов их «некурсивным/курсивным характером действия» А. В. Исаченко усматривает логическую ошибку: единственным объективным признаком «некурсивности» является именно видовая несоотносительность глаголов *imperfectiva tantum* (стр. 303)¹⁷. На наш взгляд, ошибки здесь нет: понятие «курсивности/некурсивности» (соответственно предельности/непредельности) устанавливается в плане содержания, а недефективность/дефективность глагола является проявлением (следствием) этого семантического различия в плане выражения.

Конечно, нельзя считать, что зависимость видообразования глагола от его семантики вполне изучена и окончательно установлена в применении к широкому языковому материалу. Многие еще остаются неясным, в частности — причины видовой дефективности ряда глаголов с/в при недефективности других глаголов, относящихся к той же лексической группе (ср., например: *забегаться*, *забеседоваться*, *заездиться*, *ждать* и т. п. и *завертаться/завериться*). Требуется дальнейшего изучения также вопрос о соотношении семантических и формальных причин видовой дефективности.

Обращает на себя внимание своеобразная трактовка приемов имперфективации. Не соглашаясь с традиционным выделением суффиксов ис/в *-ыва-* (*-ива-*), *-ва-* и *-я-*, А. В. Исаченко выносит элемент *-а* (*-я*), так сказать, за скобки как «классовый показатель». Получаются суффиксы *-ыв/-ив-* и *-в-*, а также *-ев-*. Случаи типа *обучить/обучать* рассматриваются как бесуффиксная имперфективация путем перевода в I продуктивный класс (стр. 177 и сл.). Хотя в чисто словообразовательном плане выделение «классового показателя» вполне закономерно, с точки зрения анализа видообразования более предпочтительным представляется традиционное решение, поскольку оно проще. Удачно разработаны разделы о двувидовых глаголах (стр. 143—148)¹⁸ и о сущлгивных видовых парах (стр. 202—209).

Особенно много нового содержит большой раздел, посвященный проблематике способов глагольного действия (стр. 209—344). В том, что обычно называют способами действия (*Aktionsarten*), А. В. Исаченко различает «совершенство» и «характер

¹² См.: Ю. С. Маслов, указ. соч., стр. 201—202; его же, По вопросу за видовата дефективност... в Български и в руски език, «Български език», VIII, 6, 1958, стр. 509.

¹³ «Přiruční slovník...», V, стр. 122, 466—467.

¹⁴ Ср. I. Poldauf, Podíl mluvnické a nauky o slovníku na problematické slovesného vidu, «Studie a práce lingvistické», I. Praha, 1954, стр. 220 и сл.

¹⁵ Ср. Ю. С. Маслов, Глагольный вид..., стр. 190, 198.

¹⁶ См. там же, стр. 200.

¹⁷ Ср. также А. В. Исаченко, Slovesný vid..., стр. 14—15.

¹⁸ Ср. И. П. Мучник, Двувидовые глаголы в русском языке, сб. «Вопросы культуры речи», III, М., 1961.

глагольного действия) [чешские термины — «slovesná akce» и «charakter děje»¹⁹]. Совершенность — это такая общая особенность лексического значения глаголов, которая является семантической модификацией исходного простого или приставочного глагола, например: *кричать* — *закричать* (начинательная совершенность), *покрывать* (ограничительная), *покрывать* (прерывисто-смягчительная), *крикнуть* (однократная); ср. также *выталкивать* (дистрибутивная совершенность — модификация приставочного глагола *выталкивать*). Обязательными признаками совершенности, по мнению автора, является: 1) отсутствие соотносительных парных глаголов другого вида и 2) выражение определенной общей особенности лексического значения внешними (формальными) средствами — приставками или суффиксами (стр. 246 и сл.). Характер действия — это те общие значения глаголов, которые не выражаются приставками или суффиксами; ср., например, *статальные* глаголы (*видеть*, *гореть*, *молчать*, *страдать*, *любить* и т. п.), «реалиционные» (*стоять*, *иметь*, *знать*, *относиться* и т. п.), глаголы со значением существования или пребывания (типа *быть*, *существовать*, *отсутствовать*, *находиться*) и т. д. (стр. 246, 301—304). Сюда же относится семантическое различие глаголов движения типа *идти* — *ходить* (стр. 309 и сл.).

Сама по себе мысль о необходимости какого-то членения внутри способов действия, безусловно, правильна: те явления, которые объединяются термином *Aktionsarten*, явно неоднородны. Однако то решение вопроса, которое предлагает А. В. Исаченко, вызывает ряд возражений. Рассмотрим выдвинутые автором признаки «совершенности», прежде всего — признак непарности, видовой несоотнесенности.

А. В. Исаченко рассматривает несоотнесенность как признак совершенности «по дефиниции», неоднократно ссылаясь на него как на нечто исходное (ср., например, стр. 241—242). Однако в действительности исходным является семантический признак отнесенности данного глагола к определенному типу протекания действия. Вне этого принципа было бы невозможно само выделение «совершенностей». Между тем признак видовой несоотнесенности нередко вступает в противоречие с этим семантическим принципом.

В целом ряде случаев — и это отмечает сам автор — одной и той же особенностью лексического значения характеризуются и несоотнесенные и соотносительные глаголы. Например: *разлентиться* (эволютивная совершенность) — *разболеться/разбаловаться*; *приунуть* (смягчительная совершенность) — *приостановить/приостанавливать*, *притворить/притворять*, *приудержать/приудерживать*, *проболеть* (пердуративный оттенок результивной совершенности) — *просидеть/просиживать*; *изранить* (тотально-объективный оттенок) — *искалечить/искалечивать*; *нагуляться* (са-

туративный оттенок) — *наиграться/наигрывать* (Ушаков); *наколоть* (дров на зиму; партиивно-кумулятивный оттенок) — *нарубить/нарубать*; *переговариваться* (взаимная совершенность) — *перемигиваться/перемигнуться*.

Положение соотносительных глаголов, совпадающих по типу их лексического значения с «совершенностями», остается в концепции А. В. Исаченко неясным. С одной стороны, такие глаголы как будто относятся к области «характера действия» (см. стр. 301). Однако автор подчеркивает, что под термином «характер действия» он понимает «самые общие семантические свойства простых (бесприставочно-бессуффиксных) глаголов» (там же). Эта формулировка сразу же выводит глаголы типа *просидеть/просиживать* из сферы «характера действия». За пределами совершенности и характера действия оказываются вообще все «курсивные» соотносительные глаголы (*переписать/переписывать* и т. п.), составляющие основное ядро грамматической категории вида. Может быть, глаголы типа *просидеть/просиживать* характеризуются своего рода «нев्यраженной совершенностью» (ср. замечание автора, что он не считает *просидеть* «глаголом с выраженной совершенностью» — стр. 249)? Но понятие «нев्यраженной совершенности» противоречило бы основным положениям концепции А. В. Исаченко²⁰.

При ограничении совершенности признаком видовой несоотнесенности это понятие по существу становится очень близким к традиционным «подвидам», к рубрикам в рамках каждого вида. Преимущество современной теории способов действия по сравнению с теорией «подвидов» заключается не только в строгом разграничении грамматической категории вида и лексических типов протекания действия, но и в установлении того факта, что целый ряд способов действия представлен в обоих видах²¹. Есть ли смысл отказываться от этого преимущества?

Совершенности, по мысли автора, свойственна соотнесенность, связь с исходным глаголом. Формы типа *заговорить* или *поговорить* даже «не являются вполне самостоятельными глаголами: не имея приставочных форм вторичного несовершенного вида, эти глаголы остаются соотнесенными с бесприставочными глаголами несовершенного вида: *заговорить* — *говорить*, *поговорить* — *говорить*» (стр. 224). Глаголы типа *просидеть* (целый день и т. п.) потому и не представляют собой совершенности, что, образуя новые видовые пары (*просидеть/просиживать*), они, по мнению автора, «отрываются от простого глагола» (стр. 244), составляют «новый глагол-лек-

²⁰ Отметим попутно случаи проявления непоследовательности и в изложении конкретного материала: приставка *под-* представляет одну из рубрик «смягчительной совершенности» (рядом с *по-* и *при-*), хотя в качестве примеров приведены лишь соотносительные глаголы (стр. 240).

²¹ См. Ю. С. Маслов, Глагольный вид..., стр. 191—193.

¹⁹ A. V. I s a č e n k o, *Slovesný vid...*, стр. 43 и сл.

сему» (стр. 219). На это можно возразить: разве *просидеть* разрывает связь между *просидеть* и *сидеть*? Соотнесенность с исходным бесприставочным глаголом и в этом случае сохраняется: *просидеть*/*просидеть* соотнесено с *сидеть* и может рассматриваться как семантическая модификация этого исходного глагола. Что же касается образования «нового глагола-лексема», то ведь и *проходить* (целый день) нельзя признать формой глагола *ходить*; следовательно, это тоже новый глагол-лексема. Введение понятия «не вполне самостоятельного глагола» не кажется оправданным, так как отсутствие приставочной формы вторичного ис/в и соотнесенность (понятно, не в смысле видовой соотнесенности) с бесприставочным несовершенным глаголом не означает потери самостоятельности, утраты лексической «полноценности».

Остановимся на втором признаке «совершенности» — обязательном наличии формальных средств ее выражения. Сама по себе идея дифференциации тех способов действия, которые характеризуются известным формальным показателем, и тех, которые его не имеют, правомерна. Однако такое членение в том виде, как оно представлено в рецензируемой работе, наталкивается на ряд трудностей, которые пока не преодолены. Значительное затруднение представляют случаи, в которых одним и тем же способом действия характеризуются и глаголы, обладающие известным формальным признаком, и глаголы, не обладающие им. Ср., например, глаголы типа *бросить*, словацк. *hodit'* «бросить», *sotit'* «толкнуть», *chytit'* «схватить», которые по своей семантике относятся к разряду однократных глаголов (ср. *колынуть*, *махнуть* и т. д.), но не имеют соответствующего формального показателя. А. В. Исаченко исключает такие глаголы из состава собственно однократных, называя их «немаркированными однократными» (стр. 272). При этом, однако, остается неясным, идет ли здесь речь об «однократном характере действия» или «немаркированной однократности» — это какое-то особое явление, не относящееся ни к «совершенности», ни к «характеру действия». В обоих случаях, как нам кажется, возникает опасность искусственного расщепления семантически единой группы глаголов. Исключение из «совершенности» глаголов, не обладающих определенным словообразовательным признаком, трудно совместить с семантическим принципом общности типа протекания действия во времени.

Есть трудности и иного порядка. Нередко сами формальные признаки совершенности оказываются весьма условными и зыбкими. Многие из них при широком развией многозначности и омонимии суффиксов и приставок не являются такими признаками, исключительно по которым можно было бы распознать и выделить данную совершенность²². Все равно решающим фактором остается семантика. Так, в группе глаголов типа *сострить*, *селушить*,

струсить, *свеликодущничать*, *созорничать*, *сплутовать*, *сработать*, рассматриваемых как одна из разновидностей однократной совершенности (стр. 266—270), приставка *с-/со-* не является таким «сигналом», который мог бы отделить данную совершенность от результативной (ср. приведенные автором примеры глаголов с преобладающим результативным значением, не утративших вместе с тем оттенка однократности: *смастерить*, *сконструировать*, *скомпрометировать*). С другой стороны, трудно согласиться с ограничением внешних (формальных) средств лишь приставками или суффиксами. Так, вряд ли оправдано толкование многофазности как «характера действия» (стр. 252, 306). Формальная и семантическая соотнесенность глаголов типа *колоть*, *зевать*, *чихать* с однократными глаголами (*колынуть*, *зевнуть*, *чихнуть*), о которой очень хорошо говорит автор (стр. 253, 306—307), является даже более ярким показателем способа действия, чем, скажем, приставка *с-* как признак однократности. Точно так же и «морфологической взаимосоотнесенности» обоих членов противопоставления *идти* — *ходить*» (стр. 310), сопутствующая их семантической соотнесенности, вполне может быть истолкована как средство формального выражения различия в способе действия определенных и неопределенных глаголов движения. Когда решается вопрос об отнесении глаголов к тому или иному способу действия, важно учитывать также и синтаксические особенности употребления глаголов²³. Примечательна, например, способность упоминавшихся уже глаголов типа *бросить* выступать в оборотах типа *Вдруг как прыгнет!* (ср. *бросит!*) — изучение таких оборотов показывает, что в них употребляются лишь однократные и начинательные глаголы.

Развернутая полемика по поводу общей концепции способов действия не должна заслонить самого важного и существенного: глубины и основательности конкретного анализа совершенностей. В книге А. В. Исаченко дано детальное систематическое описание способов действия — такое, которого до сих пор в грамматических трудах общего характера по русскому языку не было. Особенно следует отметить разработку однократной, ограничительной, прерывисто-смягчительной, распределительной совершенностей и значений «однонаправленных» глаголов движения с приставкой *по-*. Вся глава, посвященная глаголам движения (стр. 309—344; А. В. Исаченко использует термин «глаголы перемещения»), представляет большой интерес. Особого внимания здесь заслуживает трактовка глаголов типа *идти* как сильного члена оппозиции по признаку однонаправленности. Убедителен анализ лексических значений каждого глагола движения в их отношении к корреляции однонаправленности/ненаправленности. Интересны аргументы в пользу тезиса о том, что глаголы типа *приносить* являются вторичными

²² Там же, стр. 186—188.

²³ Там же, стр. 186—187.

глаголами ис/в к совершенным глаголам типа *принести*²⁴.

Значительный интерес представляет раздел «Залоги глагола и смежные вопросы» (стр. 345—406). А. В. Исаченко подвергает справедливой критике стремление подвести под общее понятие залога разнородные грамматические и семантические отношения. За пределы залога выводится не только понятие переходности (лексико-синтаксическая категория), но и весь круг значений возвратных глаголов, объединяемых обычно понятием «средне-возвратного» (или «возвратно-среднего») залога. Эти значения рассматриваются не в грамматическом, а в лексическом плане; при этом учитываются расхождения между употреблением русских и словацких (чешских) возвратных местоимений. Описание семантических групп возвратных глаголов убедительно доказывает их неграмматический характер. Сопоставительный анализ категории возвратности позволяет наглядно показать специфику каждого из исследуемых языков; ср. в особенности так называемое «активно-безобъектное» значение, «представительное» значение (тип: *Я бреюсь у парикмахера*), значение «непроизвольного» действия (тип: *Он ударился коленом об стол*).

Категория залога трактуется как двучленная оппозиция, сильным членом которой является страдательный залог, выражающий направленность глагольного действия на субъект ($V \rightarrow S$), а слабым членом — действительный (нестрадательный) залог, не имеющий своего «положительного» значения (стр. 355—356). Трактовка залоговой оппозиции как привативной позволяет убедительно обосновать тот вывод, что категория залога охватывает все без исключения глаголы. Глагольные формы, не обладающие пассивным значением, являются активными. Это равным образом относится как к переходным глаголам, так и к непереходным, в том числе возвратным глаголам типа *удивляться*, *бояться* (ср. также *мальчик моется*, *собака кусается*, *он расстроился* и т. п.) и безличным глаголам типа *светает*, *вечерет*; все эти непереходные глаголы представляют собой «*activa tantum*» (стр. 356—357, 404). Формальными средствами выражения страдательного залога являются краткая форма страдательного причастия в сочетании с формой вспомогательного глагола *быть* (в том числе и «нулевой») и возвратный аффикс *-ся/-сь* (стр. 357 и сл.).

Можно не соглашаться с отдельными положениями этой концепции залога. Так, сам автор отмечает морфологическую неотчетливость пассива: «Для отнесения возвратного образования к возвратным глаголам или к возвратным формам решающим является его семантика» (стр. 375). Поэтому в принципе возможны и другие решения, идущие еще дальше в разграничении (и ограничении) залоговых отношений в

зависимости от различий в их формальном выражении²⁵, но любое решение неизбежно встретится с новыми трудностями. Можно было бы возражать и против толкования сочетаний типа *Дом построен (был, будет построен)* как аналитических форм пассивной парадигмы с/в (стр. 362—364)²⁶.

Однако во всех этих случаях речь идет о трудностях и противоречиях, обусловленных самой природой категории залога, не получившей в славянских языках четкого парадигматического выражения и поэтому не допускающей вполне однозначного определения (стр. 349)²⁷. Основной принцип залоговой концепции А. В. Исаченко — принцип бинарного противопоставления страдательного и действительного залогов²⁸ — представляется безусловно правильным. В конкретной части этого раздела особенно удачным кажется анализ стального и процессуального значений пассива (стр. 364—370), а также сопоставление словацкого (чешского) пассива с русским (стр. 370—374).

Из предикативных глагольных категорий мы коснемся (по необходимости очень белло) лишь категорий лица и наклонения²⁹. 3-е лицо рассматривается как немаркированный член противопоставления по отношению к 1-му и 2-му (стр. 408). Думается, что такая оппозиция, будучи основной, не исключает возможности двух других (1-го лица — 2-му и 3-му, 2-го — 1-му и 3-му) в рамках трехчленного противопоставления. Определение семантики 3-го лица может быть не только негативным, но и положительным³⁰. Действительность прин-

²⁵ Так, проф. К. А. Тимофеев, различая собственно морфологические формы (действительные и страдательные причастия), лексико-грамматические (словообразовательные) формы (возвратные глаголы), лексико-синтаксическую и синтаксическую конструкции (переходная конструкция, страдательная конструкция), полагает, что наименование залога (если считать залог морфологической категорией глагола) следует отнести только к действительным и страдательным формам причастия (доклад на IV конференции научно-методич. объединения кафедр русского языка и методики преподавания русск. языка пед. ин-тов северной зоны, состоявшейся в Ленинграде в январе 1962 г.).

²⁶ Ср.: А. Б. Шапиро, О залогах в современном русском языке, «Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та», V. Кафедра русск. языка, 1, 1941, стр. 60.

²⁷ Ср. И. Лекков, Общность и многообразие в грамматическом строю на славянских языках, София, 1958, стр. 58—59.

²⁸ Ср. В. Наврѓанек, Genera verbi v slovanských jazycích, I, Praha, 1928, стр. 14—15.

²⁹ Об оригинальной и интересной, хотя и во многом спорной концепции глагольного времени, предложенной в рецензируемой книге (ср. также А. Исаченко, La structure sémantique des temps en russe, BSLP, 55, I, 1960), см. в моей упомянутой выше статье (ВЯ, 1962, 3).

³⁰ Ср. В. В. Виноградов, Рус-

²⁴ Ср. А. В. Исаченко, Глаголы движения в русском языке, «Р. яз. в шк.», 1961, 4.

ципа привативной оппозиции по отношению к категории лица нельзя считать доказанной³¹.

Система наклонений строится на основании двух «грамматико-семантических координат», двух бинарных привативных оппозиций. Повелительное и сослагательное наклонения противопоставляются изъявительному по признаку выражения нереальности действия. С другой стороны, повелительное наклонение противопоставляется сослагательному и изъявительному по признаку ограниченности функции кругом 1-го и 2-го лица (стр. 472—474).

Не совсем ясно, почему А. В. Исаченко возражает против исследования возможных модальных оттенков временных форм в рамках семантического анализа индикатива (стр. 475); сам автор убедительно объясняет способность индикатива выражать модальные оттенки возможности/невозможности, а также модальности «призыва» положением этого наклонения как немаркированного члена обеих оппозиций (стр. 473—474). Конечно, указанные выше и многие другие модальные оттенки выражаются через посредство форм времени, обнаруживая зависимость от этих форм, однако одно и то же модальное значение (с возможным различием в оттенках) может быть выражено и разными временными формами. Модальные оттенки временных форм являются вместе с тем оттенками индикатива. Поэтому в принципе возможен анализ материала (под разным углом зрения) в обоих разделах (о временах и о на-

ский язык (Грамматическое учение о слове), М. — Л., 1947, стр. 453 и сл.

³¹ Ср. интересные замечания М. Докулила по поводу 3-го лица в чешском языке (указ. соч., стр. 97—98).

клонениях), что, кстати, фактически и осуществлено в книге А. В. Исаченко.

Основное внимание автор уделяет рассмотрению императива (стр. 476—507). Здесь примечательны следующие моменты: исключение из состава императивной парадигмы сочетаний с *пусть* или *пускай*, детальный и четкий анализ «императива совместного действия» и переносных употреблений повелительного наклонения. Некоторые сомнения вызывает трактовка «драматического императива» (*а он и накричи на меня*) как особого случая транспозиции повелительного наклонения. Думается, что с полной уверенностью о транспозиции можно говорить лишь тогда, когда употребление формы, несмотря на семантический сдвиг, сохраняет связь с ее общим или основным значением. Но можно ли утверждать, что ярко выраженная экспрессивность, модальная окраска оборотов рассматриваемого типа является отражением императивного значения? Скорее мы имеем здесь дело со случаями, стоящими на грани между транспозицией и омонимией.

Изложенные выше критические замечания касаются главным образом дискуссионных вопросов, не допускающих, как правило, однозначного решения. Споры в таких случаях неизбежны. Ценность этой книги как раз и определяется в первую очередь тем, что автор заострил внимание на наиболее сложных теоретических проблемах, часто выступая против прочно установившихся традиционных взглядов, смело выдвигая новые, пусть даже в ряде случаев спорные решения. Эта книга будит мысль, стимулирует и активизирует дальнейшее исследование славянского глагола.

А. В. Бондарко

М. Dokulil. Teorie odvozování slov. «Tvoření slov v češtině», I. — Praha, 1962. 264 стр.

Книга М. Докулила представляет собой теоретическое введение к фундаментальному синхронному описанию системы словообразования современного чешского языка, над которым в настоящее время работает коллектив сотрудников Института чешского языка Чехословацкой Академии наук¹. Задачей рецензируемой книги является разработка методологии функционально-структурного изучения явлений словообра-

зования с преимущественной ориентацией на словообразование современного чешского языка.

Внимание автора книги привлекают основные проблемы теории словообразования, в их числе такие вопросы, как методы изучения явлений словообразования, место словообразования в системе языка, ономонологические категории и их классификация, сущность словообразовательного анализа слова, продуктивность средств и типов словообразования и т. д. Предложенная М. Докулилом трактовка указанных вопросов отличается новизной и оригинальностью. М. Докулил творчески использует достижения целого ряда славистов (Г. Винокура, В. Виноградова, В. Дорошевского, И. Ковалика, К. Левковской, А. Смирницкого, М. Степановой, Н. Шанского, Я. Горецкого, В. Матезиуса, В. Шмиллауэра и др.).

¹ Автором рецензируемого исследования написан целый ряд интересных и теоретически важных статей по словообразованию. Основные из них: «K základním otázkám tvoření slov», сб. «O vědeckém poznání soudobých jazyků», Praha, 1958; «Některé typy názvů osob podle činnosti v českém jazyce (Činí telská jména tvořená příponami se základním -c-, -ž-.)», «Naše řeč», XXXIX, 3—4, 5—6, 1956; «Vliv ruštiny na ostatní spisovné jazyky slovanské v sovětské epoše», «Sovětská jazykověda», V, 3, 1955; «Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny». «Naše řeč», XXXV, 7—8, 1951.

Исходные методологические посылки изложены автором в первом разделе книги. М. Докулил присоединяется к концепции функционального словообразова-

ния, предложенной в свое время Г. Випокурком. «Исследование словообразования, — пишет М. Докулил, — ...имеет два аспекта: генетический, направленный на изучение словообразования в собственном, процессуальном смысле слова, на изучение словообразовательных процессов, и функционально-структурный, или, короче, функциональный, направленный на исследование результата этих процессов, на исследование оформленности слова... Полное проникновение в суть эволюции в области словообразования данного языка немислимо без исследования соотносительности обоих этих аспектов» (стр. 9).

Свойственный М. Докулилу интерес к исследованию мотивировок, раскрывающих словообразовательную структуру слова, особенно важен в связи с тем обстоятельством, что мотивированные слова, т. е. слова, обусловленные в структурном и семантическом отношении другими словами, составляют более двух третей лексики чешского языка. Из трех возможных видов мотивированности слова (звукоподражательной, семантической и словообразовательной) М. Докулил наибольшее внимание уделяет последней, раскрывающей, как форма и значение одного слова (производного) мотивируются формой и значением другого слова (производящего). Рассматривая различные мотивировки словообразовательной структуры слова, автор исследует вопросы о направленности мотивировок (особенно актуален этот вопрос при анализе случаев обратного словообразования), об их соотносительной значимости, определяемой факторами формальными и семантическими, фреквенционными и стилистическими. М. Докулил предлагает вниманию читателя некоторые критерии выявления мотивировок словообразовательной структуры.

Весьма интересным является выделение М. Докулилом параллельных одновременных мотивировок словообразовательной структуры слова. Так, слово *soudce* «судья» имеет следующие мотивировки: 1) глагол *soudit* «судить», 2) существительное *soud* «суд» в значении действия, 3) существительное *soud* «суд» в значении «учреждение, где совершается суд». Вид словообразовательной структуры зависит от влияния различных мотивировок, которые нередко вызывают перераспределение ее компонентов. Следует заметить, что в лингвистической литературе факт наличия лексики данного вида до сих пор не был исследован в достаточной мере.

М. Докулил относит словообразование к лексикологии. Однако деривативное словообразование, оперирующее средствами морфологии, целесообразно, по мнению М. Докулила, относить к лексической морфологии, или морфологии названия (в отличие от морфологии синтаксической, включающей формообразование). Вопрос о месте морфологии в системе языка автор решает следующим образом: «Если мы отождествляем грамматику с синтаксическим планом языка, тогда морфология как внутренняя синтагматика является одним из двух больших разделов грамматики — наряду с

синтаксисом как с синтагматикой внешней... в этом случае и словопроизводство, понимаемое как морфологическое образование слов, является частью грамматики. Если же область грамматики ограничить только изменением и сочетанием слов в предложении, тогда морфология названия будет находиться за пределами грамматики» (стр. 15—16). Принципиальное разграничение между планом словообразования и планом формообразования должно основываться на том, что, помимо морфологического словообразования, существуют и другие способы образования наименований и что словообразование является хотя и основной, но все же не единственной реализацией названия в языке.

В отдельной главе автор рассматривает языковые способы и средства, предназначенные для образования новых понятий. Наиболее эффективным способом обогащения словарного состава чешского языка является словообразование, точнее деривация (за пределы словообразования в собственном смысле слова вынесено заимствование, калькирование, семантическое образование, возникновение многословных наименований). В составе словообразования в соответствии с терминологией, предложенной В. В. Виноградовым, М. Докулил выделяет морфологические (деривация в широком смысле слова) и синтаксическо-морфологические (словосложение, субстантивация; адвербиализация) способы образования слов. В свою очередь деривация в широком смысле слова подразделяется на деривацию в узком смысле слова (аффиксальное словопроизводство — суффиксация, префиксация, суффиксально-префиксальный способ образования), обратное словопроизводство и конверсию.

Помимо обычных способов словообразования (деривация, композиция и их комбинация), М. Докулил выделяет также особые способы словообразования, в их числе механические сокращения слова типа *Naděžda* > *Nad'a*, *bratr* > *brácha*, *učitelka* > *ucha*; наращение (например, у прилагательных *douhý* > *douhotánský*, *malý* > *malilinký* и т. д.). Впрочем в последнем случае не все примеры, приводимые автором, представляются нам вполне убедительными; видимо, проведение отчетливой границы между наращением, с одной стороны, и суффиксацией, с другой, не всегда является возможным. Некоторые из приводимых в качестве иллюстраций эмоциональных образований от прилагательных в полной мере могут расцениваться как суффиксальные образования от нейтральных основ, в особенности образования типа *veliký* > *velikánský*. К числу особых способов образования относятся также и случаи искажения слова (например, *sakrament* > *safra*), аббревиатуры и т. д. Особо выделяет М. Докулил явление конденсации, заключающееся в стяжении, в концентрировании многословного наименования в однословное образование (сложное или суффиксальное, например: *malé město* > *maloměsto*, *zubní lékař* > *zubář*), справедливо ограничивая это явление теми случаями, когда, наряду

с деривативным образованием, в языке существует синонимическое сложное наименование; наиболее широко это явление встречается в разговорной речи.

Отдельную главу посвящает М. Докулила рассмотрению ономаσιологических категорий, являющихся базисом для образования словообразовательных категорий — основных структур понятий, образующих... основу для называния» (стр. 29). Структура этих категорий всегда двучленна: ее составляют базис (определенный понятийный класс) и признак (определяющий признак в рамках данного класса понятий). В то время как базис всегда прост (отличия восходят здесь к различной степени обобщения — например, субстанция, живое существо, человек), признак может быть простым и сложным. Простой ономаσιологический признак в рамках категории субстанции — это свойство (*černice* «печто чернос») или действие, воспринимаемое как свойство (*pracovník* «тот, кто работает»). Составной признак имеет двойную структуру: он представлен либо развитием простого признака действия, реже свойства, путем указания его целенаправленности (*děvorubec* «человек, рубящий дерево»), либо некоторым отношением к субстанции (*milicionář* «милиционер, член милиции»). Оба типа постепенно переходят друг в друга. С точки зрения называния важно, выражены ли в наименовании все компоненты составного признака или же какой-то из них подразумевается (например, в слове *roviďkář* «тот, кто пишет рассказы, любит их рассказывать» выражен лишь определяющий компонент признака). В данном случае ономаσιологическая структура проявляется как структура, обусловленная базисом и определяющим компонентом признака (ономаσιологический мотив), между которыми имеется более или менее изменчивый переходный член (ономаσιологическое связующее). Принимая во внимание указанные моменты, автор обстоятельно выделяет основные типы ономаσιологических категорий (преимущественно в рамках имени существительного).

Значительное место в книге занимает исследование проблемы словообразовательной системы и ее основных компонентов². Система словообразования, по М. Докулилу, представляет собой обобщение существующих в языке словообразовательных отношений, которые могут иметь характер индивидуальный (отношение производности между отдельными словами) и обобщенный (типы, классы слов, абстрагированные от лексико-семантических значений отдельных слов).

В составе словообразовательной системы выделяется целый ряд различных пропорций или соотношений (объединяемых по

общему корню, аффиксу, сходной парадигматической характеристике; ср. *list*: *lístek*: *lístkový*: *lístkovitý* = *květ*: *květek*: *květkový*: *květkovitý*; *lístěný*: *slaměný*, *hliněný*, *dřevěný*, *vlněný*), установление и/или изучение которых имеет большое значение для исследования организации словарного состава языка. Практически весь словарный состав за исключением небольшого числа слов, инертных в словообразовательном отношении (непроизводных и непроизводящих), можно разбить на подобные соответствия (с количеством членов от 2 до *n*).

Для понимания словообразовательной системы важным является понятие словообразовательного типа, включающее, по определению М. Докулила, следующие компоненты: А) единство ономаσιологической структуры образующихся слов; Б) единство лексико-грамматического характера словообразовательной основы; В) тождество форманта³. Наряду с трехмерным уровнем словообразовательного типа (АБВ) возможно выделение словообразовательных уровней с меньшим числом измерений: одномерные: А — уровень, заданный единством ономаσιологической структуры (объединяющей, например, названия носителя свойства, носителя действия); Б — уровень, заданный единством лексико-грамматического характера основы (например, отглагольные, отыменные слова); В — уровень, заданный единством форманта (например, уровень с формантом *-(e)s* и т. д.); возможны и двухмерные уровни, например уровень АБ — так называемая словообразовательная категория и пр.

Считая основным предметом изучения словообразования типологию мотивированной части словарного состава, М. Докулила не ставит непременным условием включения в систему словообразования функционирование словообразовательного типа как модели, по которой активно создаются новообразования. Подобное толкование термина «словообразовательный тип» представляется убедительным. По мнению автора, словообразовательный тип, являясь лишь одной из практически почти неограниченного числа комбинаций признаков, релевантных в словообразовательном отношении, занимает в языке центральное положение как самая общая словообразовательная категория, объединяющая основные словообразовательные измерения. Словообразовательный тип может быть конкретизован в подтипах, уточняющих семантический класс производных слов или семантический и словообразовательный характер производящих основ.

Для установления словообразовательной системы имеет значение и выявление словообразовательных категорий, стоящих над словообразовательными типами и отличающихся от них абстрагированием от вида форманта, а иногда также и от способа образования словообразовательной осно-

² Рассмотрение указанного вопроса в известной мере ведется в плане полемики с работами советского лингвиста И. Ковалика и словацкого языковеда Я. Горцакого. См.: I. I. К о в а л и к, Про деяні питання слов'янського словотвору, Київ, 1958; J. H o r c e k ý, Slovtvorná sústava slovenčiny, Bratislava, 1959.

³ Под формантом понимается совокупность дифференциальных признаков производящего и производного слов (аффиксы, фонетические модификации, формообразовательные признаки).

вы. Словообразовательная категория двухмерна (например, аффиксальные названия исполнителя действия, носителя качества и т. д.). Понятие словообразовательной категории подчинено понятию способа словообразования (деривация в широком смысле, деривация в узком смысле, обратная деривация и т. д.). Словообразовательная категория обрамляется двумя категориями: ономастологической и категорией части речи.

Автор перечисляет принятые в работе Института чешского языка критерии описания словообразовательной системы: 1) способ образования слов (деривация прямая и обратная, словосложение, приложение), 2) часть речи производного слова (существительные, прилагательные и т. д.), 3) ономастологическая структура слова (названия по деятельности — *nomen agentis* и пр.), 4) словообразовательный формант, 5) часть речи производящего слова (*denominativa*, *deverbativa* и пр.), 6) лексическая категория производного слова (названия живых существ, названия растений и т. д.).

В отдельной главе автор рассматривает способы и приемы морфологического образования слов. Подробно исследует М. Докулил базу словопроизводства (полное слово, производящая основа, словоформа). Присоединение словообразовательного аффикса к производящей основе образует основу нового слова, превращающуюся после грамматического оформления в самостоятельное слово.

К числу основных словообразовательных операций М. Докулил относит: образование производящей основы, присоединение или усечение основообразующего суффикса и префикса, морфологическое оформление производной основы. Второстепенными, сопровождаемыми словообразовательными операциями являются: отбор формообразующей основы, оформление производящей основы, фонетическое варьирование основы. Среди приемов, вызывающих изменение основы, автор различает собственно регулярные, расширяющие основу (прямые приемы: префиксация и суффиксация), и несобственные, нерегулярные, сокращающие основу (обратные приемы: депрефиксация, десуффиксация) или варьирующие ее.

Особое внимание уделяет М. Докулил рассмотрению конверсии, включающей, в понимании автора, довольно обширный круг явлений словообразования. Этот способ словообразования осуществляется при помощи изменения формообразовательной характеристики слова и сопровождается иногда варьированием основы, фонетически обусловленным или необусловленным. В столь широком понимании конверсия параллельна суффиксальному словообразованию и отличается от него лишь отсутствием словообразовательного суффикса. Как удалось показать автору, конверсия в чешском языке не всегда бывает связана с переходом из одной части речи в другую и может заключаться лишь в переходе из одной парадигмы в другую (*lovit' «ловить» > ov «лов», holub «голубь» > holubi «голу-*

*бинный», bílý «белый» > bílit «белить», zlý «злой» > zlo «зло» и пр., а также chol' муж. род «супруг» > chot' жен. род «супруга»). При конверсии на базе глагольной основы происходит не только замена набора окончаний, но и изменение формообразующего суффикса (*pracovat «работать» > práce «работа»).**

Большой интерес представляет раздел работы, посвященный рассмотрению проблем продуктивности средств и типов словообразования. Автор концентрирует свое внимание на следующем круге вопросов: определение понятия продуктивности, рассмотрение критериев установления продуктивности, выделение ступеней продуктивности словообразовательных средств. Наиболее обстоятельно М. Докулил останавливается на установлении продуктивности средств словообразования. В понимании автора продуктивность представляет собой способность активного участия в процессе создания новообразований.

Выявление продуктивности может осуществляться путем изучения как потенциальной приспособленности словообразовательного средства и типа к созданию новообразований, так и реализации этих потенциальных возможностей (при учете возникших в языке новообразований). Последняя возможность как более объективная предпочтительнее. Таким образом, по замыслу автора, установление продуктивности (являющейся по своей природе явлением синхронного плана языка; см. стр. 79) целесообразно вести через призму диахронии.

Принципиально важным следует признать предложенное М. Докулилом разграничение системной и эмпирической продуктивности. В противоположность системной продуктивности, определяемой без привлечения внеязыковых факторов, эмпирическая продуктивность устанавливается при комплексном учете факторов как внутриязыкового, так и внеязыкового порядка, прелевантных с точки зрения собственно языковых закономерностей. При установлении эмпирической продуктивности обычно учитывается действительная нагрузка словообразовательных средств и типов словообразования на данном этапе существования языка.

Разграничение системной и эмпирической продуктивности методологически и теоретически оправдано. Неоправданной представляется лишь некоторая недооценка эмпирической продуктивности, (тем более, что, как это признает и сам автор, выявление чисто системной продуктивности не всегда возможно). Без учета действия внешних, неязыковых факторов истинная картина активности средств словообразования в языке данного периода будет не совсем достоверной. Так, например, с точки зрения эмпирической продуктивности суффикс женского рода, оформляющий названия женщин-жен (*professorová, učitelová, akademiková* и т. д.), следует признать лишь частично, или выборочно, продуктивным, так как семантика данного суффикса является очень узкой (сам тип

значения, возникающего у слов с присоединением данного суффикса, является в настоящее время недостаточно актуальным — это, естественно, отражается на росте новообразований указанного типа). С точки зрения системной продуктивности суффикс *-ová* является продуктивным, а учет актуальности или неактуальности его семантического вклада является несущественным. Аналогичную картину наблюдаем мы и в следующем случае: словообразовательные суффиксы, или, точнее, флексии в роли суффиксов в ряду *kachna — kachně, drozd — droždě* и пр., образующие названия молодых животных, с точки зрения эмпирической продуктивности потенциально продуктивны — они полноценно использовались для образования слов определенного семантического профиля; однако в настоящее время эти словообразовательные средства практически не участвуют в процессе создания новообразований по причинам внеязыкового характера (сведения человека о животном мире настолько обширны, что дальнейшее пополнение и расширение их осуществляется довольно скупо). Практически резкой границы в оценке продуктивности системной и эмпирической нет — в одном случае учитываются акронические словообразовательные возможности, в другом — принимается во внимание конкретная реализация словообразовательной активности и, таким образом, общая оценка продуктивности лишь несколько корректируется.

М. Докулил правильно оценивает эволюцию словообразовательной категории названий видов денежной платы с суффиксом *-ně*. В настоящее время слова данного типа, в особенности обозначения разновидностей чаевых, например *spropitně* и т. д., являются неактуальными. В связи с этим рост новообразований данного типа оказывается приторможенным; в свою очередь косвенно приторможенной является и словообразовательная активность продуктивного с системной точки зрения суффикса *-ně*. Учитывая это, целесообразно было бы охарактеризовать данный суффикс как потенциально продуктивное словообразовательное средство. Следует заметить, что словообразовательная активность суффиксов *-ně, -ová* и суффиксов, образующих названия молодняка, в современном чешском языке зависит не только от внешних факторов; она в первую очередь определяется их семантической ограниченностью, резкой маркированностью их семантики, в то время как словообразовательная эволюция суффиксов, более разносторонних в семантическом отношении, менее подвержена влиянию, даже косвенному, со стороны внешних факторов. Так, суффикс женского рода *-ka* активно участвует в создании новообразований, его словообразовательная активность не ослабевает. Следовательно, даже влияние внешних факторов в какой-то мере является обусловленным действием внутриязыковых закономерностей.

М. Докулил выделяет в качестве главенствующих критериев продуктивности уча-

стие словообразовательной морфемы в создании новообразований и прежде всего в процессе конкуренции. Именно эти критерии и являются «условными, в которых проявляется степень продуктивности словообразовательного средства»⁴. Однако в силу того, что установление степени продуктивности является очень сложной задачей (всегда имеется опасность субъективизма), представляется целесообразным основывать вывод о продуктивности на комплексном рассмотрении целого ряда критериев: это было бы и хорошим средством контроля достоверности полученных данных.

Не вызывает в принципе возражения выделение автором ступеней продуктивности словообразовательных средств. М. Докулил противопоставляет живые и мертвые словообразовательные средства, внутри первых — продуктивные и непродуктивные средства. В свою очередь внутри продуктивных средств выделяются неограниченно и ограниченно продуктивные средства. Наконец, последние подразделяются на очень продуктивные, среднепродуктивные, малопродуктивные словообразовательные средства. Здесь нельзя согласиться лишь с выделением рубрики мертвых словообразовательных средств, обнаруживаемых путем не словообразовательного, а этимологического анализа. Это нарушает цельность классификации — подобные морфемы не являются уже на данном этапе существования чешского языка словообразовательными средствами, и выделение их является нарушением синхронного плана исследования.

М. Докулил уделяет большое внимание технике проведения анализа структуры слова и прежде всего технике словообразовательного анализа. В понимании М. Докулила словообразовательный анализ представляет собой один из видов морфологического анализа, который распадается на: а) морфологический анализ в узком смысле слова, при помощи которого в слове выделяется основа и словообразовательная характеристика; б) основообразовательный анализ — главный вид словообразовательного анализа у производных слов, выявляющий отношение производной и производящей основ, а затем и основы первоначальной и основообразовательного суффикса; в) морфематический анализ, членящий слово на морфемы; г) формообразовательный анализ, расчленяющий форму слова на формообразовательную основу и флексию или же формообразовательный суффикс и далее на первоначальную формообразовательную основу и грамматический формообразовательный суффикс. Словообразовательный анализ имеет свою собственную методологию и объект исследования, порядок следования операций при проведении анализа. Сущность словообразовательного анализа заключается в обнаружении

⁴ См. Г. П. Нещименко, Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке, «Уч. зап. Ин-та славяноведения [АН СССР]», XIX, 1960, стр. 160.

словообразовательной структуры слова. Словообразовательная структура слова базируется на определенной словообразовательной форме, представляющей собой отношение слова основного и слова производного или же отношение тех элементов слов производящего и производного, которыми они отличаются друг от друга.

Подробно рассматривает М. Докулид компоненты словообразовательной структуры слова — производящую словообразовательную основу и словообразовательный формант. Большое значение придает он исследованию грамматических показателей слова, функционирующих в качестве второстепенных (а в некоторых случаях и основных) словообразовательных компонентов. Уделяет автор внимание и такому немаловажному вопросу, как вариантность словообразовательной морфемы; критиче-

ски относится он к использованию термина «нулевой суффикс». Очень обстоятельно описывает М. Докулид виды формантов и их фонологические особенности.

Комплекс вопросов, связанных с изучением словообразовательной структуры слова, заключается разделом, посвященным рассмотрению фонетического варьирования основы при морфологическом словообразовании, в котором М. Докулид очень подробно исследует и классифицирует типы чередований, характерных для чешского словообразования. Подобный морфологический очерк следует признать весьма ценным. Исследование видного чешского лингвиста М. Докулида является глубокой и содержательной работой, вносящей несомненный вклад в теорию словообразования.

Г. П. Нецименко

A. D. Richard. Preface to critical reading, 4-th. ed. — New York, 1960. 326 стр.

Рецензируемая книга является одной из лучших зарубежных работ по вопросам стилистики. Автор дает в ней целый ряд интересных примеров тонкого критического анализа особенностей индивидуального использования языка различными политическими деятелями Америки, писателями, авторами объявлений и т. д. В книге можно найти также много самых разнообразных упражнений, цель которых помочь учащимся колледжей усвоить на практике предлагаемые автором приемы стилистического анализа текста. Главная ценность рецензируемой книги состоит в том, что в ней интересно ставится и по-новому решается целый ряд важнейших теоретических проблем стилистики.

В первой главе книги раскрывается содержание понятия эмоционально-экспрессивной окраски слов. По мнению автора, каждая с знаменательное слово в языке, кроме обозначения (лексического значения, соотносительного с понятием), может иметь эмоциональное значение (эмоционально-экспрессивную окраску). Каждое знаменательное слово, с точки зрения А. Д. Ричарда, может производить на человека определенное эмоциональное впечатление в силу именно того эмоционального значения, которое всегда сопровождает его лексическое значение. В качестве примера слов, способных вызывать образное представление о явлениях действительности, Ричард называет слова *Гитлер*, *угроза*, *могила*, *заговор*, *атлас*, *белоснежный* и многие другие. Служебные слова, по Ричарду, такими дополнительными эмоциональными значениями не обладают, потому что они не выражают понятий. Значений эмоционального характера не имеют и термины, так как они однозначны.

А. Д. Ричард различает два вида эмоциональных сознаний: общие и индивидуальные, и правильно подчеркивает, что первые из них существуют в языке постоянно, независимо от употребления в речи, а вторые возникают в речи и целиком зависят

от индивидуальных, субъективных условий употребления того или иного слова. Общими эмоциональными сознаниями, по мнению Ричарда, обладают такие слова, как *соловей*, *фиалка*, *патриот*, *национальная честь*, *свобода*, *демократия*, *бюрократ*, потому что они у большинства людей вызывают одинаковую положительную или отрицательную реакцию. Словам же *концентрационный лагерь*, *фашизм*, *атеист* и др., с точки зрения Ричарда, свойственны индивидуальные эмоциональные сознания, так как они по-разному воспринимаются в определенное время представителями разных общественных групп и мировоззрений. Для человека, прожившего много лет рядом с крайне неприятными соседями, слово *сосед* тоже будет иметь особую, индивидуальную эмоциональную окраску. Различая два вида эмоциональных окрасок, А. Д. Ричард в то же время признает их взаимосвязанность. Он признает тот факт, что в одном и том же слове могут одновременно присутствовать объективные и индивидуальные, субъективные эмоциональные моменты.

Стиль языка для А. Д. Ричарда — это эмоциональные сознания первого типа, постоянно существующие в каждом слове и определяющие своеобразие применения того или иного слова в живой конкретной речи. Стиль речи для него — это употребление слов, имеющих определенную эмоциональную окраску в живой конкретной речи. Стили языка и стили речи, по Ричарду, понятия разные, но в то же время тесно связанные друг с другом. Ошибки в употреблении эмоционально окрашенных слов Ричард объясняет тем, что при употреблении этих слов не учитывается их эмоциональная окраска, т. е. не учитывается связь и взаимообусловленность стилей речи и стилей языка.

По мнению автора, изложенному в первой главе, стилистика изучает стили языка. Определяя предмет стилистики таким образом, автор тем самым четко отграничи-

вает лингвистическую стилистику от нормативной лексикологии и грамматики, с одной стороны, и литературоведческой стилистики, с другой. Лексикология и грамматика, в отличие от стилистики, изучают значения слов и форм, а не их эмоциональные сознания¹. Литературоведческая стилистика изучает стили речи: функциональные стили и индивидуальные стили писателей. Лингвистическая стилистика значениями слов и форм, функциональными и индивидуальными стилями не занимается, несмотря на то, что они тесно связаны с нею.

Однако в этом вопросе автор книги, к сожалению, не всегда последователен. Различая два вида эмоциональных сознаний, А. Д. Ричард стилистическими в своей книге называет только индивидуальные, субъективные эмоциональные моменты. Общие эмоциональные сознания, постоянно существующие в языке, А. Д. Ричард к явлениям стилистики не относит. О том, что Ричард именно так понимает суть стилистических явлений, свидетельствует его высказывание о том, что индивидуальные, субъективные эмоциональные моменты с течением времени могут закрепиться в языке, могут стать объективными. В результате этого, говорит Ричард, они из стилистических превращаются в языковые.

Все это в свою очередь говорит о том, что А. Д. Ричард понимает стиль субъективистски, потому что стилистику он связывает только с речью, с индивидуальным использованием языка отдельными людьми. Во второй главе, озаглавленной «*«Diction»*», Ричард так прямо и говорит, что стиль — это человек, его индивидуальная манера писать и говорить и что стилей существует столько, сколько существует людей.

Кроме того, А. Д. Ричард понимает стиль крайне распылочно. Это подтверждается тем, что, определяя стиль как своеобразие речи отдельного человека, он в то же время признает, что язык по-разному используется в художественной литературе, в публицистике, в деловых документах. Принимает во внимание Ричард и то, что конкретное применение языка в речи во многом зависит и от того, какую эмоциональную окраску слова и формы имеют как объективные факты языка, т. е. учитывает и функциональные стили речи и стили языка. Таким образом, признавая принципиальную разницу между лингвистическим и литературоведческим подходом к явлениям стиля, правильно отграничивая в первой главе стиль языка от стиля речи, Ричард в последующих главах книги подменяет лингвистическое понятие стиля литературо-

ведческим и по существу совсем отказывается от понятия стиля языка.

Смещение индивидуального стиля речи и стиля языка ярко обнаруживается в том разделе второй главы, где он говорит об историзмах, архаизмах, диалектизмах, этнографизмах, типичных «дамских», юношеских и профессионально-просторечных выражениях, так как здесь он говорит не о стилистических функциях этих разрядов лексики в языке того или иного писателя, а только о том, что по их употреблению можно установить возраст, пол автора, когда и в какой стране было написано его произведение, и т. д. На наш взгляд, все это к явлениям индивидуального стиля отношения не имеет и является предметом изучения лингвистической, а не литературоведческой стилистики. Профессионализмы, просторечие, архаизмы и другие разряды лексики являются стилями языка, но не стилями речи, и в литературоведческой стилистике они рассматриваются только с точки зрения того, как и с какой целью они используются в языке данного писателя и чем использование их в языке этого писателя отличается от употребления их в общелитературном языке и в языке других, современных ему писателей.

Следующие главы книги А. Д. Ричарда интересны в том отношении, что в них автор рассматривает целый ряд таких вопросов, которым лингвистами у нас до сих пор уделялось мало внимания. В третьей главе он подробно анализирует различные ошибки логического характера: ошибки в построении силлогизмов, аналогий, гипотез, — т. е. говорит о таких явлениях, которые у нас обычно освещаются только в учебниках по логике, но которые между тем имеют самое прямое отношение к нашему умению правильно, логически последовательно излагать свои мысли.

В четвертой и пятой главах автор большое внимание уделяет вопросам интонационно-ритмического оформления речи (предложений, абзацев и всего произведения в целом). В этом разделе книги А. Д. Ричард высказывает мысль о том, что стилистика как наука просто не может существовать без проблемы ритма, и подчеркивает, что ритм стилистическим элементом является только тогда, когда он рассматривается как сочетание метрического ритма и ритма логического, смыслового. Предпочтение, выделение одного из них при чтении поэтического произведения приводит, по мнению Ричарда, к затуманиванию или даже искажению содержания стихотворения и уничтожает его эстетическую красоту.

Книга А. Д. Ричарда очень интересна и полезна, как нам кажется, не только для преподавателей практической стилистики, но и для тех, кто интересуется теоретическими вопросами стилистики, представляющей собою особый раздел науки о слове.

Г. Ф. Коновалова

¹ О явлениях грамматико-стилистического характера А. Д. Ричард в своей книге говорит, однако, только вскользь, по ходу дела, в силу неразработанности этих вопросов. В его книге нет специального раздела грамматической стилистики.

И. М. Кауфман. Терминологические словари. Библиография. — М., «Советская Россия», 1961. 419 стр.

Современное развитие науки и техники и интересы дальнейшей исследовательской работы вызывают необходимость составления большого количества словарей, справочников, указателей и других вспомогательных изданий. С течением времени все более настоятельной становится потребность и в обобщении, систематизации изданных справочных материалов с целью сделать их более доступными для пользования.

В настоящее время регистрация новых изданий, в том числе словарей, осуществляется путем периодических публикаций специальных библиографических бюллетеней крупнейшими библиотеками и научными учреждениями¹ или в виде ежегодных выпусков². Кроме того, как в прошлом, так и сейчас предпринимаются попытки создать сводные общие библиографии словарей³ и библиографии словарей отдельных типов⁴.

За последние годы И. М. Кауфманом подготовлена целая серия библиографических указателей словарей. Еще в 1937 г. вышла его книга «Русские словари и энциклопедии», охватывающая основные языковые словари и энциклопедии на русском языке; в 1950 и 1955 гг. — аннотированный указатель библиографических и библиографических словарей⁵. Тематику первой

книги продолжает работа И. М. Кауфмана «Русские энциклопедии» (М., 1960) — комментированный перечень крупнейших дореволюционных и советских общих (неотраслевых) энциклопедий.

Наибольшая нужда ощущается в систематизации специальных, терминологических словарей и справочников. Многочисленность и разнообразие этих изданий затрудняет библиографическую обработку их. Именно терминологические словари опускаются или представлены крайне неполно в ряде крупных библиографических трудов⁶. Регистрация специальных словарей является предметом международных изданий⁷. Поэтому особый интерес вызывает появление в 1961 г. новой книги И. М. Кауфмана, содержащей библиографию терминологических словарей. По существу это первый опыт создания единого свода имеющихся специальных словарей на русском языке. В книге представлено свыше 1700 названий словарей и справочников, вышедших отдельно и в мультиязычных, по различным отраслям знаний — естествознанию, технике, транспорту, сельскому хозяйству, лесному хозяйству, медицине, истории, экономике, государству и праву, военному делу, искусству, языкознанию и литературоведению, физкультуре и спорту и т. д.

Терминологические словари в книге распределены тематически. Основные подразделения соответствуют главным отраслям знаний, например: «Естествознание», «Техника», «Транспорт», «Лесное хозяйство» и др. В начале раздела обычно указываются общие словари, охватывающие всю терминологию данной отрасли знаний, затем перечисляются собственно терминологические словари по более узким рубрикам. Например, раздел «Лесное хозяйство» распадается на рубрики, соответствующие лесоводству, древесноведению, лесотехнике, лесосплаву и т. д.; раздел «Искусство» включает в себя словари по изобразительному искусству, архитектуре, музыке, театру, танцам. Наряду с одноязычными в пределах отдельных рубрик приводятся и двуязычные терминологические словари (сначала перечисляются одноязычные, затем двуязычные словари).

Книга охватывает словари, вышедшие с начала XVIII в. до настоящего времени. В книгу включены издания на русском языке; из зарубежных работ берутся лишь те, в которых представлена русская терминология; словари и справочники на языках

¹ В нашей стране лексикографическая литература представлена, например, в следующих изданиях: «Книжная летопись. Орган гос. библиографии СССР» (М., Всесоюз. книжн. палата. Издаётся с 1907 г., выходит еженедельно); «Новые книги. Еженедельный библиографич. бюллетень» (М., Всесоюз. книжн. палата. Издаётся с 1956 г.); «Сводный бюллетень новых иностранных книг, поступивших в крупнейшие библиотеки СССР. Серия обществ. наук» (М., ВГБИЛ); «Новая советская литература по языкознанию», «Новая иностранная литература по языкознанию» (М., ФБОН АН СССР) и др.

² См., например: «Bibliographie linguistique de l'année 1957 et complément des années précédentes», Paris, 1959; «Annual bibliography of English language and literature», XXXI (1953—1954), Cambridge, 1960; XXXII (1955—1956), 1961, и др.

³ См. известные работы: В. С. Соколов, Опыт Российской библиографии, СПб., 1904—1906; «Роспись Российским книгам из библиотеки А. Смирдина, систематическим порядком расположенная», СПб., 1828; «Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию», II — Лексикология и лексикография, М., 1954 (Ин-т языкознания АН СССР) и др.

⁴ W. Z a u n m ü l l e r, Bibliographisches Handbuch der Sprachwörterbücher, Stuttgart, 1958 (см. рецензии — В. И. Фомин и ц е в, ВЯ, 1961, 1; В. В. Веселитский, ИАН ОЛЯ, 1962, 4).

⁵ И. М. Кауфман. Русские биб-

лиграфические и библиографические словари. Аннотированный указатель, М., 1950 (перераб. и расшир. изд. — М., 1955).

⁶ См. сноски 3 и 4.

⁷ См. «Bibliography of interlingual scientific and technical dictionaries», 4-th ed. rev. and enl., Paris, 1961 (издается с 1951 г.).

народов СССР составят, как указывает автор, предмет отдельной работы. Автор ставил своей целью не только дать перечень вышедших за последние два с половиной столетия русских специальных словарей, но и представить по возможности историю работы над терминологическими словарями в нашей стране. Поэтому материал книги в разделах и рубриках расположен не в обычном алфавитном, а в хронологическом порядке. Поскольку книга снабжена «Алфавитным указателем авторов и заглавий» (стр. 383—413) и «Алфавитно-предметным указателем» (стр. 414—416), хронологический принцип расположения материала не мешает быстро находить требуемую работу; вместе с тем у читателя создается представление об исторической перспективе в разработке терминологии в каждой отрасли знаний.

Издания, указанные в книге, снабжены аннотациями, в которых дается краткая характеристика словаря или справочника (особенности построения, объем материала, сведения об авторах, рецензии и отзывы и т. д.). В «Предисловии» (стр. 3—14) приводится исторический очерк создания терминологических словарей по отдельным отраслям знаний, намечаются некоторые закономерности в истории словарной терминологической работы. Так, автор приходит к выводу, что основной тенденцией является постепенная специализация терминологических словарей и справочников — от общетехнических к более частным, отраслевым.

Помимо собственно терминологических словарей, отдельную часть книги занимают некоторые так называемые общие, или «языковые» (или «филологические»), словари, которые также служат источником терминологии. Эта часть книги (стр. 17—28) наряду с разделом «Языкознание. Литературоведение» представляет непосредственный интерес для лингвиста и филолога. Вместе с тем раздел книги, посвященный общим словарям, вызывает и наибольшие критические замечания.

Приведенный материал, к сожалению, не дает ясного представления о критериях отбора материала. Создается впечатление, что для включения в книгу приняты словари по их общей значимости в истории русской лексикографии, а не с точки зрения важности в отображении терминологии своего времени. В книгу включен, например, «Новый словоупотребитель» Н. Яновского (1803—1806), по нет весьма важных в качестве источников терминологии первой половины XIX в. изданий — словаря 1837 г. (Ре-ф-ц, Карманная книжка для любителей чтения..., СПб., 1837) и известного словаря Н. Кириллова («Карманный

словарь иностранных слов», изд. Н. Кирилловым, СПб., 1845—1846). Вероятно, следовало бы упомянуть и другие крупнейшие словари иностранных слов XIX в., например, словарь А. Д. Михельсона [А. Д. Михельсон, 30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с объяснением их корней, М., 1866 (в дальнейшем неоднократно переиздавался)]. Некоторые словари, важные как источники сведений по терминологии XIX в., не вошли в книгу, видимо, лишь на том основании, что включены в вышедший ранее труд автора («Русские энциклопедии»). Между тем такие издания, как «Энциклопедический лексикон» А. Плюшара (тт. 1—17, СПб., 1835—1841) и «Настольный словарь для справок по всем отраслям знаний» Ф. Толяя (СПб., 1863—1864), было бы полезно указать и в данной работе, обобщающей материал лексикографических работ по терминологии. Думается, что при переиздании книги следовало бы влить в нее и материал по энциклопедиям, поскольку для читателя отграничение (общих) энциклопедий от отраслевых терминологических словарей кажется не всегда мотивированным.

Вполне понятно, что книга, впервые обобщающая наличный фонд русских терминологических словарей, потребовавшая колоссального труда по сборанию и обследованию материала, не может не страдать отдельными недочетами. На это указывает и сам автор. Например, возможны разные мнения по поводу распределения материала по рубрикам и по составу самих рубрик. В целом же книга обладает достаточной полнотой. Лингвист найдет в ней много полезного как по отдельным общим и специальным словарям, так и по истории развития терминологической лексикографической работы в нашей стране.

Книга И. М. Кауфмана посвящена одному из видов словарей, изданных за определенное время на одном языке. Опыт показывает, что при современном состоянии библиографической науки, учитывая нужды практики, целесообразно применять именно такую форму систематизации и обобщения справочных лексикографических изданий. Стремление охватить всю совокупность имеющихся словарей разных типов на всех языках, при отсутствии необходимой предварительной работы по отдельным языкам или группам языков, неизбежно приводит к значительным пропускам и затруднениям в расположении материала⁸.

В. В. Веселитский

⁸ Ср. W. Z a u n m ü l l e r, указ. соч.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБ ОДНОМ АРМЯНО-КЫПЧАКСКОМ ГРАММАТИЧЕСКОМ ПОСОБИИ XVI в.

Среди сохранившихся армяно-кыпчакских оригинальных и переводных текстов, выполненных армянским письмом, особое место занимают различные по объему двуязычные армяно-кыпчакские словари, составленные для облегчения переводческого труда¹, и грамматические пособия, одно из которых описывается ниже.

В рукописи, хранящейся в армянском фонде Матенадарана в Ереване под № 2267², наряду с разнохарактерными армянскими материалами собраны восемь армяно-кыпчакских текстов следующего содержания: грамматика — лл. 29а—42б; «История армянского и армяно-кыпчакского языков в толковании Лусика» [словарь трудно понимаемых слов и выражений псалтыря] — лл. 43а—52б; история рождения Христа — л. 112аб; предисловия к евангелиям — л. 113аб; песнь о втором пришествии Христа — л. 129а; лекарство долголетия — л. 130а; «Рассуждения вардапета Ванакана» — л. 131а; «О воскресении Христа» [песнь] — л. 131б.

Рукопись эта, как свидетельствует памятная запись писца, написана в 1581 г. Лусиком Саркавагом, имя которого упоминается также на л. 112б («помяни Лусика»). Данные относительно места написания рукописи не сохранилось, однако, по всей вероятности, она была написана во Львове («Лов»): это подтверждается тем, что хранящийся в библиотеке мхитаристской конгрегации в Венеции за № 81 армяно-кыпчакский псалтырь также был скопирован Лусиком Саркавагом и также в городе Лове (Львове)³. Когда рукопись была заново

переплетена (на дату, по всей вероятности, указывает поставленная без каких-либо комментариев на л. 18а помета: 1047 г. армянского летоисчисления/1598 г.), к началу рукописи и ее концу присоединили несколько небольших армянских текстов, написанных другим почерком.

Интересующая нас «грамматика» написана в один столбец курсивным письмом по 28—34 строки на каждой странице. Заглавие текста не сохранилось из-за утери начальных листов; не хватает листов и в конце рукописи. Когда рукопись переилюстрировалась заново, края ее были срезаны, вследствие чего несколько пострадал текст «грамматики». Сохранившийся текст начинается с л. 30а рукописи словами *էք կաննուով — նէք ալըր մէն* и на л. 42б прерывается словами *մէջըս — պէրթ*. Продолжение текста во время переплета по ошибке попало вперед и теперь занимает л. 29аб, который начинается словами *մէջը — պէրնի* и кончается словами *նչիլ — պէրթ*. По поводу неправильного расположения этого листа на полях л. 42а сделана следующая пометка: «на правой стороне ищи это *մէջը — պէրնի*».

Несмотря на то, что заглавие текста не сохранилось и каких-либо указаний относительно автора нет, можно предположить, что автором настоящей грамматики является Лусик Саркаваг, поскольку в заглавии последующего текста в качестве «толкователя» и затем в разных местах текста дважды вполне определенно упоминается его имя.

Описываемое грамматическое пособие в значительной своей части представляет собой своеобразный реестр различных временных форм глаголов армяно-кыпчакского языка. В одной и той же неизменной последовательности даются по семь временных форм 184 глаголов — на первой строке армянские, а ниже, под армянскими формами, — армяно-кыпчакские соответствия: *бар «иди», бармандыр «не иду», нек барыр мен «почему иду?», барыр мен «иду», бардым «я пошел», барды «он пошел», барсар «пойдет»*. Иногда эта последовательность нарушается и появляются другие временные формы, порою же автор сознательно увеличивает их число.

За реестром глагольных форм приводится перечень именных частей речи, в котором содержится около 500 существительных, прилагательных и др. Существитель-

¹ Один такой довольно большой словарь хранится в фонде армянских рукописей Гос. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде под шифром Арм. № 8.

² Рукопись № 2267 не имеет отношения к утерянным во время Отечественной войны киевским архивным материалам, часть которых из числа спасенных в настоящее время хранится в ЦГИА Укр. ССР (фонд № 39, опись 1). В 50-х годах прошлого столетия рассматриваемая ниже рукопись хранилась в рукописных фондах Эчмиадзинской библиотеки; без особых подробностей она упоминается в каталоге рукописей Эчмиадзина (Тифлис, 1863 г.) за № 2239.

³ В. Саргисян, Каталог армянских рукописей библиотеки мхитаристов Венеции, I, Венеция, 1914, стр. 359—362 на арм. яз.).

ные передко даны не только в своей словарной, но также и в изменяемых формах; например: *енска(й)* «затылок», *енскам* «мой затылок», *енсанг* «твой затылок», *енсалап* «затылки».

Такая подача материала в пособии дает возможность составить определенное представление о спряжении глаголов в кипчакском языке, в частности, позволяет восстановить более или менее целостную картину нескольких глагольных времен. Согласно тексту:

1. Положительная форма настоящего времени изъявительного наклонения образуется из основы глагола, показателя настоящего времени (-ар, -ыр, -ыр, -ур в соответствии с гармонией гласных) и полных показателей лица:

йас-ар мен «делаю»
йас-ар сен «делаешь»
йас-ар «делает»
йас-ар биз «делаем»
йас-ар сиз «делаете»
йас-ар лар «делают»

2. Отрицательная форма настоящего времени образуется из основы глагола, отрицательной частицы и полных показателей лица:

ман-ман дыр «не погружаю»
ман-ма сен «не погружаешь»
ман-маз дыр «не погружает»
ман-маз биз «не погружаем»
ман-ма сиз «не погружаете»
ман-маз лар «не погружают»

3. Будущее время образуется из основы глагола, показателя -сар и полных показателей лица:

ур-сар мен «буду дуть»
ур-сар сен «будешь дуть»
ур-сар «будет дуть»
ур-сар биз «будем дуть»
ур-сар сиз «будете дуть»
ур-сар лар «будут дуть»

4. Отрицательная форма будущего времени⁴ образуется из основы глагола, отрицательной частицы -ми, показателя -ур и полных показателей лица:

бил-ми-ур мен «не узнаю»
бил-ми-ур сен «не узнаешь»
бил-ми-ур «не узнает»
бил-ми-ур биз «не узнаем»
бил-ми-ур сиз «не узнаете»
бил-ми-ур лар «не узнают»

5. Прошедшее совершенное время образуется из основы глагола, показателя прошедшего времени и кратких личных окончаний (-ды-м, -ды-нг, -ды, -ды-х, -ды-нгыз, -ды-лар, причем в соответствии с гармонией гласных гласный *ы* временного показателя варьируется *и/ы/у*):

⁴ В тексте описываемого пособия форма *билмиур мен* передается армянской формой, означающей «не узнаю».

атлан-ды-м «я сел (на лошадь)»
атлан-ды-нг «ты сел (на лошадь)»
атлан-ды «он сел (на лошадь)»
атлан-ды-х «мы сели (на лошадь)»
атлан-ды-нгыз «вы сели (на лошадь)»
атлан-ды-лар «они сели (на лошадь)»

6. Отрицательная форма прошедшего совершенного образуется из основы глагола отрицательной частицы -ма, показателя прошедшего времени и кратких личных окончаний:

ал-ма-ды-м «я не взял»
ал-ма-ды-нг «ты не взял»
ал-ма-ды «он не взял»
ал-ма-ды-х «мы не взяли»
ал-ма-ды-нгыз «вы не взяли»
ал-ма-ды-лар «они не взяли»

7. Будущее желательное образуется из основы глагола, показателя -ка(й) и полных показателей лица:

арт-ка(й) мен «я прибавил бы»
арт-ка(й) сен «ты прибавил бы»
арт-ка(й) «он прибавил бы»
арт-ка(й) биз «мы прибавили бы»
арт-ка(й) сиз «вы прибавили бы»
арт-ка(й) лар «они прибавили бы»

8. Давнопрошедшее время образуется из основы глагола, временного показателя (-ыл, -ул, -ул — в соответствии с гармонией гласных) и полных показателей лица:

дуруп мен «я стоял»
дуруп сен «ты стоял»
дуруп «он стоял»
дуруп биз «мы стояли»
дуруп сиз «вы стояли»
дуруп лар «они стояли»

В 3-ем лице ед. числа, как правило, показатель лица отсутствует, однако в составе одного примера встречается связка: *надирланып дыр* («приготовился»).

9. Единственное число повелительного наклонения представляет собой основу глагола, к которой часто добавляется частица -гин: *йаска(й)* «сделай», *овран* «выучи», *пуз-гин* «разрушай», *сор-гин* «спроси».

10. Отрицательная форма повелительного наклонения образуется от основы глагола путем прибавления частицы -ма(й); подобно положительной отрицательная форма повелительного наклонения также имеет образуемые частицей -гин усиленные формы: *бол-ма(й)* «не будь», *бил-ма(й)* «не знай», *бошат-ма(й)-гин* «не опорожний».

11. Составное сказуемое образуется из именной части сказуемого и полных показателей лица:

сусах мен «жажду»
сусах сен «жаждешь»
сусах тыр «жаждет»
сусах биз «жаждем»
сусах сиз «жаждете»
сусах лар «жаждут»

12. Вопросительное предложение имеет в своем составе вопросительное местоимение *нек*, которое ставится перед глаголом: *нек чладыр мен* «почему орошаю?», *нек чрмасар мен* «почему заверну?», *нек сал-манд[ыр]* «почему не пускаю?»

13. Глаголы страдательного залога образуются путем присоединения к основе суффикса *-н*: *сагла(й) «спрячь» — сахдан «спрячься», йалана чладым «(я) разоблачил» — йалана чладым «(я) разоблачил себя».*

Возможности, представляемые текстом «грамматики», не исчерпываются этим; пособие позволяет также рассмотреть и дру-

гие разнообразные грамматические явления, анализ которых, однако, выходит за рамки настоящего сообщения. Нет сомнения, что научная публикация текста «грамматики» может быть полезной для дальнейшего изучения армяно-кыпчакского языка.

О. С. Еганян

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

20—25 ноября 1961 г. в Институте славистики при Университете Эрнста — Моритца — Арндта в Грейфсвальде (ГДР) была проведена «Славистическая неделя», посвященная 65-летию проф. Ф. Ливера. На конференции прибыли ученые из Брно, Варшавы, Торуня, а также из различных институтов славистики ГДР. «Славистическая неделя» была посвящена в основном двум вопросам: развитию литературных языков и проблемам диалектологии. Рассмотрение этих вопросов вполне оправдано в рамках предстоящего V Международного съезда славистов.

Д-р С л и ж и н с к и й (Варшава), сделавший доклад на тему «Из переписки Бодуэна де Куртене с Э. Мука», представил материал 57 неизданных писем Бодуэна де Куртене к Мука, сохранившихся в архиве Пражского народного музея. Д-р Е л и н е к (Брно) в докладе «К теоретическим проблемам сравнительной стилистики славянских языков» подчеркнул важность изучения как различных функциональных стилей, так и тенденций развития так называемых «объективных» стилей и привел многочисленные примеры взаимосвязей стилистических явлений с грамматической и лексической системой отдельных славянских литературных языков.

В докладе «Славянские национальные языки в период возрождения» проф. д-р П о й к е р т (Иена) подчеркнул значение указанного периода для формирования славянских национальных языков в обла-

сти бывшей Австро-Венгерской монархии. Проф. д-р В е ч о р к е в и ч (Варшава) затронул принципиальные теоретические вопросы диалектологии в своем докладе «Проблемы польской диалектологии». После краткого обзора истории польской диалектологии докладчик проанализировал методологические основы варшавской и краковской диалектологических школ и подчеркнул важность привлечения для диалектологического исследования так называемых профессиональных языков и языков различных социальных групп городского населения. Д-р Я. Бауэр (Брно) прочел доклад на тему «О происхождении типов сложного предложения», в котором выступил против теории «двух путей возникновения подчиненного предложения». Д-р М о ш и н с к и й (Торунь) сделал доклад о славянских названиях ошейника. Этот доклад в известной мере является дополнением и иллюстрацией к основным положениям доклада В е ч о р к е в и ч а.

На конференции был прочтен также ряд докладов, посвященных проблемам славянской литературы, литературных языков и литературных связей. 22 ноября 1961 г. философский факультет университета в Грейфсвальде за научные и общественные заслуги присвоил проф. Ф. Ливеру звание доктора философии *honoris causa*.

Полное содержание докладов «Славистическая неделя» будет опубликовано в «Научном журнале университета в Грейфсвальде».

К. Габка (Грейфсвальде)

С 17 по 20 января 1962 г. в Баку прошло региональное совещание по вопросам категорий времени и наклона глагола в тюркских языках, созванное по инициативе Института литературы и языка им. Низами АН Азерб. ССР. В работе этого совещания приняли участие работники научно-исследовательских учреждений и вузов Апхабада, Баку, Москвы, Нальчика, Ташкента, Уфы, Фрунзе, Черкесска, Якутска. Всего было заслушано и обсуждено более 15 докладов и сообщений как общетеоретического, так и конкретно-информационного плана.

Д-р филол. наук Н. А. Б а с к а к о в (Москва) в докладе «Категория наклона и времени в тюркских языках», оставившись на актуальных вопросах о месте

этих категорий в системе тюркских языков, рассматривал как словообразовательные четыре основные категории глагола: залог, вид, наклонение и время. По его мнению, первые две категории относятся к объективной характеристике действия. Категории времени и наклона, являясь формами субъективной характеристики действия (так как они характеризуют реальность действия и его протекание с точки зрения самого говорящего), также должны включаться в словообразование; эти формы в тюркских языках выражаются единой синкретической формой, т. е. являются категориями не вполне дифференцированными и исторически развивались одновременно по двум группам словообразовательных форм.

В докладе канд. филол. наук Н. З. Га д ж и е в о й (Москва) «О соотношении категории времени и наклонения в тюркских языках» было прежде всего обращено внимание на необходимость различия модальных оттенков действия от категории модальности, находящей свое грамматическое выражение в специальных формах повелительного, желательного, условного и должностовательного наклонений. Затем докладчик показал различные модальные оттенки у изъявительного наклонения и временные у форм косвенных наклонений и контекстуального характера, так и органически заключающиеся в самих формах.

В большинстве докладов также дискутировался вопрос о глагольно-временных формах на *иди* и *имши* и о природе этих слов. Проф. М. Г. Г у с е й н - з а д е (Баку) в докладе «Категория времени и формы глагола в современном азербайджанском языке» проанализировал формы прошедшего времени со стороны их формального выражения и семантики. Докладчик считает нецелесообразным выделять формы давнопрошедшего, несовершенного, будущего-прошедшего времени; эти формы с вспомогательными глаголами *иди* и *имши* следует относить к повествовательным (*некајет*) и пересказательным (*рөвајет*) формам изъявительного наклонения. В докладах канд. филол. наук З. И. Б у д а г о в о й (Баку) «К вопросу о категории прошедшего времени глагола в современном азербайджанском языке» и канд. филол. наук Т. А. Э ф е н д и е в о й (Баку) «К вопросу о категории прошедшего времени глагола в современном азербайджанском языке» подробно рассматриваются различные точки зрения на формы с *иди* и *имши*. З. И. Будагова считает *иди* и *имши* связками и видит их основную функцию в связывании любой формы с моментом прошлого. Временные же формы с *иди* и *имши* рассматриваются как сложные формы прошедших времен. Т. А. Эфендиена, также констатируя в азербайджанском языке несколько сложных форм прошедшего времени, обращает внимание на необходимость учитывать в них как временную, так и модальную семантику *иди* (прошедшее время + категоричность, достоверность) и *имши* (прошедшее время + недостоверность, допущение, заключение и т. п.).

А. А. А х у н д о в (Баку) в докладе «Изъявительное наклонение глагола в азербайджанском языке», основываясь на традиционной точке зрения, попытался графически представить различия между формами изъявительного наклонения. В докладе д-ра филол. наук С. А. Д ж а ф а р о в а (Баку) «О постановке вопроса о наклонении глагола в азербайджанском языке» предложена оригинальная система наклонений на основе формальных признаков. Канд. филол. наук М. Ш. Р а г и м о в (Баку) в докладе «К вопросу о формировании категории наклонения и ее отношении к категории времени в азербайджанском

языке» остановился на развитии косвенных наклонений, показал на примерах полисемантизм ряда форм повелительного, желательного и условного наклонений.

Рассмотрению форм, значений с наслаивающимися на них разнообразными модальными оттенками волеизъявления был посвящен доклад Н. Г. А г а - з а д е (Баку) «Повелительное наклонение в современном азербайджанском языке». Исходя из анализа материала, докладчик считает возможным говорить о наличии двух грамматикализованных форм повелительного наклонения в азербайджанском языке: прямой и косвенной. В докладах И. Х. У р у с б и е в а (Черкесск) «Категория времени глагола в современном карачаево-балкарском языке» и д-ра филол. наук У. Б. А л и е в а (Нальчик) «Наклонение и время глагола карачаево-балкарского языка» детально разбирались наклонения и временная система языка. Характеристика форм прошедшего, настоящего и будущего времени была дана Д ж у р а е в о й (Ташкент) в докладе «Времена глагола в современном узбекском литературном языке». Б. Х о д ж а е в (Ашхабад) в докладе «Некоторые вопросы наклонения туркменского языка» остановился на анализе форм условного и повелительного наклонений и затронул в связи с этим проблемы терминологии. В сообщении канд. филол. наук А. Т у р с у н о в а (Фрунзе) дана схема форм изъявительного наклонения в современном киргизском языке, их употребления и значения. В сообщении Д. М. Н а с и л о в а (Москва) «О формах будущего времени в древнейгурусском языке» были рассмотрены формы на *-р*, *-гај*, *-гу*, *-тачи* в памятниках древнейгурусского языка.

В своем выступлении академик АН Кирг. ССР И. А. Б а т м а н о в (Фрунзе) с привлечением статистических данных познакомил присутствующих с формами времени в египетских памятниках и предложил в основу выделения форм времени положить их функцию. Интересные соображения высказал в заключительном слове Н. А. Б а с к а к о в, который предложил выделять первичные, модально-временные формы (*-мыш*, *-ар*, *-ди*), вторичные, видо-временные (типа *аламан*, *аламтирман*), перифрастические (с *арур*, *эди*, *эмши*) и модальные конструкции (типа *алам карэж*). В прениях по докладом и сообщениям приняли участие проф. Ш. Ш и р а л и е в, Н. Г. А г а - з а д е, С. Г а й б о в а, А. К. А л е к б е р о в, Ш. А к б а е в, З. И. Б у д а г о в а, А. А. А х у н д о в и др.

Подводя итоги, совещание рекомендовало Координационной комиссии по составлению описательных грамматик языков народов СССР провести совещания по проблемам «Именные части речи (неизменяемые части речи)» (в Чебоксарах в 1963 г.) и «Фонетическая структура корня» (Новороссийск, в 1964 г.).

Д. М. Насилов (Москва)

С 24 по 27 января 1962 г. на восточном факультете Ленинградского университета проходила II научная конференция по иранской филологии¹. Помимо праштсов Москвы и Ленинграда (МГУ, ЛГУ, Ин-т народов Азии, Ин-т языкознания, Ин-т археологии, Ин-т этнографии АН СССР, Гос. Эрмитаж) в конференции приняли участие представители университетов и научно-исследовательских учреждений Баку, Душанбе, Еревана, Орджоникидзе, Самарканда, Ташкента, Тбилиси.

На пленарном и секционных заседаниях конференции было заслушано около 60 докладов². Работали секции: 1) иранских языков, 2) литературоведения, 3) памятников иранской письменности. На пленарном заседании был поставлен доклад проф. А. Н. Болдырева (Ленинград) «Иранская филология в университетском преподавании».

Прочитанные на конференции языковедческие доклады были посвящены вопросам морфологии, фонетики, синтаксиса, лексики и лексикографии современных иранских языков (персидского, таджикского, осетинского, курдского, татского); широко были представлены также исследования по диалектологии (таджикский, осетинский, памирские языки) и истории иранских языков.

Проблемам персидской морфологии посвятили свои доклады Н. А. Мухамедова (Ташкент) — «Префиксальные глаголы в персидском языке» и И. К. Овчинникова (Москва) — «Категория числа в грамматической системе имен существительных современного персидского языка». В основном на материалах персидского, но с привлечением и других иранских языков был построен прочитанный на пленарном заседании доклад Л. С. Шейсикова (Москва) «Транспозиция как способ словообразования в иранских языках». В связи с проводящейся в Институте народов Азии коллективной работой по составлению персидско-русского словаря с докладом «О принципах составления нового персидско-русского словаря» выступил Ю. А. Рубинчик (Москва). Специально вопросам персидской фонетики были посвящены доклады В. И. Завяловой (Ленинград) «Фонетическая природа ударения в персидском языке» и Д. Ж. Ш. Гиунашвили (Тбилиси) «Фонема *q* и ее варианты в персидском литературном языке». Два докладчика остановились на проблеме переводов с персидского языка — М. Е. Радовильский (Москва) в докладе «О некоторых лексических и грамматических проблемах перевода с персид-

ского языка на русский» и Ш. М. Шамухаммедов (Ташкент) в докладе «Из наблюдений над переводами поэтических произведений с персидского на узбекский».

Таджикская диалектология была представлена двумя выступлениями: канд. филол. наук А. З. Розенфельд (Ленинград) в докладе «Таджикские говоры Советского Бадахшана» сообщила о научных результатах своей диалектологической работы на Западном Памире; аспирантка Н. А. Мелех (Ленинград) представила краткое описание гиждуванского говора таджикского языка. И. М. Оранский (Ленинград) прочел доклад «О секретном языке (арго) этнографической группы джуги (Гиссарская долина)».

Три доклада были посвящены исследованиям в области осетинского языкознания. Д-р филол. наук В. И. Абеев (Москва) в прочитанном на пленарном заседании докладе «Фонема *l* в осетинском языке» рассмотрел весьма интересный для исторической фонетики иранских языков в целом вопрос о возможных путях развития этой фонемы в средне- и новоиранских языках (древнеиранским языкам фонема *l* чужда) и специально — в осетинском. К. Е. Гагкаев (Орджоникидзе) выступил с докладом «Отношение осетинского синтаксиса к синтаксису иранских и кавказских языков», канд. филол. наук М. И. Исаев (Москва) — с докладом «К вопросу о диалектном членении осетинского языка».

Изучению курдского языка были посвящены доклады Ю. Ю. Авалияни (Самарканд) «„Расщепление“ сложного глагола и вопросы переходности — непереходности в курманджик» и И. А. Смирновой (Ленинград) «Спряжение переходных глаголов в южном диалекте курдского языка (сорани)». С докладом «Определительные конструкции в языке североазербайджанских гатов» выступил А. Л. Григорьев. Исследование памирских языков было представлено докладами Р. Х. Додыхудоева (Ленинград), Д. Карамшоева (Душанбе) и отчасти докладом Д. И. Эдельмана (Москва). Следует отметить появление в этой области, наряду с работами диалектологическими (Д. Карамшоев, Отношение баджувского диалекта к пугуанскому языку), и работ исторического характера: были зачитаны доклады Р. Х. Додыхудоева «Отражение древнеиранской группы *-rt-* в пугуанском языке» и Д. И. Эдельмана «К генезису церебральных согласных в восточноиранских языках».

С большим интересом были прослушаны доклады, посвященные древним иранским языкам. Анализ орфографических особенностей хорезмийского письма на основе арабской графики (XI—XIII вв.) позволил М. Н. Боголюбову (Ленинград) вскрыть характер хорезмийского ударения. В докладе С. Н. Соколова (Ленинград) «К метатезе сонантов в раннем среднеперсидском» было дано убедительное объяснение некоторых явлений персидского исторического консонантизма. М. К. Андроникашвили (Тбили-

¹ Первая иранистическая конференция, организованная Ленинградским университетом по инициативе члена-корр. АН СССР проф. А. А. Фреймана, происходила в 1947 г.

² Вышли в свет тезисы прочитанных на конференции докладов: «Ленинградский орден Ленина гос. ул-т им. А. А. Жданова. Научная конференция по иранской филологии (Тезисы докладов)», 1962, 52 стр.

си) выступила с докладом «Иранские лексические элементы в грузинском». Изучение этих заимствований, восходящих в ряде случаев к весьма древним эпохам, бесспорно, имеет (как и изучение иранских заимствований в армянском) определенное значение для иранской исторической лексикологии и фонетики³. Проф. Л. М. Мелликсетбек (Ереван) зачитал доклад «О филиациях ираноязычного суффикса *-stan* (следует *-stāna*». — И. О.). Определенный сдвиг намечился в последнее время в изучении языка памятников персидской и таджикской классической литературы. Отражением интереса к этой тематике явился прочитанный на конференции доклад Р. Джурева «Глагольная частица *-ē* в сочинении „Асрари тавхид“ (XII в.)». Вопросам персидско-таджикской исторической лексикологии был посвящен доклад проф. Хусейн Али-Махфуза (Ленинград) «Арабо-таджикские лексические отношения».

Дальнейший прогресс иранского исторического языкознания непосредственно зависит от дешифровки и изучения древних и средневековых памятников иранских языков. Из работ по изучению памятников древнеиранской письменности, ведущихся в нашей стране, наибольшее значение имеют начатые А. А. Фрейманом и успешно продолжаемые его учениками работы по дешифровке, истолкованию и комментированию согдийских документов с горы Муг и хорезмийского языкового материала. Это направление было представлено на конференции докладами О. И. Смирновой (Ленинград) «Автограф согдийского счетовода первой четверти VIII в.» и В. А. Лившица (Ленинград) «Хорезмийские документы из Топрак-Калы». Документы из Топрак-Калы (III—IV вв. н. э.), являющиеся, видимо, подворными списками населения и представляющие большой историко-культурный интерес, являются в то же время древнейшими известными науке связными текстами на хорезмийском языке и дают новый материал для истории этого языка, для сравнительно-исторического иранского языкознания в целом.

Для исторической лексикологии персидского и таджикского языков важное значение имеют работы по изучению храня-

щихся в наших собраниях праоязычных рукописей старых персидских толковых словарей (фархангов). Одному из таких памятников был посвящен доклад С. И. Баванского (Ленинград) «Редкая рукопись раннего персидского толкового словаря „Тухфат ас-са'ада“ в рукописном собрании ЛО ИНА». Научное описание таджикско-персидских рукописей (в том числе сочинений по лексикографии и грамматике) собрания восточного факультета ЛГУ представил в своем докладе А. Т. Тагирджанов (Ленинград).

Вопросы языковых отношений в ранне-средневековой литературе Ирана и Средней Азии рассматривались в докладах А. К. Арендса (Ташкент) «К вопросу об утраченном труде Абу Рейхана Бируни по истории Хорезма по материалам „Та'рихи Бейхаки“», А. Н. Болдырева «Новоперсидские обработки эпических преданий в западном Иране XI в.», М. И. Зандя (Москва) «К двуязычию поэзии Средней Азии и Хорасана X в.». Как показало обсуждение доклада З. Н. Воржейкиной (Ленинград) «О литературном наследии Минучихри, Баба Кухи, Баба Тахира», изучение рукописных диванов может дать новые материалы для исторической диалектологии средневекового Ирана (диваны Баба Кухи и Баба Тахира).

Оживленное обсуждение вызвал доклад О. Д. Чехович (Ташкент) «Терминология среднеазиатских актов», автору которого удалось путем привлечения обширного материала установить значение некоторых неясных или не вполне ясных ранее терминов. С интересом был прослушан также доклад Л. И. Альбаума (Ташкент) «Новые памятники письменности из Сурхан-Дарьи». Продемонстрированные при чтении доклада документы (письмом брахми) являются новым свидетельством распространения письменностей индийского происхождения на территории Средней Азии.

Конференция показала, что иранская филология продолжает развиваться как комплексная наука, дальнейший прогресс которой лежит на путях умелого и координированного сочетания историко-культурных, источниковедческих, текстологических и лингвистических исследований.

Участники конференции почтили память крупных советских ученых-иранистов, скончавшихся в последние годы, — акад. И. А. Орбели, члена-корр. АН СССР, проф. Е. Э. Бертельса, проф. Б. В. Миялера, проф. А. А. Семенова. Принято решение о проведении очередной конференции по иранской филологии в январе 1963 г. в Баку.

И. М. Оранский (Ленинград)

³ Следует с удовлетворением отметить интерес, проявляемый в последнее время специалистами по кавказским языкам к выяснению иранского лексического слоя в этих языках. Назову в этой связи работу С. М. Хайдакова «Очерки по лексике лакского языка» (М., 1961), стр. 68—72 которой посвящены вопросу об иранских заимствованиях в лакский.

24—27 января 1962 г. в Москве проводилась организованная Институтом языкознания АН СССР дискуссия по проблеме системности в языке. На дискуссии присутствовало около 200 человек. В прениях приняли участие 23 человека — предста-

вители научных учреждений Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Харькова, Минска и других городов.

Открывая дискуссию, член-корр. АН СССР Б. А. Серебряников указал на то, что проблема системности в язы-

ке представляет собой комплекс различных, но связанных между собой проблем: определение системы, структуры, яруса, понимание которых различно у разных исследователей; рассмотрение системы в синхронии и диахронии; соотношение языковой нормы и системы и т. д.

На дискуссии было прослушано 7 докладов. Первым в докладе «Понятие системы и его место в анализе и описании строя языка» выступил Н. Н. Коротков (Москва); он остановился на необходимости разграничения понятия системы, охватывающей связь между однородными элементами и характерной для отдельных ярусов и структуры языка, связывающей все ярусы в целом, а также указал на необходимость введения понятия нормы языка, так как языковые системы и структура языка не охватывают всех явлений языка, обладающего вариантными средствами. Понимая языковую норму как совокупность элементов, лишенных функциональной ценности, докладчик считает возможным рассматривать это понятие и понятия системы и структуры как последовательные ступени анализа языка.

Г. П. Щедровицкий (Москва) в докладе «Методологические замечания исследования системности и систем языка» указал, что проблема системности имеет не только узко лингвистическое значение; к ней надо подходить с более широкой точки зрения общей методологии науки. Таким образом, наряду с онтологической проблематикой, серьезное место в исследовании языка должна занимать проблематика гносеологическая. Выделение языка как особого предмета исследования предполагает построение нескольких структурных моделей со специфической системностью.

В докладе Э. А. Макаева (Москва) «Понятие давления системы и иерархии языковых единиц» давление системы рассматривается как одна из форм актуализации языковой системы⁴. В. Н. Ярцева (Москва) в докладе «Противопоставленность элементов системы языка», указывая на объективный и закономерный характер противопоставленности элементов языка на разных его уровнях, выделяет 3 типа противопоставленности, реализующейся, как правило, в отношении 2 элементов: 1) цельнопарную противопоставленность, когда противопоставленные элементы создают замкнутую систему; 2) соотносительно-парную противопоставленность, где противопоставленные друг другу элементы одновременно противопоставляются третьему; 3) противопоставленность дифференциальных признаков, когда составляющие пару элементы, имея ряд общих признаков, противопоставляются по ряду вторичных признаков. По мнению докладчика, выделение различных типов противопоставлений в различных областях языка должно быть дифференцированным.

А. А. Уфимцева (Москва) прочитала доклад на тему: «К вопросу о лексико-

семантической системе языка»⁵. Считая противоречие источником развития языка, Т. П. Ломтев (Москва) в докладе «Развитие структуры языка» указывал на внешние и внутренние противоречия, разрешение которых приводит к преобразованию структуры языка; к первым можно отнести, например, противоречие между множественством диалектов языка и общностью экономической жизни народа в эпоху капитализма; ко вторым — противоречие между назначением данных грамматических средств и возможностями, которыми они обладают в данной структуре для реализации указанного назначения. Историю языка, таким образом, можно рассматривать как историю постепенного преодоления противоречий, а изучение структуры языка в развитии — как выявление существующих в языке конкретных противопоставлений, элементы которых находятся в отношениях противоречия и являются взаимоисключающими. Доклад М. М. Гухман (Москва) «Понятие системы в синхронии и диахронии» был посвящен выяснению специфики языковой системы в статике и развитии⁶.

В выступлениях были затронуты разные вопросы, связанные с проблемой системности в языке. А. М. Мухин (Ленинград) в сообщении «Лингвистические единицы и структура языка» предлагает положить в основу выделения лингвистических единиц функциональный признак, опирающийся на понятие смысловозначительной функции; понятие структуры языка является производным от лингвистических единиц, поэтому автор считает целесообразным говорить о структуре при обозначении строения или внутреннего устройства языка. П. С. Кузнецов (Москва) не считает необходимым разграничивать структуру и систему; следует разграничивать объект и предмет исследования; в языке как объекте исследования различные уровни сосуществуют, при описании языка исследователь выделяет низшие и высшие уровни. В. В. Мартынов (Минск) подчеркнул возможность описания семантической структуры конкретных языков путем сопоставления семантических микроструктур, понимая под последними системы отношений между словами (в плане содержания) в пределах предметно-синонимической группы данного языка.

В. И. Кодохов (Ленинград) остановился, во-первых, на вопросе о системе языка и системе языковых единиц, считая, что при рассмотрении системы языка следует также изучать системность самих языковых единиц, и, во-вторых, на вопросе о характере системных отношений, считая, что системе языка нельзя сводить только к бинарным отношениям. А. А. Леонычев (Москва) в своем выступлении затронул вопрос о системе и норме, указав на то, что системные единицы не всегда являются нормативными, а также остановился на специфической структуре речевой деятель-

⁵ См. ВЯ, 1962, 4.

⁶ См. там же.

⁴ См. ВЯ, 1962, 5.

ности и подчеркнул ее первостепенное значение для решения проблемы системности в языке.

О. М. Барсова (Москва) отметила необходимость различать исследование объективных явлений и их описание, которое может быть в значительной мере формализовано и построено на общих положениях, заданных в виде постулатов, что и было продемонстрировано на определении уровня лексем, синтаксем и моделей предложения. Г. А. Мельников (Москва) определяет систему как совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных однородных и неоднородных элементов, степень взаимосвязи которых может иметь различную величину, в связи с чем следует говорить о степени системности данной совокупности элементов; поэтому совокупность различных языковых элементов представляет собой систему с различной степенью взаимосвязи между элементами и с различной степенью выраженности языковых уровней. Эти положения были проиллюстрированы на примере сингармонизма гласных в тюркских языках.

Н. З. Котелова (Ленинград) определяет систему как форму (если язык обладает системой, он обладает формой, организацией, строением) и выделяет в качестве основных признаков системы следующие: связь между элементами и группами элементов; целостность; объективность и органический характер развития. А. А. Брудный (Фрунзе) подчеркнул важность эксперимента и необходимость операционных определений в исследовании; с помощью психолингвистического эксперимента при изучении семантической подсистемы языка можно установить наличие двух типов корреляций между значениями слов — корреляций системных и ситуативных. Г. А. Климов (Москва), говоря о качественном различии таких систем языковой структуры, как фонология, морфология, лексика, высказал соображение, что анализ каждого уровня структуры языка носит самостоятельный характер в связи с расчленением лингвистической абстракции соответственно данным уровням.

Г. С. Клычков (Москва) связывает понятие системы с различием языка и речи и, вслед за А. И. Смирницким, считает, что язык есть система, материально реализуемая в бесконечном разнообразии речевого потока. Р. Г. Пировский (Ленинград) считает достаточным для исследования использование рабочих определений системы и структуры, полагая, что основная задача исследователя — лингвистическое моделирование. И. М. Тропский (Ленинград) понимает под системой вообще сложное целое, определяемое составляющими его частями и определяющее составляющие его части; говоря о противопоставлениях, автор не считает их единственным проявлением системности.

М. А. Бородина (Ленинград) отмечает, что, занимаясь исследованием языка, лингвист может пользоваться любым определением системы как рабочим, но установление системности любого аспекта

языка сопровождается большими трудностями. Б. А. Серебренников высказал мысль о том, что определение основных понятий, которым оперирует лингвист, необходимо, так как незначительные успехи в области изучения различных языковых систем и системных связей объясняются в значительной мере недостаточностью четкими, противоречивыми определениями их; распространенное и наиболее абстрактное определение языковой системы как целого, все части которого связаны друг с другом, оказывается недостаточным, поскольку язык представляет переплетение систем разных языковых единиц; кроме того, недостаточным оказывается и указание на противоположность элементов языка, так как связь между элементами качественно различна, как различны и сами элементы.

В. Н. Садовский (Москва) указал, что лингвистика должна учитывать опыт других наук и, в частности, логики; первоочередной задачей лингвистики, по мнению выступавшего, является изучение речевого мышления. Т. С. Шарадзеидзе (Тбилиси) коснулась вопроса сложности языковой системы и ее непоследовательности, или «открытости», в отличие от искусственных языков или условных кодов, понимая под сложностью различные способы выражения одного и того же содержания, а под непоследовательностью — наличие определенных фактов языка за пределами системных отношений. По мнению В. И. Лыткина (Москва), употребление терминов «ярус», «этаж», «структура» излишне, так как отдельные участки языкового строя при его статическом рассмотрении лежат в одной плоскости, не составляя иерархии; вследствие этого достаточным оказывается употребление терминов «система» и «подсистема» (фонологическая и т. д.), выделение частных систем надежд, спряжений и т. д., относящихся друг к другу как род к виду.

В дискуссии приняли участие также В. А. Лисицкий (Чарджоу), А. Н. Каллош (Черновцы), Г. В. Рамишвили (Тбилиси), Г. С. Щур (Москва), Т. С. Глушак (Оренбург).

Закрывая дискуссию, В. А. Серебренников отметил, что для большинства участников дискуссии оказались бесспорными следующие вопросы: постановка проблемы системности языка; необходимость разграничения предмета и объекта науки; признание языковой системы как совокупности малых систем; признание языка как знаковой системы; признание специфики и качественного своеобразия единиц различных аспектов языка и связанной с этим дифференциации системных связей; необходимость творческого содружества с логикой и психологами для выработки новых методов исследования и для логического обоснования выводов, сделанных лингвистами. Не получили, однако, достаточного освещения и обоснования такие важные проблемы, как: типология существующих в языке связей и зависимостей; соотношение системы и нормы как на уровне языка, так

и на уровне речи; системность в применении как к синхронии, так и диахронии; давление системы и зависимость давления системы от типа языка, от конкретных сфер языка и т. д., лингвистическое моделирова-

ние и применение операционных определений при изучении системы языка и специфические методы выявления единиц этой системы.

Е. Ф. Демьянюк (Москва)

25—28 января 1962 г. в Львовском гос. университете состоялась I межвузовская конференция УССР по вопросам синтаксиса. В ней приняло участие свыше 100 языковедов — представителей 18 научных учреждений, в том числе Института языкознания АН УССР, Института общественных наук Львовского филиала АН УССР. В работе конференции приняли участие синтаксисты других республик: Ростовского и Узбекского университетов, Петропавловского пединститута (Казах.ССР).

Открыл конференцию ректор Львовского ун-та проф. Е. К. Лазаренко. Во вступительном слове он обратил внимание на важность задач, поставленных перед языковедами на XXII съезде КПСС: исследуя закономерности развития языков в период построения коммунизма, лингвисты должны глубже изучать взаимовлияние национальных языков, вопросы культуры речи.

В течение трех дней на утренних и вечерних заседаниях было заслушано и обсуждено 23 доклада и сообщения по следующему вопросу синтаксиса: 1) общесоретические вопросы синтаксиса, 2) словосочетание и синтагма, 3) сложное предложение, 4) классификация коммуникативных единиц языка, 5) члены предложения, 6) синтаксические отношения и способы их выражения.

Зав. кафедрой русского и общего языкознания Львовского ун-та доц. И. Г. Галенко выступила с докладом «Новая программа КПСС и задачи советского языкознания». К числу важнейших проблем, требующих разрешения, докладчик относит: 1) дальнейшую разработку теории советского языкознания, создание обобщающих лингвистических работ с позиций марксистско-ленинской философии и на основе новых методов языкознания; 2) более углубленное изучение истории национальных языков, исчерпывающее описание современных мало изученных языков народов СССР; 3) вопросы теоретического синтаксиса; 4) вопросы культуры речи; 5) вопросы, связанные с созданием информационных машин, с теорией и практикой символических языков науки, методику преподавания языков, в том числе и методы использования технических средств в процессе преподавания языка; 6) многоаспектный анализ языка, усовершенствование методов языкознания и в первую очередь методов и приемов структурного и математического анализа.

Доц. П. П. Коструба (Львовский ун-т) в докладе «Вопросы классификации коммуникативных единиц языка» говорил о высказывании как общем названии для всех коммуникативных единиц; предложение, эквиваленты и заменители предложе-

ний — единицы высказывания. Предложение — самое совершенное высказывание, необходимым формальным признаком которого является наличие сказуемого (в любой форме). В связи с классификацией коммуникативных единиц докладчик остановился на природе неполных предложений.

Классификации неполных предложений был посвящен доклад доц. П. С. Дудика (Полтавский пединститут). В основу классификации этих конструкций П. С. Дудик кладет грамматический критерий, а именно — синтаксическую роль неназванного в нем члена и особенности структуры неполных предложений. Доц. Р. Саакян (Ростовский ун-т) рассматривала своеобразие модальности в сложносочиненном предложении (доклад «Особенности модальности в сложносочиненном предложении»). Аспирант А. Ф. Демьяненко (Киевский ун-т) посвятил свое выступление «Язык и речь. Языковые и речевые единицы» одному из сложных вопросов общего языкознания — уяснению взаимоотношений между языком и речью, характеристике единиц языка и речи (с попыткой применения дихотомии и трихотомии).

И. К. Кучеренко (Киевский ун-т) выступил с докладами: 1) «Синтаксические функции сравнительных конструкций», 2) «Синтаксические функции вокатива и так называемое обращение». В первом докладе И. К. Кучеренко изложил свою точку зрения на природу сравнительных конструкций, их синтаксическое своеобразие, присоединившись к мнению лингвистов (Булаховского и др.), считающих сравнительные конструкции неполными придаточными предложениями. Во втором был затронут вопрос о несостоятельности такой грамматической категории, как обращение, о синтаксической роли вокатива.

Синонимии сравнительных конструкций в славянских языках, неодинаковой распространенности синонимов сравнительных конструкций в различных славянских (преимущественно восточнославянских) языках был посвящен доклад канд. филол. наук Э. С. Войновой (Львовский ун-т) «Сравнительные конструкции в славянских языках». Доц. И. И. Слинько (Черновицкий ун-т) прочитал доклад «Некоторые наблюдения над прямыми дополнениями в украинском языке». «О природе анпозиции и анпозитивных отношений» сообщил на конференции Б. Г. Ключковский (Львовский ун-т). Анпозитивные структуры, считает докладчик, возникают не случайно, а только на основании лексической валентности слов, обусловленной природой их семантики и соответствующей степенью синонимизации.

На конференции были также прослушаны и обсуждены следующие доклады и сообщения: доц. И. Е. Грицютенко (Ин-т общественных наук АН УССР, Львов) «Вопросы ритмо-мелодики художественной прозы М. Вовчка», доц. Г. М. Чумакова (Луганский пединститут) «К вопросу о придаточности в современном русском языке», доц. П. Д. Тимошенко (Киевский ун-т) «Наблюдения над синтаксисом сложного предложения в украинских грамматах из Молдавии», Л. М. Коць (Ин-т общественных наук АН УССР, Львов) «Об определительно-обстоятельственных отношениях между словами», доц. В. И. Выхристюка (Черновицкий ун-т) «Сложное предложение усложненного типа в украинском языке», доц. Л. И. Ройзензон (Узбекский ун-т)

«Синтаксис и фразеология», доц. Б. В. Кобылянского (Львовский ун-т) «Некоторые синтаксические конструкции в языке буковинских грамот XVI—XVII вв.», доц. П. В. Терентьева (Горловский пединститут) «К вопросу о разграничении подлежащего и предикативного члена в современном английском языке», канд. филол. наук Г. С. Варлаковой (Петропавловский пединститут) «Об определительно-обстоятельственных отношениях между словами».

I межвузовская конференция УССР по вопросам синтаксиса показала, что исследованиями теоретических вопросов синтаксиса занимаются теперь многие лингвисты, работы которых успешно используются для решения ряда актуальных задач.
Э. С. Войнова (Львов)

С 20 по 24 марта 1962 г. в Варшаве происходило очередное совещание Международной терминологической комиссии (лингвистическая секция), выделенной Международным комитетом славистов. В своем вступительном слове председатель МТК проф. А. В. Исаченко (Чехословакия) дал отчет о деятельности комиссии за истекшие два года. По инициативе МТК во всех славянских странах, а также в ГДР были созданы национальные терминологические комиссии, в задачи которых входит регистрация, исследование и практическая обработка национальной лингвистической терминологии. Чехословацкой терминологической комиссии на предыдущем совещании было поручено подготовить словарь основной лингвистической терминологии, который мог бы послужить исходным текстом для запланированного сопоставительного славянского словаря лингвистической терминологии. Следует отметить, что чехословацкая терминологическая комиссия очень хорошо выполнила свое задание: словарь, с которым члены МТК имели возможность познакомиться еще до варшавского совещания, получил высокую оценку. В настоящее время подготовлен к печати первый терминологический сборник, который должен выйти в свет к V Международному съезду славистов в Софии.

Делегаты МТК познакомили присутствующих с работой отдельных национальных комиссий. Проф. А. Б. Шапиро (СССР) рассказал о терминологической работе, проводимой в институтах языкознания и русского языка АН СССР, в Куйбышевском пединституте, а также в других лингвистических центрах страны. Проф. А. Едличка (Чехословакия) говорил о принципах, лежащих в основу упомянутого словаря лингвистической терминологии. Проф. Л. Андрейчин (Болгария) познакомил присутствующих с терминологической работой, ведущейся в Болгарии.

В своем докладе «Терминология в словарях» акад. В. Доршевский (Поль-

ша) указал на процесс кристаллизации основных лингвистических понятий в рамках общей методологии науки. Докладчик подчеркнул теоретическое и практическое значение работы над словарем, в котором лексикографически обрабатываются в виде терминов результаты всех научных исследований по различным отраслям лингвистики. Работа над словарем имеет большое значение для популяризации науки, по одновременно она требует создания ясного научного стиля. Выступая в дискуссии, доц. К. Гаузеблас (Чехословакия) подчеркивал современное значение словаря, который служит целям не только регистрации и информации, но и разрешения более широких задач. Старые словари только регистрировали, современные словари все больше приближаются к научным трактатам. Проф. А. Исаченко выразил сомнение относительно того, можно ли в терминологических словарях пользоваться синонимами для толкования термина. Единственно допустимым, по его мнению, является приведение дублета-кальки (*неопределенная форма — инфинитив*). Проф. П. Ивич (Югославия) утверждал, что и кальки не объясняют значения термина. Гораздо важнее иллюстрировать в цитатах употребление данного термина разными авторами. Доц. И. Горецкий (Чехословакия) говорил о затруднениях, возникающих в терминологических словарях при попытке разграничить полисемантические слова от омонимов.

В своем докладе А. В. Исаченко рассматривал вопрос семантики термина. Он подчеркнул, что мотивированность термина создается не непосредственной связью термина с другим словом-знаком, а всей системой теоретической концепции, элементом которой является данный термин. Вот почему требование «прозрачности», «описательности» термина не вполне оправдано. Нет терминов, значение которых можно было бы понять непосредственно, без знания по крайней мере нескольких терминов, относящихся к той же области. В дискуссии акад. В. Доршевский

говорил о процессе лексикализации, состоящей в переоценке структуры лексической единицы, т. е. в переходе от выражения мотивированного к выражению немотивированному. На примере русского термина «примыкание» К. Гаузенблас проиллюстрировал часто наблюдаемое стремление читателя внести в термин какую-то мотивировку. В дальнейшем дискуссия касалась вопросов унификации лингвистической терминологии, ее интернационализации. Проф. П. Ивич, проф. Г. Якобсон (Швеция), проф. А. В. Исаченко и другие решительно выступили за предельную интернационализацию славянской лингвистической терминологии.

Проф. А. Едличка свой доклад посвятил проблеме принципов выборки и расположения терминов в словнике. Проф. А. Б. Шапиро сделал сообщение о структуре и содержании словарной статьи в словаре грамматической терминологии. Дискуссия сосредоточилась на вопросах определения термина, причем акад. В. Доршески и др. подчеркнул, что вопрос определений является вопросом лингвистическим, который не может быть всецело представлен логиком. Проф. Г. Якобсон указал на необходимость точного определения лингвистических терминов. Он предложил снабжать каждую лингвистическую работу списком вводимых в нее новых терминов.

К. Гаузенблас, говоря о месте термина в научном тексте, указал, что характерной чертой научного текста является не только его «интеллектуализация», но и эстетическая сторона, поскольку субъективная окраска, в которой проявляется ин-

дивидуальность автора, играет в научном тексте немаловажную роль.

Док. И. Горедцкий (Чехословакия) выступил с докладом о заимствовании математической терминологии в лингвистике. Как раз в данной области много может быть сделано в интересах унификации славянской лингвистической терминологии. В дискуссии участники конференции говорили о необходимости унифицировать в первую очередь новые терминологические пласты языкознания.

Вопросам польской лингвистической терминологии были посвящены доклады доц. Г. Курковской (Польша) «Польская семантическая терминология», д-ра И. Юдицкой (Польша) «Польская синтаксическая терминология», магистра З. Якубовской (Польша) «Развитие польской фонетической терминологии» и д-ра Б. Бартицкой (Польша) «Греко-латинская традиция в славянской терминологии».

Международная терминологическая комиссия (лингвистическая секция) приняла на своем заключительном заседании ряд постановлений, касающихся дальнейшей ее работы: подготовки коллективного словаря лингвистической терминологии, унификации вновь возникающей терминологии, терминологического сборника, участия МТК в работах V Международного съезда славистов в Софии, разработки лингвистической терминологии Будуэна де Куртене и др.

Следующее совещание МТК состоится в Будышине (ГДР) в мае 1963 г.

А. В. Исаченко (Берлин)

25--28 апреля 1962 г. в Будапеште состоялось заседание расширенного бюро Комиссии общеславянского лингвистического атласа. В работе заседания принимали участие члены расширенного бюро: Ст. Стойков (Болгария), П. Кирай (Венгрия), Ф. Михалк (ГДР), В. Дорошевский, Эд. Штибер (Польша), Э. Петрович (Румыния), Я. Белич, Б. Гавранек (Чехословакия), Р. Алексич, Р. Коларич (Югославия), а также следующие гости: И. Кочев (Болгария), И. Книжек и др. (Венгрия), Э. Эйхлер (ГДР), Ян Басара, В. Фалинска, Н. Перчинска, В. Помяновска, Ст. Урбанчик (Польша), Д. Брозович, П. Ивич, Б. Видоески (Югославия).

На заседании бюро были обсуждены следующие вопросы: утверждение исправленных списков вопросников (по фонетике, морфологии, лексике и семантике, по транскрипции); обсуждение предложенных проектов вопросников (по синтаксису, словообразованию, акцентологии); задачи организации пробного собирания материалов; принципы составления сводного вопросника; дальнейшие проблемы лингвистического атласа.

Принципиально-методологические вопросы общеславянского лингвисти-

ческого атласа до сих пор не обобщены. Между тем одним из основных условий составления атласа является разработка единых принципиальных позиций и применение одинаковых методологических установок в ходе работы. Поэтому совещание поручило чехословацкой комиссии атласа попытаться к октябрю 1962 г. обсуждение принципиально-методологических вопросов составления атласа (и вопросника), а также разработать инструкции для собирания материала.

Бюро в основном одобрило исправленный Э. Штибером проект вопросника по фонетике. На основе замечаний, сделанных на совещании, и тех, которые будут присланы дополнительно, а также пополнив материал наиболее важными акцентологическими явлениями, Э. Штибер разработает окончательный текст к концу сентября 1962 г.

В основном был одобрен и исправленный вопросник по морфологии, который составила чехословацкая комиссия. Вместе с тем на бюро были высказаны конкретные предложения, касающиеся как сокращения, так и дополнения вопросника, а также проведения в нем более четкого разграничения морфологических и синтак-

сических явлений. Бюро признало целесообразным учет акцентологических явлений и в этом вопросе. Было предложено завершить его подготовку к осени 1962 г.

На совещании было обсуждено югославо-чехословацкое предложение об акцентологических вопросах (Д. Бровович и Й. Петр). Бюро поручило Д. Брововичу суммировать материал после получения в конце мая 1962 г. замечаний от болгарской и других комиссий, вставить его в вопросники по фонетике и морфологии и выслать весь обработанный таким образом материал национальным комиссиям до конца июня текущего года.

С некоторыми предлагаемыми поправками был принят и вопросник по с и н т а к с и у. Чехословацкой комиссии было рекомендовано его сократить. Национальным комиссиям было предложено выслать чехословацкой комиссии до конца июня 1962 г. свои замечания, а также заполненный вопросник с обиходно-разговорными эквивалентами явлений на данном языке.

Бюро приняло предложения относительно материала по словообразованию: по образованию существительных (польско-болгарский проект), по глагольному словообразованию (чехословацкий проект). Было, однако, признано желательным пересмотреть принципы отбора явлений и в связи с этим сократить их количество (учитывая возможность обследования словообразовательных явлений в разреженной сетке), а кроме того, закончив раздел о словообразовании прилагательных, разработать словообразование наречий (задача польской комиссии). Национальные комиссии вышлют свои замечания польской и чехословацкой комиссиям, а те подготовят исправленные предложения к осени 1962 г.

Бюро приняло польский проект по лексической и советский — по семасиологической части работы. Замечания о проектах (прежде всего по семасиологической части) должны быть присланы советской или польской комиссией (Ст. Урбанчику) до конца июля текущего года. Окончательный и сводный лексико-семасиологический список будет составлен В. Ф. Конновой, В. Помяновской, Ст. Урбанчиком и Р. Алексичем.

Совещание одобрило переработанное предложение З. Штибера о т р а н с к р и п ц и и. Принцип записи будет фонетический с применением некоторых принципов фонологии. Комиссии будут присылать как на славянской, так и на неславянской языковой территории транскрипцию, основанную на латинице. В ходе собирания материалов на местах можно применять и принятые национальные способы записи (с использованием кириллицы, румынской, венгерской или другой орфографии), но эти записи должны быть потом переложены в общепринятую транскрипцию. В ходе собирательной работы желательно также делать магнитофонные записи.

Бюро обсудило и приняло чехословацко-польское предложение о пробном вопроснике. На основе замечаний, сделанных в ходе обсуждения, польская комиссия переработает проект до конца июня 1962 г. на основе тройного деления: а) тематическая часть, б) аналитическая часть (в грамматической систематизации), в) алфавитный указатель. В инструкции и в обозначении примерных слов могут применяться русский, польский и сербохорватский языки. Пробное собрание должно быть проведено осенью 1962 г.

Сводный вопросник будет составлен на основе частных списков явлений специальной группой представителей славянских стран. Сводный вопросник, подобно пробному, будет делиться на три части (см. выше). Специальная группа для составления сводного вопросника соберется в феврале 1963 г. в Польше, где она будет работать в течение четырех недель в следующем составе: Болгария — 1, ГДР — 2, Польша — 2 + 1, СССР — 3—4, Чехословакия — 2, Югославия — 4 представителя. Руководитель группы З. Штибер. Расходы делегатов будут оплачены государством, от которого они делегированы. Вопрос о сетке обследования будет обсуждаться лишь после появления статьи Р. И. Аванесова в журнале «Slavia».

Вопрос обследования неславянской языковой территории будет и в дальнейшем изучаться специальной комиссией, созданной на предстоящем заседании в Праге (состав комиссии: Э. Петрович, Г. Бильфельдт, П. Кирай, З. Штибер). Комиссия должна разработать специальную транскрипцию и специальный пробный вопросник для испытания на местах (в одном-двух пунктах обследования) и выяснения того, какие результаты может принести обследование неславянских диалектов. Кроме ранее избранного Й. Хамма (Австрия), членом комиссии атласа был также избран представитель Италии Б. Мериджи.

В связи с дальнейшими задачами составления атласа было признано желательным, чтобы Международная комиссия общеславянского лингвистического атласа собралась еще раз в течение 1962 г. Желательно, чтобы еще перед софийским съездом в апреле или мае 1963 г. состоялось пленарное заседание комиссии (по возможности в Румынии). На этом заседании следовало бы обсудить проект сводного вопросника. Бюро рекомендует создать на софийском съезде (в сентябре 1963 г.) подкомиссию для ознакомления участников съезда с подготовительными работами общеславянского лингвистического атласа и для обсуждения сводного вопросника. Было внесено также предложение о создании диалектологического журнала, одной из главных задач которого было бы обсуждение проблем подготовляемого общеславянского лингвистического атласа.

П. Кирай (Будапешт)

15 февраля 1962 г. на совместном заседании Бюро Отделения литературы и языка и Ученого совета Института русского языка АН СССР состоялось чествование члена-корр. АН СССР д-ра филол. наук проф. Рубена Ивановича Аванесова в связи с 60-летием со дня его рождения и 37-летием научной и научно-педагогической деятельности. Заседание было открыто вступительным словом зам. директора Института русского языка члена-корр. АН СССР проф. С. Г. Бархударовым.

С докладом, характеризовавшим большую научную и научно-педагогическую деятельность юбиляра, выступила ученица Р. И. Аванесова — д-р филол. наук В. Г. Орлова. Научно-исследовательская работа Р. И. Аванесова была начата им прежде всего в области диалектологии: с 1922 по 1940 г. он проводил большое количество диалектологических экспедиций и дал их описания, активно работая (с 1925 г.) в качестве члена Московской диалектологической комиссии. Р. И. Аванесов в те годы подготовил и новый этап диалектологического изучения русского языка — применением разработанных им методов лингвистической географии в связи с задачами составления диалектологических атласов. Р. И. Аванесов является одним из видных теоретиков-фонологов, сплотившим вокруг теоретических проблем и практической подготовки диалектологических атласов большие творческие коллективы, состоящие не только из многочисленных его учеников, но и из многих работников лингвистических кафедр высших учебных заведений Советского Союза.

Теория диалектных различий, разработанная Р. И. Аванесовым, легла в основу работы по созданию атласов как русского, так и белорусского языков. Будучи председателем комиссии по координации диалектологической работы в СССР, Р. И. Аванесов своими трудами содействует развитию соответствующих исследований в советских национальных республиках. Значение созданной Р. И. Аванесовым оригинальной теории лингвистической географии и разработанных им теоретических основ общеславянского атласа нашло широкое признание среди советских и зарубежных ученых славистов, избравших его председателем Международной комиссии по созданию общеславянского лингвистического атласа.

Глава советской лингвистической географии Р. И. Аванесов ведет одновременно изучение и обобщение диалектных материалов в других аспектах. Изданные им в 1945 г. «Очерки русской диалектологии» богаты новым фактическим материалом. В этой книге осуществлен замысел автора — построить общую фонетическую систему современного русского языка в целом на основе теории фонем. В своих работах, посвященных вопросам образования русских народных говоров, Р. И. Аванесов в ряде случаев достигает подлинного синтеза язы-

ковых материалов с данными исторической географии и истории народа вообще. Основной работой этого типа является его труд «Вопросы образования русского языка в его говорах» (1947 г.).

Наряду с научными исследованиями Р. И. Аванесов развернул большую плодотворную работу и по другим направлениям. Педагог высшей школы с 1931 г. (профессор с 1935 г.), руководитель кафедр ряда высших учебных заведений, Р. И. Аванесов провел огромную работу по подготовке преподавателей как высшей, так и средней школы. В этих целях им составлены и многочисленные программы по различным разделам курса русского языка (исторической грамматики, диалектологии, истории языка, старославянского языка). Большой популярностью пользуется созданный им совместно с В. Н. Сидоровым «Очерк грамматики русского литературного языка» (1945 г.). В последние годы Р. И. Аванесов выпустил «Фонетику современного русского литературного языка» (1956 г.), а также книгу «Русское литературное произношение» (3-е изд. 1958 г.). Многие работы Р. И. Аванесова адресованы непосредственно учителям средней школы. В 20—30-х годах им написан ряд учебников и учебных пособий. Общее количество научных трудов Р. И. Аванесова более 150. Исключительное внимание к молодежи, постоянные заботы о ее научном росте (более 60 его учеников провели защиту диссертаций, в том числе и нескольких докторских), умение создавать крепкие творческие коллективы — черты, присущие Р. И. Аванесову как воспитателю и руководителю советских молодых филологов.

Будучи выдающимся специалистом в области истории русского языка, Р. И. Аванесов продолжает расширять круг своих научных интересов. В последние годы Р. И. Аванесов, обратившись к разработке вопросов исторической лексикографии, возглавил в Институте русского языка подготовку словаря древнерусского языка.

После доклада были заслушаны приветствия от Президиума АН СССР, от Бюро ОЛЯ АН СССР и адреса от многочисленных учреждений: МВО СССР, Министерства просвещения РСФСР, от институтов Академии наук СССР: русского языка, языкознания, славяноведения, этнографии, от Института языкознания АН БССР, от Советского комитета славистов, от Московского и Ленинградского университетов, от Исторического музея; от пединститутов — иностранных языков, Куйбышевского пединститута, Ярославского и др.

После оглашения отдельных писем и телеграмм из числа многочисленных приветствий, поступивших на имя юбиляра из разных городов, от учеников, от советских и зарубежных ученых, юбиляр выступил с ответным словом.

Ф. Ф. Кузьмин (Москва)

19 марта 1962 г. на расширенном заседании филологической секции Ученого совета Института народов Азии АН СССР состоялось чествование заведующего сектором тюрко-монгольских и дальневосточных языков д-ра филол. наук проф. Гармы Даивцарановича Санжеева в связи с 60-летием со дня рождения и 35-летием его научной и научно-педагогической деятельности. Во вступительном слове заведующий отделом языков народов Азии д-р филол. наук Г. П. Сердюченко охарактеризовал Г. Д. Санжеева — языковеда, историка, этнографа, фольклориста, исследователя монгольской литературы и искусства — как одного из крупнейших советских монголистов, своими трудами продолжившего лучшие традиции отечественного и советского востоковедения. Как лингвисту Г. Д. Санжееву близки все аспекты языковой работы и теоретической, и практической. Неразрывны связи Г. Д. Санжеева с монголоязычными республиками, научным специалистам которых он помогает консультацией, активно поддерживает научную молодежь. Широки научные контакты ученого с зарубежными монголистами и особенно — с монголистами Монголии, Венгрии, Польши.

С докладом о научной и научно-педагогической деятельности юбиляра выступил канд. филол. наук Г. И. Михайлов. В докладе отмечалось, что как лингвисту Г. Д. Санжееву свойственно не ограничиваться исследованием только монгольских языков, но и привлекать к изучению также материалы мальчкурского и тюркских языков. Многочисленные грамматические исследования Г. Д. Санжеева, среди которых докладчик называет «Грамматику калмыцкого языка» и монографическое описание ранее совершенно не исследованного наукой дархатского говора монгольского языка, венчают его «Сравнительная грамматика монгольских языков», работу над

которой начал еще учитель юбиляра проф. Б. Я. Владимирцов; первая часть «Сравнительной грамматики» вышла в свет на русском, монгольском и китайском языках. Особо отметил заслуги Г. Д. Санжеева в деле подготовки научных кадров для монголистики, Г. И. Михайлов кратко осветил также научно-организационную и общественную деятельность юбиляра.

Был оглашен приказ дирекции ИНА, в котором юбиляру объявлялась благодарность. В зачитанной затем телеграмме из Улан-Удэ сообщалось, что Постановлением Президиума Верховного совета Бурят. АССР Г. Д. Санжееву присвоено звание заслуженного деятеля науки Бурят. АССР. От ОЛЯ АН СССР юбиляра поздравил акад. Н. И. Коирад. В адрес юбиляра поступила приветственная телеграмма от Отделения исторических наук АН СССР, подписанная акад. Е. М. Жуковым. Выступивший от Института языкознания АН СССР д-р филол. наук Ю. Д. Дешериев отметил свойственное юбиляру стремление строить свои исследования на широкой алтаистической основе. По поручению Чрезвычайного посла МНР в СССР Г. Д. Санжеева как почетного профессора Монгольского гос. университета приветствовал советник посольства МНР Лхамсурэн. Была зачитана также телеграмма председателя правления Общества советско-монгольской дружбы С. М. Буденного. Были оглашены многочисленные поздравительные телеграммы, полученные в адрес юбиляра, в том числе от заведующего ЛО ИНА члена-корр. АН СССР А. Н. Конопова, от коллектива ЛО Института языкознания, от Издательства иностранных и национальных словарей, от вице-президента АН Венгрии акад. Л. Лигети, от сотрудников московского радио. С приветствиями юбиляру от коллективов различных институтов, учреждений выступили 15 человек.

Г. Б.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Информационный бюллетень ЮНЕСКО.— 1962, 109—114.

Ежегодник общества родного языка. VII.— Таллин, 1961. 262 стр. (на эстон. яз.).

Наукові записки [Дніпропетровськ. державн. ун-т]. 63— Мовознавство. XIV. Славистичний збірник, присвячений IV Міжнародному з'їздові славистів.— Харьков, 1958. 224 стр.

Родной диалект. 3—4.— Таллин, 1962. 148 стр. (на эстон. яз.).

Сборник трудов кафедры русского языка. [Уч. зап. Магнитогорск. гос. пед. ин-та]. 14, 1961. 206 стр.

Слов'янське мовознавство. Збірник статей. III.— Київ, 1961. 297 стр.

Ученые записки [Вологодск. гос. пед. ин-та]. XXVI — Языковедческий, 1961. 376 стр.

Ученые записки [Рязанск. гос. пед. ин-та]. XXX — Вопросы русского языкознания, 1962. 271 стр.

Б. П. Ардеентов. Основы русской грамматики.— Кишинев, 1962. 80 стр. [Кишиневск. гос. ун-т].

М. Балакаев, Е. Жанписов, М. Томапов. Вопросы казахского литературного языка. (Пособие для студентов филол. фак-га пед. ин-тов и ун-та).— Алма-Ата, 1961. 131 стр. (на казах. яз.).

М. Балакаев, Т. Кордабаев. Грамматика современного казахского языка. Синтаксис.— Алма-Ата, 1961. 291 стр.

Г. Г. Едиг. Придаточные предложения нижненемецкого говора Алтайского края.— [Томск], 1961. 39 стр. (на нем. яз.).

А. Кайдаров. Уйгурский язык и литература. Аннотированный библиографический указатель. I.— Алма-Ата, 1962. 139 стр.

А. М. Курбанов. Об азербайджанской лексикографии.— Баку, 1962. 40 стр. (на азерб. яз.).

А. Курбанов. Самед Вургун о языке и стиле художественных произведений.— Баку, 1961. 44 стр. (на азерб. яз.).

М. В. Никитин. Категория артикля в английском языке.— Фрунзе, 1961. 76 стр.

Н. Г. Самсонов. Лекции по старославянскому языку. Раздел 1. Введение. Пособие для студентов-заочников.— Якутск, 1961. 68 стр. [Якутск. гос. ун-т].

В. П. Тимофеев. Изменение звуков русского языка в потоке речи и фонетическая транскрипция.— Шадринск, 1961. 22 стр. [Шадринск. гос. пед. ин-т].

Československá rusistika. VII, 1—2, 1962. Стр. 1—128.

EOS. Commentarii Societatis philologiae polonorum. LI, 2.— Wratislaviae — Varsoviae — Cracoviae, 1961. Стр. 207—412.

Język polski. XLI, 5, 1961. Стр. 329—392.

Slavia orientalis. XI, 1. — Warszawa, 1962. 150 стр.

Tönnies Fenne's Low German manual of spoken Russian. Pskov 1607. Ed. by L. L. Hammerich, R. Jakobson, E. van Schooneveld, T. Starck and Ad. Stender-Petersen, 1.— Copenhagen, 1961. 566 стр. [The Royal Danish Academy of Sciences and Letters.]

Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig.— 11 (1961). 2. Стр. 201—444. [Als Manuskript gedruckt.]

Zeichen und System der Sprache. I. Veröffentlichung der 1. Internationalen Symposiums «Zeichen und System der Sprache» vom 28.9. bis 2.10. 1959 in Erfurt.— Berlin, 1961. 292 стр.

Zpravodaj. Mistopísané komise ČSAV. II. — Rejstříky, 1961. Стр. 337—426; III, 1—2, 1962. Стр. 1—187.

A. Cioreanescu. Diccionario etimológico rumano. 3 — fârs — lini; 4 — lins — poâl. Madrid, 1960. Стр. 321—640.

R. Fischer. August Schleicher 19. 2. 1821—6. 12. 1868. Zum Jahre seines 140. Geburtstages. [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig». 10 (1961), Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 5] (Als Manuskript gedruckt).

H. Gipper, H. Schwarz. Bibliographisches Handbuch zur Sprachinhaltsforschung. Schrifttum zur Sprachinhaltsforschung in alphabetischer Folge nach Verfassern mit Besprechungen und Inhaltshinweisen. Lief. 1. (Aakjær — Beughem); Lief. 2. (Beveré — Carnap).— Köln — Opladen, [1962]. Стр. 1—256.

F. Hiorth. Zur formalen Charakterisierung des Satzes. — 's-Gravenhage, 1962. 152 стр.

A. Vraciu. În problema legilor limbii. — Iași, 1961. Стр. 241—244. [Отд. отт. из «Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași» (Științe sociale). VII]; еро же, un capitol din istoria vechilor raporturi lingvistice balto-slave: epoca de formare a adjectivelor conjuncte. — Iași, 1961. Стр. 81—86. [Отд. отт. из «Analele științifice de Universității „Al. I. Cuza” din Iași» (Științe sociale). VII].

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|---|----|
| В. В. Виноградов (Москва). Поэтика и ее отношение к лингвистике и теории литературы | 3 |
| И. И. Мещанинов (Ленинград). Агглютинация и инкорпорирование | 24 |

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

| | |
|---|----|
| В. М. Жирмунский (Ленинград). Некоторые итоги дискуссии об армянском консонантизме | 32 |
| Э. А. Макаев (Москва). Понятие давления системы и иерархия языковых единиц | 47 |
| А. М. Мухин (Ленинград). Понятие нейтрализации и функциональные лингвистические единицы | 53 |
| С. И. Бернштейн (Москва). Основные понятия фонологии | 62 |
| А. Е. Кибрик (Москва). К вопросу о методе определения дифференциальных признаков при спектральном анализе | 81 |
| Об общеславянском лингвистическом атласе | 90 |

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

| | |
|--|-----|
| В. В. Шеворошкин (Москва). Карийский вопрос | 93 |
| А. М. Кондратов (Куйбышев). Эволюция ритмики В. В. Маяковского | 101 |
| М. Д. Фридман (Бердичев). О морфемном характере артикля | 109 |

КОНСУЛЬТАЦИИ

| | |
|--|-----|
| В. И. Григорьев (Москва). О формантах и формантной структуре | 115 |
|--|-----|

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

| | |
|--|-----|
| Из неопубликованной «Праславянской грамматики» Г. А. Ильинского | 122 |
| Г. А. Ильинский. Взгляд на общий ход изучения праславянского языка | 124 |

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

| | |
|--|-----|
| В. А. Виноградов (Москва). <i>V. Nordhjem. The phonemes of English. An experiment in structural phonemics</i> | 130 |
| А. В. Бондарко (Ленинград). <i>А. В. Исаченко. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология, II</i> | 137 |
| Г. П. Нешименко (Москва). <i>M. Dokulil. Teorie odvozování slov</i> | 143 |
| Г. Ф. Коновалова (Москва). <i>A. D. Richard. Preface to critical reading</i> | 148 |
| В. В. Веселитский (Москва). <i>И. М. Кауфман. Терминологические словари. Библиография</i> | 150 |

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

| | |
|---|-----|
| О. С. Еганян (Ереван). Об одном армяно-кыпчакском грамматическом пособии XVI в. | 152 |
| Хроникальные заметки | 154 |
| Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию | 166 |

S O M M A I R E

Articles: V. V. V i n o g r a d o v (Moscou). La poétique et sa relation à la linguistique et à la théorie de littérature; I. I. M e s č a n i n o v (Léningrad). Agglutination et incorporation; **Discussions:** V. M. Ž i r m o u n s k i j (Léningrad). Quelques résultats de la discussion sur le consonantisme arménien; E. A. M a k a j e v (Moscou). La notion de «pression du système» («Systemzwang») et l'hierarchie des unités linguistiques; A. M. M o u k h i n (Léningrad). La notion de neutralisation et les unités linguistiques fonctionnelles; S. I. B e r n s t e i n (Moscou). Sur les principes de phonologie; A. E. K i b r i k (Moscou). Sur la méthode de détermination des traits distinctifs au moyen d'analyse spectral; Sur l'atlas linguistique slave; **Matériaux et notices:** V. V. Š e v o r o š k i n (Moscou). Le problème carienne; A. M. K o n d r a t o v (Moscou). L'évolution de la rythmique de Majakovskij; M. D. F r i d m a n (Berdičev). Le caractère morphémique de l'article; **Consultations:** V. I. G r i g o r i e v (Moscou). Les formants et la structure formantive; **De l'histoire de la linguistique:** G. A. I l j i n s k i j. Direction générale de l'étude de la langue proto-slave; **Critique et bibliographie;** Vie scientifique: O. S. E g a n j a n (Yérevan). Une grammaire arménien-kiptchak du XVI siècle.

C O N T E N T S

Articles: V. V. V i n o g r a d o v (Moscow). Poetics and its relation to linguistics and to theory of literature; I. I. M e s č a n i n o v (Leningrad). Agglutination and incorporation; **Discussions:** V. M. Ž i r m u n s k i j (Moscow). Some results of the discussion on Armenian consonantism; E. A. M a k a j e v (Moscow). The concept of «system-pressure» («Systemzwang») and the hierarchy of linguistic units; A. M. M u k h i n (Leningrad). The notion of neutralisation and the functional linguistic units; S. I. B e r n s t e i n (Moscow). On the principles of phonology; A. E. K i b r i k (Moscow). On the method of determining distinctive features by means of spectral analysis; On the Slavonic linguistic atlas; **Materials and notes:** V. V. Š e v o r o š k i n (Moscow). The Karian problem; A. M. K o n d r a t o v (Moscow). The evolution of Majakovskij's rhythms; M. D. F r i d m a n (Berdichev). The morphemic character of the article; **Consultations:** V. I. G r i g o r i e v (Moscow). On formants and-formant structure; **From the history of linguistics:** G. A. I l j i n s k i j. On the general trends in the study of Proto-Slavonic; **Critics and bibliography;** **Scientific life:** O. S. E g a n j a n (Yerevan). An Armenian-Kiptchak grammatical text-book of the XVI century.

Технический-редактор *Д. А. Фрейман-Крупенский*

11301

Подписано к печати 15.9.1962

Тираж 5760 экз.

Зак. 933

Формат бумаги 70×108¹/₁₆

Печ. л. 14,38

Бум. л. 5¹/₄

Уч.-изд. листов 18,1

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10